

Александр Блок

Александр Александрович Блок

Том 7. Дневники

(А. А. Блок. Собрание сочинений в девяти
томах #7)

Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее вышедших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.

В седьмой том собрания сочинений вошли дневники 1901–1921 годов и приложения.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Автобиография	0005
Дневники	0023
Дневник 1901–1902 года	0023
Дневник 1911 года	0111
Дневник 1912 года	0200
Дневник 1913 года	0355
Дневник 1917 года	0453
Дневник 1918 года	0563
Дневник 1919 года	0631
Дневник 1920 года	0662
Дневник 1921 года	0702
Приложения	0773
Автобиографические материалы	0773
Моя декламация, роли, заметки стихи разных поэтов, выписки из книг и пр	0785
Шуточные программы журналов	0791

**Александр Александрович
Блок
Собрание сочинений в
деяти томах
Том 7. Дневники**

Автобиография

Семья моей матери причастна к литературе и к науке.

Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Петербургские Высшие женские курсы, называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов. Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым.

В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались.

Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «Eh bien, mon petit[1]...».

Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты: старый *Jacob Fidele*[2], который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов (по прозвищу *Куран*), у которого было, говорят, на душе убийство; лицо у него было всегда сине-багровое — от водки, а иногда в крови; он погиб в «кулачном бою». Оба были действительно люди умные и очень симпатичные; я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию.

Однажды дед мой, видя, что мужик несет

из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу.

Мои собственные воспоминания о деде — очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушовки, вида, не известного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу, — очевидно, он засеялся случайно и потом выродился.

Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей; летом 1897 года его разбил па-

ралич, он прожил еще пять лет без языка, его возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург; среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев.

Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед и бабушка моя были с ним дружны. Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения — по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто. Старшая дочь Дмитрия Ивановича Менделеева от второго брака — Любовь Дмитриевна — стала моей невестой. В 1903 году мы обвенчались с ней в церкви села Тараканова, которое находится между Шахматовым и Бобловым.

Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, — дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, Григория Силыча Корелина. Она всю жизнь — работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее

трудов громаден; последние годы она делала до 200 печатных листов в год; она была очень начитана и владела несколькими языками; ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль образный, язык — точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими.

Переводные стихи ее печатались в «Современнике», под псевдонимом «Е. Б.», и в «Английских поэтах» Гербея, без имени. Ею переведены *многие* сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура (поэма «Лалла-Рук»), Бичер-Стоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерея, Диккенса, В. Скотта, Брэт Гарта, Жорж Занд, Бальзака, В. Гюго, Флобера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов — далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти сотни тысяч томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые «144 тома» (изд. Г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения.

Отвлеченное и «утонченное» удавалось бабушке моей меньше, ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединялся в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. Долгие годы я помню смутно, как помнится все детское, ее голос, пальцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков, — и во всем этом — какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни и доктора, известные и неизвестные, проделывавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности.

Эта жизненность и живучесть проникала и в литературные вкусы; при всей тонкости художественного понимания она говорила, что «тайный советник Гёте написал вторую

часть „Фауста“, чтобы удивить глубокомысленных немцев». Также ненавидела она нравственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полупуштливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты:

*Так, бодрствуя в часы ночные
И внука юного любя,
Старуха-бабка не впервые
Слагала стансы для тебя.*

Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова. Одной из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на французский язык (для «Revue des deux Mondes»). Чехов прислал ей милую благодарственную записку.

К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок; она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, ко-

торый собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский. Перевод этот печатался во «Времени».

Бабушка моя скончалась ровно через три месяца после деда — 1 октября 1902 года.

От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери — моя мать и ее две сестры. Все три переводили с иностранных языков. Известностью пользовалась старшая — Екатерина Андреевна (по мужу — Краснова). Ей принадлежат изданные уже после ее смерти (4 мая 1892 года) две самостоятельных книги «Рассказов» и «Стихотворений» (последняя книга удостоена почетного отзыва Академии наук). Оригинальная повесть ее «Не судьба» печаталась в «Вестнике Европы»[3]. Переводила она с французского (Монтескье, Бернард де Сен-Пьер), испанского (Эспронседа, Бэкер, Перес Гальдос, статья о Пардо Басан), перекладывала английские повести для детей (Стивенсон, Хаггарт; издано у Суворина в «Дешевой библиотеке»).

Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу — Кублицкая-Пиоттух), переводила

ла и переводит с французского — стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Зола, Мюссе, Эркман-Шатриан, Додэ, Боделэр, Верлэн, Ришпэн). В молодости писала стихи, но печатала — только детские.

Мария Андреевна Бекетова переводила и переводит с польского (Сенкевич и мн. др.), немецкого (Гофман), французского (Бальзак, Мюссе). Ей принадлежат популярные переделки (Жюль Верн, Сильвио Пеллико), биографии (Андерсен), монографии для народа (Голландия, История Англии и др.). «Кармозина» Мюссе была не так давно представлена в театре для рабочих в ее переводе.

В семье отца литература играла небольшую роль. Дед мой — лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича[4], выходца из Мекленбурга (прародитель — лейб-хирург Иван Блок был при Павле I возведен в российское дворянство). Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора — Ариадне Александровне Черкасовой.

Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончал-

ся 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, — отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрерывно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Я встречался с ним мало, но помню его кровно.

Детство мое прошло в семье матери. Здесь именно любили и понимали слово; в семье господствовали, в общем, старинные понятия о литературных ценностях и идеалах. Говоря

вульгарно, по-верлэновски, преобладание имела здесь eloquence[5]; одной только матери моей свойственны были постоянный мятеж и беспокойство о новом, и мои стремления к musique[6] находили поддержку у нее. Впрочем, никто в семье меня никогда не преследовал, все только любили и баловали. Милой же старинной eloquence обязан я до гроба тем, что литература началась для меня не с Верлэна и не с декадентства вообще.

Первым вдохновителем моим был Жуковский. С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные еще с чьим-либо именем. Запомнилось разве имя Полонского и первое впечатление от его строф:

*Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.*

«Жизненных опытов» не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками — и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы. Лишь около 15 лет родились

первые определенные мечтания о любви, и рядом — приступы отчаянья и иронии, которые нашли себе исход через много лет — в первом моем драматическом опыте («Балаганчик», лирические сцены).

«Сочинять» я стал чуть ли не с пяти лет. Гораздо позже мы с двоюродными и троюродными братьями основали журнал «Вестник», в одном экземпляре; там я был редактором и деятельным сотрудником три года.

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отрывоческих. В книгу из них вошло лишь около 100. После я печатал и до сих пор печатаю кое-что из старого в журналах и газетах.

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романическими переживаниями, всем существом моим овла-

дела поэзия Владимира Соловьева. До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но все это я считал «субъективным» и бережно оберегал от всех. Внешним образом готовился я тогда в актеры, с упоением декламировал Майкова, Фета, Полонского, Апухтина, играл на любительских спектаклях, в доме моей будущей невесты, Гамлета, Чацкого, Скупого рыцаря и... водевили. Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах. К счастью и к несчастью вместе, «мода» такая пришла, как всегда бывает, именно тогда, когда все внутренне определилось; когда стихии, бушевавшие под землей, хлынули наружу, нашлась толпа любителей легкой мистической наживы. Впоследствии и я отдал дань этому новому кощунственному «веянью»; но все это уже выходит за пределы «автобиографии». Интересующихся могу ото-

слать к стихам моим и к статье «О современном состоянии русского символизма» (журнал «Аполлон» 1910 года). Теперь же возвращусь назад.

От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благодарностью: как-то в дождливый осенний день (если не ошибаюсь, 1900 года) отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда «Мир божий». Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюном В. Васнецова. Пробежав стихи, он сказал: «Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете бог знает что творится!» — и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах.

После этого случая я долго никуда не сошелся, пока в 1902 году меня не направили к

В. Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник.

Уже через год после этого я стал печататься «серьезно». Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы (двоюродная сестра моей матери). Первые мои вещи появились в 1903 году в журнале «Новый путь» и, почти одновременно, в альманахе «Северные цветы».

Семнадцать лет моей жизни я прожил в казармах л. — гв. Гренадерского полка (когда мне было девять лет, мать моя вышла во второй раз замуж, за Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух, который служил в полку). Окончив курс в СПб. Введенской (ныне — императора Петра Великого) гимназии, я поступил на юридический факультет Петербургского университета довольно бессознательно, и только перейдя на третий курс, понял, что совершенно чужд юридической науке. В 1901 году, исключительно важном для меня и решившем мою судьбу, я перешел на филологический факультет, курс которого и прошел, сдав государственный экзамен весной 1906 года (по

славяно-русскому отделению).

Университет не сыграл в моей жизни особенно важной роли, но высшее образование дало, во всяком случае, некоторую умственную дисциплину и известные навыки, которые очень помогают мне и в историко-литературных, и в собственных моих критических опытах, и даже в художественной работе (материалы для драмы «Роза и Крест»). С годами я оцениваю все более то, что дал мне университет в лице моих уважаемых профессоров — А. И. Соболевского, И. А. Шляпкина, С. Ф. Платонова, А. И. Введенского и Ф. Ф. Зелинского. Если мне удастся собрать книгу моих работ и статей, которые разбросаны в немалом количестве по разным изданиям, но нуждаются в сильной переработке, — долю научности, которая заключена в них, буду я обязан университету.

В сущности, только после окончания «университетского» курса началась моя «самостоятельная» жизнь. Продолжая писать лирические стихотворения, которые все, с 1897 года, можно рассматривать как дневник, я именно в год окончания курса в университете напи-

сал свои первые пьесы в драматической форме; главными темами моих статей (кроме чисто литературных) были и остались темы об «интеллигенции и народе», о театре и о русском символизме (не в смысле литературной школы только).

Каждый год моей сознательной жизни резко окрашен для меня своей особенной краской. Из событий, явлений и веяний, особенно сильно повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть: встречу с Вл. Соловьевым, которого я видел только издали; знакомство с М. С. и О. М. Соловьевыми, З. Н. и Д. С. Мережковскими и с А. Белым; события 1904–1905 года; знакомство с театральной средой, которое началось в театре покойной В. Ф. Коммиссаржевской; крайнее падение литературных нравов и начало «фабричной» литературы, связанное с событиями 1905 года; знакомство с творениями покойного Августа Стриндберга (первоначально — через поэта Вл. Пяста); три заграничных путешествия: я был в Италии — северной (Венеция, Равенна, Милан) и средней (Флоренция, Пиза, Перуджия и много других городов и местечек Умбрии), во Франции

(на севере Бретани, в Пиренеях — в окрестностях Биаррица; несколько раз жил в Париже), в Бельгии и Голландии; кроме того, мне приходилось почему-то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad Nauheim[7] (Hessen-Nassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания.

Этой весной (1915 года) мне пришлось бы возвращаться туда в четвертый раз; но в личную и низшую мистику моих поездок в Bad Nauheim вмещалась общая и высшая мистика войны.

1911 — Июнь 1915

Дневники

Дневник 1901–1902 года

27 декабря 1901

Я раздвоился. И вот жду, сознающий, на опушке, а — другой — совершаю в далеких полях заветное дело. И — ужасный сон! — непостижно начинаю я, ожидающий, тосковать о том, совершающем дело, и о совершенном деле...

* * *

Хоть и не вышло, а хорошая мысль стихотворения; убийца-двойник — совершит и отпадет, а созерцателю-то, который не принимал участия в убийстве, — вся награда. Мысль-то сумасшедшая, да ведь и награда — сумасшествие, которое застынет в сладостном созерцании совершенного другим. Память о ноже будет идеальна, ибо нож был хоть и реален, но в мечтах — вот она, великая тайна...

29 декабря

Вот в эту минуту я настолько утончен и уравновешен, что смогу завещать. Складываются в одно местечко (страшная близость яви и сна, земли и неба!) — укротненькое — все бумаги (и эта) и иные книги. Первое место — «Северные цветы» — не за содержание, а за то, что несет на страницах кресты. А спросить у — [8]. Потом — стихи Соловьева. Мои стихи прошу уложить туда же — и еще кое-что. Теперь с этим покончено — и пусть все сохранит, кто нуждается, а кому понадобится, не отдавать, за исключением —, что выяснится позже написания этих строчек.

* * *

Мы все, сколько нас ни есть, здоровые и больные, сильные и дряхлые, голубые и розовые, черные и красные, остановились на углу знакомой и давно нами посещаемой улицы и условились выкинуть штуку единодушно и мудро-красиво. И все согласились, а кто и не хотел — подчинился. Нас не два старика только, а есть и молодые и зрелые. Сильные-то и взяли верх пока. — А перед совершением подвига оставляем мы это завещаньице, кому понадобится, и просим о нас не крушиться, за

те мысли наши — умные, чувства наши — глубокие, а поступки наши — сильные. Были среди нас Пьеро, а есть и матросы и китайские мыслишки, а руки у нас набиты женскими безделушками. Польза таковых в скором времени обнаружится. Все мы — недурные актеришки, а игравали, бывало, порядочно и Гамлета. Нет у нас гения отеческого, зато с современностью очень соприкасаемся. Отцы громили нас, а теперь проклянут (ли?), восплачут (ли?). — И все это перед нами еще туманится, а всего для нас лучше — вот что: бледные, бледные, смотрим мы, как трава кровью покрывается и кровью пропитывается ткань — тоненькая, светленькая, летненькая. И все покоится в бровях и ресницах Белая и Страшная — все так же брови подняты и бледно лицо. И тут-то начнется. Тут-то проникнем.

Бежит, бежит издали облако. Страшна родителей кара. Позднее будет раскаянье.

А того и не будет.

7 января 1902

Однажды в тот час, когда воздух начинает

становиться незаметно влажным и теплый ветер приносит особенно пряные ароматы душистых трав, — в поле шел грустный человек с телом лидийского юноши Диониса, с лицом кающегося аскета. [В косых лучах заходящего солнца была нежная тень.] Река, безмолвная днем, смутно запевала какую-то тоскующую песню, точно струи ее возвращались к родному сумраку, освободившись от тягостных прямых лучей солнца. И не одни речные струи сбрасывали иго дня, — деревья посвежели, трава потянулась, цепкая и благоуханная, земля тайно дрогнула, и за ней дрогнули все жизни — и жизни птиц, и жизни четвероногих, и жизнь грустного человека с телом Диониса.

10 января

Приходит время, когда нужно решить так или иначе (потому что ποιήματα Σφύξ[9] не может ждать в вечности). Вспоминая все — воплощая все — закрепляя все, — видишь конец. Теперь именно тянется та ужасающая, загадочная, переворачивающая душу часть жизни, которая предшествует неизгладимо-

му, великому; «все нити порваны, все отклики — молчанье».

<Набросок статьи о русской поэзии>

<Декабрь 1901 — январь 1902>

*Неомраченный дух прими для
лучшей доли
Тоскующею тенью поутру.
И день иной рождается в свете воля,
И легок будет труд в ином миру.*

Следующий очерк не содержит в себе чего-нибудь стройно-цельного. Это критика от наболевшей души, которая стремится защитить от современников белые и чистые святые. Кроме того — это труд, малый, но вдохновенный — его-то желаю я оставить по себе, кроме песен. Мне недолго жить, потому что «тебя на земле уж не встречу». Это почти что так, — и потому *скоро неминуемо и необходимо исчезнуть за дорожным поворотом*. Пускай же останутся песни и крики — «бред неопытной души».

СПб. И января 1902

Ал. Блок.

И снова накануне передачи в святые руки,

в святые чувства, в святые мысли, — раскрывается заглавная страница Ф. Тютчева — тонкое лицо, портрет, рисованный Аполлоном (кстати —?).

Я прежде выскажусь.

Все было ясно. «Передо мной кружится мгла». И боли мимолетной не чуял. Но странно — однажды проснулось что-то земное, лодка стукнулась о берег. И уж несколько дней нестерпимая тяжесть.

*Мне эту девственную нежность
В глазах толпы оставить жаль.*

Далеко поет земля, — близко слышится песня — и подступает к горлу.

Лирическое настроение тогда и будет, когда из вдохновеннейших строк бегут вдохновеннейшие отклики.

Стихи — это молитвы. Сначала вдохновенный поэт-апостол слагает ее в божественном экстазе. И все, чему он слагает ее, — в том кроется его настоящий бог. Дьявол уносит его — и в нем находит он опрокинутого, иска-

леченного, — но все милее, — бога. А если так, есть бог и во всем тем более — не в одном небе бездонном, айв «весенней неге» и в «женской любви».

Потом чуткий читатель. Вот он схватил жадным сердцем неведомо полные для него строки, и в этом уже и он празднует своего бога.

Вот таковы стихи. Таково истинное вдохновение. Об него, как об веру, о «факт веры», как таковой, «разбиваются волны всякого скептицизма». Еще, значит, и в стихах видим подтверждение (едва ли нужное) витания среди нас того незыблемого Бога, Рока, Духа... кого жалким, бессмысленным и глубоко звериным воем встретили французские революционеры, а гораздо позже и наши шестидесятники.

«Рече безумец в сердце своем: несть бог».

Когда раздались нечеловеческие вопли грубого либерализма и «либеральная жандармерия» (она отличается от консервативной тем, что первая регулируется правом и государством, а вторая — произволом фанатиков

и глупцов) стала теснить аристократ'ов[10] чувства и мысли и снова распинать Истину, Добро и Красоту, — старые силы вышли из тумана, «в дымном тумане» возникли «новые дни».

На великую философскую борьбу вышел гигант — Соловьев (которого «дождался» ли его «заветный храм»?). Осыпались пустые цветы позитивизма, и старое древо вечно роющей мысли зацвело и зазеленело метафизикой и мистикой. Страницы новых учений озарились неудержимым потоком любовного света, — перед ним же все демоны «вверх пятами» закружились во мгле. Все это дело любви совершалось, пока лживое государство воздвигало гонения на фанатиков и богохульников, которые злобились и свирепели.

В минуту смятенья и борьбы лжи и правды (всегда борются бог и диавол — и тут они же борются) взошли новые цветы — цветы символизма, всех веков, стран и народов. Заглушённая криками богохульников, старая сила почуяла и послышала, как воспрянул ее

бог, — и откликнулась ему. К одному вечно-
му, незыблемому камню бога подвалился и
еще такой камень — «в предвестие, иль в по-
мощь, иль в награду».

Это была новая поэзия в частности и новое
искусство вообще. К воздвиженью мысли,
ума присоединилось воздвижение чувства,
души. И все было в боге.

Есть люди, с которыми нужно и можно
говорить только о простом и «логическом», —
это те, с которыми не ощущается связи ми-
стической. С другими — с которыми все
непрестанно чуется сродство на какой бы ни
было почве — надо говорить о сложном и
«глубинном». Тут-то выяснятся истины ми-
ра — через общение глубин (см. Брюсов).

Весна январская — больше чаянье и чую-
нье весны, чем сама весна, — затрепетала и
открыла то, что неясно и не сильно еще носи-
лось над душой и мыслью. Было только

*Порой легко, порою больно
Перед тобой не падать ниц.*

Когда сумерки зимы сходили медленно,

медленно же явились из мрака младые были прошедших дней, и ветер принес издалека песни весенней язык. Лебединая песня — и уже тогда понял я — ризы девственные.

*Ты ли это прозвучала
Над темнеющей рекой?
Или вправду отвечала
Мне на крик береговой?*

И все ждал видения, ждал осени. А не было еще. Иначе зазвучало и иначе откликнулось. А что-то откликнулось. Или только кажущееся?

Неверующему можно сказать:

*Остановись! Ужель намедни,
Безумец, не заметил ты...*

Все бранят современную литературу.

*Проходят дни и сны земные —
Кого их брэнность устрашит.
Пускай бранят, —
Но плачет сердце от обид,
И далеки сердца родные.*

Где же вы, родные сердца, отчего вас так мало, отчего вы не пойдете за чистым, глубо-

ким, может быть частями «безумным», зато частями открывающим несметные сокровища «глубинных» чувств и мыслей, — когда вы тысячами влачитесь за великим злом века, за статичной денежностью?

(αλαττια ουμλατια)[11]

Выступая на защиту, я крещусь мысленно и призываю ту великую Женственную тень, которая прошла передо мной «с величием царицы» — и воплотилась в звенящей бездне темного мира.

Есть два рода литературных декадентов: хорошие и дурные; хорошие — это те, которых не следует называть декадентами (пока только отрицательное определение); дурные — те, кому это имя принадлежит, как по существу, так и этимологически. Заранее оговорившись относительно терминов, легче разобраться. Будем же понимать под словом декадент то, что это слово значит, — именно: упадок, ибо другие значения, навязываемые ему (отчего это происходит — скажу ниже), очевидно, совершенно нелепы.

Название декадентство прилепляется публикой ко всему, чего она не понимает. Это — факт очень обыкновенный и доказывающий только (еще раз!), что на «большую публику» следует махнуть рукой. Но есть люди, стоящие выше «современной aurea mediocritas» [12], — и тем-то из них, кто все-таки, часто просто не вникая в суть и не разбирая, прилепляет удобное по краткости и бранчливости звуков слово к нелюбимым произведениям известного рода, — им-то пора разобраться, и определить, и выяснить свои мысли. Наша литература (к чести ее) очень мало за себя заступается, а на брань Бурениных не обращает внимания, что имеет одну дурную сторону: публика-то так и остается в неведении относительно литературных родов настоящего времени и все мешает в одну кучу (чему, кстати, очень способствуют настоящие «упадочники», дегенераты, имена которых история сохранит без благодарности).

Декадентство — «decadence» — упадок. Упадок (у нас?) состоит в том, что *иные*, или намеренно, или просто по отсутствию соот-

ветствующих талантов, затемняют смысл своих произведений, причем некоторые сами в них ничего не понимают, а некоторые имеют самый ограниченный круг понимающих, т. е. только себя самих; от этого произведение теряет характер произведения искусства и в лучшем случае становится темной формулой, составленной из непонятных терминов — как отдельных слов, так и целых конструкций.

Человек, утончаясь, чувствует потребность прикрыть тайну своего существования, слишком ярко и обнаженно им ощущаемую; оттого, совсем не чуждаясь дня в своей так называемой «положительной» деятельности, — он ищет ночи для своих вдохновений, сумрака для своих надежд; — потому-то глубины наших современных поэтов укрываются порой в непроницаемые одежды. Напрасно искать осязаемого в этих глубинах. [Толпа может лишь бесноваться перед глухой стеной, скрывающей вечное и неумолимое божество; это божество всегда было далеко от невежд, никогда они не могли ни проникнуть в его тайну, ни познать его; непроницаемые покровы, от-

крывавшиеся только мудрости или вдохновению, всегда безнадежно опускались перед грубостью умов и сердец. Теперь клеймят, как издревле, эти строгие, древние покровы только новым именем — именем декадентства.

Вот — чисто мистическая постановка основного вопроса; она открывает обширные перспективы в сторону всяческого прославления того, что ныне подвергается неразборчивой хуле. Другая, прямо противоположная, а потому равно необходимая, точка зрения на это крупное явление современности (лучше сказать — современное видоизменение вечного и живого начала) будет состоять в различении плевелов от доброго семени и уличении тех, кто, неприметно укрываясь в чистых струях прозрачного потока, мутит его воды и нарушает строй их мерного течения к «прекрасной неведомой цели». Эта точка зрения должна поднять цветущие покровы, скрывающие всю чахлость разврата, и отряхнуть, таким образом, ветхую чешую грязных красок; тогда «с прежней красотой» перед нами явится «картина гения».

Этот гений — само божество, непостижи-

мое для глупцов, но проникающее всех, достойных проникновений; оно-то подвигло своих бедных детей претерпеть гонения, воздвигнутые на них ныне; оно-то «в разных образах» владеет сердцами своих апостолов. Над одним простерлось Светлое Существо — «Женственная Тень». Другой еще горит глубокими ранами божественного Учителя. Третьего волнуют темные соблазны, над которыми, как над всякой «черной глыбой», скоро вознесутся «лики роз» и брызнет ослепительный неиссякающий Свет. Все апостолы — уже уготованы на жертву и будут распяты «вверх пятами», как ранний святитель. Но дальше ждет их то великое и непостижное слияние с прежним источником и страданий и просветлений, которым теперь лишь изредка и бледно тревожат их боги «в пророческих снах»; и все-таки — тревожат — «в предвестие, иль в помощь, иль в награду». Здесь уже все равно — залетит ли в их «сумрак» «с зеленеющих полей» Психея или сойдет на них божественный «экстаз» Плотина и Соловьева.]

В то время как души большинства продол-

жали коснуть в тяжелом и смрадном невежестве, составляя твердую и благодатную почву для посева всякого рода злых семян, — души лучшей части человечества утончились в горниле испытаний времени и культуры; никогда не умрет человеческий дух, границы его возвеличению лежат еще вне нашего познания; теперь — среди всех «бурь и бед и мыслей безобразных» почуялось новое веяние, пускают ростки новые силы; [и в небывалых прежде блаженных муках начинает рождаться новое, еще неизвестное, но лишь смутно пока чувствуемое. Это все — дело Вечного Бога. Мы еще только смотрим, содрогаясь, и смутно ждем конца. Кто рождается — бог или диавол, — все равно; в новорожденном заложена вся глубина грядущих испытаний; ибо нет разницы — бороться с диаволом или с богом, — они равны и подобны; как источник обоих — одно Простое Единство, так следствие обоих — высшие пределы Добра и Зла — плюс ли, минус ли — одна и та же Бесконечность.

«Парадоксальность» этих верований не будет служить помехой анализу темы; но, так

как сама тема требует скорее субъективного метода, потому что трактует о том, что лежит далеко за пределами точных знаний, — она не может обойтись без самоосвещения и самосближения с религиозными основами ее автора; тем более что верования, выраженные выше, как мне кажется, совсем не лишены того самого туманного и мистического, далеко не строго богословского духа, которым проникнута и вся тема.] Точки же соприкосновения «глубинной» религии с «глубинным» искусством — неисчислимы. В пример можно привести несомненное как внутреннее, так и внешнее сходство между богослужебными обрядами вдохновенных иереев и игрой на сцене вдохновенных актеров; ибо и священнослужитель олицетворяет Христа и актер совершает свою литургию.

Близость между богом, которому поклоняются, и духом, который поклоняется, становится очевидной в нашей недавней поэзии. Тоскование всегда предполагает желание соединения — какую-то неудовлетворенную отдаленность, порывание или непрерывное стремление воссоединиться; одним из вели-

ких парадоксов, которым живут ищущие, можно считать то, что нет большей близости, чем наибольшая отдаленность, нет большей тоски, чем наибольшая радость. И в нашей поэзии неутолимейшее желание часто равно совершенному успокоению, величайшая радость — непрестанному тоскованию. [Все восходит к одной вершине, и на ней-то уж не можем мы, дети земли, различить наших здешних противуположностей.

Вот — глубочайшее откровение. Тайна его признана теперь, как никогда, умами и сердцами, обострившимися до последней степени. Это «инфернальность» известного рода — «созерцание двух бездн», доступное недавним избранникам. На фоне этой «всерадостной» тайны выписывают они порой безумные, порой дышащие неведомой силой иероглифы. Но не в безумцах ожидаемые силы.] Мы же будем говорить только про главнейших из тех, кому, по словам поэта,

*сквозь прах земли
Какой-то новый мир мерещился
вдали,
Несуществующий и вечный,*

кто из самого «несуществования» извлек для себя цветущее бытие и ликовал в чайньи грядущего. [Во главе этих избранников стоят Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев.] За этими незыблемыми столпами уже начинается бесконечное, [во многом зыблемое, но прекрасное и] неисчерпанное море их духовных детей; [море, где враги станут друзьями, когда спадут «ветхой чешуей» ненужные злые краски.]

*Волна в разлуке с морем
Не ведает покою.*

Всякая живая волна сольется с другой воедино, когда «свершит» круг, который «очертили» ей боги. А все мертвое отпадет. «И будет падение его великое». И враги друженственно протянут друг другу руки с разных берегов постигнутой бездны, когда эти берега со льются «в одну любовь».

Великие учителя — Тютчев, Фет, Полонский, Соловьев пролили свет на «бездну века», о которой я сейчас говорил. Тютчев, как ранний по времени, встретился еще с роман-

тизмом в духе Шиллера и Жуковского и славянофильством Хомякова и прочих. Есть в нем и Байрон-Лермонтов:

Я очи знал — о, эти очи...

*Как наслажденье — утомленный
И как страданье — роковой.*

Не в этом его великая сила; Тютчев — один из тех, кто приготовил нам пышность встречи грядущих откровений; на рубеже этой встречи встали его последователи (во времени): Фет — зрелый и мощный, Полонский — отрок, не знающий своих сил. Владимир Соловьев сделал в том направлении, о котором мы говорим, больше всех. Мы не имеем до сих пор равной и подобной глубины и затишья, уготованных для рождения С-нами-бога (Иммануэля).

Когда Тютчев вышел «бросать живительное семя» «рукою чистой и невинной»,

*Ночное небо так угрюмо
Заволокло со всех сторон.*

Таково было небо поэзии, ибо то были 60-е года, время положительного неведения. И вот

отрывок стихотворения Тютчева, написанного в 1865 году:

*Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мрака
Поля и дальние леса!*

*И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте,
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.*

Отголосками «таинственного дела» на высоте явились на земле внизу первые значительные зародыши русского декадентства (говорю — первые значительные, потому что, увы! — как это ни странно «публике» — декадентство в самом неподдельном виде встречается и — *horribile dictu!*[13] — у Вергилия — см. «*Vicolica*»). Примером ярко декадентского настроения могут служить стихотворения «Безумие» и «Весь день она лежала в забытьи». Первое напоминает современную живопись — какое-то странное чудовище со «стеклянными очами», вечно устремленными в облака, зарывшееся «в пламенных песках». Вто-

рое — ясное искание «глубинных» чувств; в звуках летнего дождя, в веселом шуме листьев — рядом с ликованием природы — «она», вся погруженная в «сознательную» думу, вся покрытая тенями, — вечная смесь «зимы и лета», только не освещенная «взором очей».

Откуда же черпал этот уже явный декадент свои вдохновения? Ответ прост. Он, как все, сильные и слабые, молодые и старые, веселые и грустные, — ждал голосов из вечности, был близок к Золотому Веку, терялся мечтой в лучезарности прошлого. И он, как Фет, как Соловьев,

*Под скифской вьюгой снеговою
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей, —*

не той Греции, которая кипела исторической жизнью, мыслью, творчеством, не той, которая породила гениев действительно-сти, — а той, которая мечтается в таинственные часы, той Греции, которую благодарные потомки отвлекли от суеты земли, в которую нам привычно углубляться, как в мечту Золо-

того Века, быть может, никогда не существовавшего, бесконечно отдаленного, но все прекрасного и вполне недоступного толпе, потому что

Он страшен им, как память детских лет.

Это — та страна, в которой нет «болезней, печали и въздыхания». Она-то снится всякому избраннику, то смутно, то явственно, как что-то бесконечно дорогое; утрачивая с ним связь, утрачиваешь жизнь. Моисею, коснеющему в пустынном Мидиане,

*...смутно видятся чертоги,
Где солнца жрец, меня учил,
И размалеванные боги
И голубой, златистый Нил.*

То был храм его юности; Вождь Израиля «расцвел» лишь тогда, когда вернулся к своему храму в «неопалимой купине».

Таким образом, источник и декадентства, и классицизма, и мистицизма, и реализма — один: имя ему — бог. А связь четырех указанных вещей поэтов заключается в том, что свои вдохновения черпали они из того источ-

ника божия, который не открывался другим (ибо иначе не было бы разницы между Шекспиром и Фетом). А источник их «декадентства» берет свое начало там же, где все другие источники, ибо все восходит к одной вершине. «Новое» направление Тютчева сказывается не в одних двух приведенных стихотворениях, а также и в том, например, что этот порою яростный публицист поднимался до бесконечно чистого лиризма, неподражаемой кристальности. Это возможно лишь для того, кто познал неизмеримую разницу между «суетой беспощадною» и «благодатною тишью», когда

*Все порывы и чувства мятежные,
Злую жизнь, что кипела в крови,
Поглотило стремленье безбрежное
Роковой беззаветной любви.*

У Тютчева:

*Но мне не страшен мрак ночной,
Не жаль скудеющего дня:
Лишь ты, волшебный призрак
мой,
Лишь ты не покидай меня!*

*Крылом своим меня одень,
Волненье сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.*

Этот призрак, эта «тень ангела», прошедшая «с величием царицы», — была великой женственной тенью:

*Воздушный житель, может
быть,
Но с страстной женскою душой.*

Так связал поэт небо и землю — легко и безболезненно. Ибо дана была ему власть — вязать и решать, как апостолу; и «на сем камени» воздвиглась церковь — необъятный храм. Он белеет перед Соловьевым вовсю его долгую жизнь — и в тумане утреннем, и в холодный белый день. А меньшая братия ждет на паперти, и только смутно и издалека доносится к ней пение, долетают струи фимиама ([Сологуб,] Минский).

«Женская душа» стихов Тютчева необычайно сильна, она ведет его неуклонно.

Вот она — страстно бьющаяся в прошедшем:

*И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день...
И сладко жизни быстротечной
Над вами пролетала тень.*

Вот она, утихшая, вся белая, в сонной дымке, в журчанья воды:

*Приутих наш круг веселый,
Женский говор, женский шум,
Подпирает локоть белый
Много милых сонных дум.*

Вот она, опять страстная, но уже всюду царящая, — она объемлет и деву и природу:

*Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?*

*Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?*

И наконец, вот она, незримая, но несомненная; ею проникнуто все стихотворение «Еще шумел веселый день». Оно кончается словами:

И мне казалось, что меня

*Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлеч незримо в царство теней.*

Неисправимый романтик еще не мог опрокинуться над бездной, которую видел и ведал. Вечно нежная гармония помешала ему лицезреть весь ужас тайны этой самой женственной души, ужас, который он все-таки смутно чувал:

*Но есть сильней очарованье:
Глаза потупленные ниц...*

*И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огонь желанья...*

Это вторая бездна, которую так страшно и упоительно раскрывает В. Брюсов:

*Мы шли, глядя друг другу в очи,
Встречая жданные мечты,
Мгновенья делались короче,
И было в мире — я и ты, —*

бездна, которую ныне уже нельзя миновать иначе, как перейдя через нее, и которую перелетел на крыльях лебединых Соловьев:

*Власть, ли роковая или немощь
наша
В злую страсть одела светлую
любовь, —
Будем благодарны, миновала ча-
ша,
Страсть перегорела, мы свободны
вновь.*

Эту-то бездну отчаянья, самоубийства и высокого восторга, цветущего в горниле душевных старостей, миновал светлый, невинный и чуждый греха Тютчев. Она мелькнула перед его великой душой и, не задев ее, отошла к будущим поколениям. Отравленную чашу пьют наши современники.

Вот далеко не полный, несовершенный очерк некоторых вдохновений Тютчева. Мы спешим бросить его, совершившего все положенное ему «в земном пределе», и перейти к более близкому и более осязаемому величию.

Фет, как Тютчев, страстно грезил «небом Греции своей», как Тютчев, постигал природу в полной отделенности. Довольно сравнить Тютчевское «Тихой ночью, поздним летом» и Фетовское «Прозвучало над ясной рекою»,

или «Зреет рожь над жаркой нивой». Кто из них более велик в этом — пускай решают другие. Но в том, другом, пророческом, — Фет больше Тютчева. Ибо Фет ощутил и ясно воплотил то, что еще смутно грезилось Тютчеву. Громадный шаг отречения, на который не решился Тютчев, оставив себе теплый угол национальности или романтически спокойного и довольно низкого парения, — этот шаг сделал Фет. Он покинул «родимые пределы» и, «покорный глаголам уст» божиих, двинулся «в даль туманно-голубую» «от Харрана, где дожил до поздних седин, и от Ура, где детские годы текли». И шел, «как первый Иудей», и терял свою цель, и снова находил ее, как он, и молился чужим богам «с беспокойством староверца».

*Когда мои мечты за гранью прошлых дней
Найдут тебя опять за дымкою туманной,
Я плачу сладостно, как первый Иудей
На рубеже земли обетованной.*

Потому что не жалел детских игр и дет-

ских снов, так сладостно и больно возмущенных вечно-женственной Тенью.

Идея Вечной Женственности уже так громадна и так прочно философски установлена у Фета, что об ней нельзя говорить мало.

В критическом очерке, посвященном Полонскому, Вл. Соловьев говорит: «Все истинные поэты так или иначе знали и чувствовали „женственную тень“, но немногие ясно говорят о ней; из наших яснее всех — Полонский».

Из наших яснее всех, конечно, сам Соловьев (можем мы сказать теперь). — Но вопрос в том, не признак ли нашего настоящего в поэзии — особенно сильное и ясное чувство поэтами женственной тени.

И Фет, и Полонский — последний яркий представитель века, даже и темных его сторон (это говорит и Соловьев), — служат одним из доказательств этого. Современная поэзия вообще ушла в мистику, и одним из наиболее ярких мистических созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии — Вечная Женственность.

В четырех стихотворениях «К Офелии»

Фет, явно сближая Шекспира с современностью (это уже не одна поэтическая, но и фило-софская и культурная заслуга), воплощает свою женственную мечту в чужой образ и тем покоряет этот образ и своему гению. Этого не достигал Тютчев. Но этого мало.

Есть стихотворение Фета: «Чем тоске я не знаю помочь». Последние строки этого стихотворения, помимо их вполне совершенного элегического настроения, не смущенного ни одним чуждым звуком, явственно и ощутимо выдвигают из ужасной пропасти ту нетленную красоту в окружении веры и веру в окружении красоты, которую тщетно пытались бы поднять из темного лона иные:

*Знать, в последний встречаю вес-
ну,
И тебя на земле уж не встречу.*

Кто эта Ты? Это — источник жизни поэта, Белая Церковь. В ней все чистое от Астарты и Афродиты.

*Все нити порваны, все отклики —
молчанье.*

«Остается одна суть: мужественная воля и

влекущая сила женственности», как говорит сам Фет в своей философии «Фауста».

*Всё здесь безбрежное
В явной поре.
Женственно-нежное
Вносит горе.*

Мы даже не задаемся целью описать всего Фета. Это значило бы — желать исчерпать неисчерпаемое. Только слабые отголоски гениальных вдохновений найдет читатель на этих страницах. Мы можем схватить одно излюбленное, давно грезящееся. К такому относится, среди другого, стихотворение «О, не зови», содержащее в себе несметные откровения. Здесь — явственно и несомненно созерцание двух бездн:

*...с последним увлечением
Конец всему;
Но самый прах с любовью, с наслаждением
Я обойму.*

Здесь — провидение того, чему нет названия и нет меры. «Мысль изреченная есть ложь», «взрывая, возмутишь ключи, питайся

ими и молчи...» — сказал бы Тютчев. Фет не молчит — ибо не может молчать. Его ключи бьют поверх всего -

*Из стужи, мертвых грез
Проступают капли слез.*

Эти слезы, которые застыли бы у другого поэта в пафосе или в туманности или испарились бы, обращаясь в ничто, — здесь так слышны и так вдохновенны, как на самом деле не могут быть. В этом вся тайна — поэт должен творить невозможное, — он нашел блаженства без меры и без названья, несмотря на то, что «рухнула с разбега колесница»... Довольно одной «песни на удачу», — и в ответ прольются слезы всепознания. Все торжество гения, невмещенное Тютчевым, вместил Фет, сам не зная, что будет петь, — но уже с песнью, зреющей на устах. Ему уже брезжат в голубой дали веселые лодки,

*Свобода и море
Горят впереди...*

Но в это море все-таки не удалось проникнуть ни ему, ни его великому духовному другу Соловьеву. Что связало их, что помешало

им, — не мы узнаем. А может быть, они всё узнали, всё свершили и действительно замешались теперь в ту «мировую игру», которую «затеяли боги», как некогда смертный Геракл был причислен к сонму бессмертных Олимпийцев. Ибо недаром же открывал Плотин пути к самопоглощению в боге — пути философии, музыки и любви. Громадность философии Соловьева и Фета — вне сомнений, их музыку слушаем мы на земле; а любви их нет границ. Эта любовь так таинственна, что мы познаем ее лишь в личном творчестве, когда, в часы экстаза, начинают проходить перед нами дрожащие, непостижимые, странные призраки — «холодные струи нездешних тайн». И тогда, как старцы Фиванские, мудрые, но не знающие грядущего дня,

Мы содрогаемся.

Полонский
<Том> I

<Стр.> 16. «Тяжкое сомненье», мрачащее «святые помыслы души», пока звучит торжественно священный благовест, — временно: «Силы последние мрак собирает —

тщетны они» (Сергей Соловьев).

38. («Рассказ волн».) Не Афродита ли мирская лежит убитая на морском песке в непробудном сне? Не торжество ли Небесной? Отчего же ему грустно? Чьи мелькают паруса?

41. Отчего пленителен беспорядок одежды и кос, а все-таки грустно? Оттого, что к земле тянет, мелькает иной мир суровой глубины (сын бездонной глубины? Здесь уж у меня, конечно, — натяжка).

183. «Сам не знаю — за что я люблю тебя, НОЧЬ...»

187. «Одинокое сердце оглянется...»

276. «Тень ангела прошла с величием царицы...»

309. «Казачка».

408. «Напрасно».

437. «Слышу я — моей соседки...»

<Том> II

19. «Сквозь туман рыбакам померещимся...»

201. «ЦАРЬ-ДЕВИЦА».

245. «Холодная любовь».

257. «Глаза и ум...»

299. «Я умер, и мой дух...»

373. «Для сердца нежного...»

442. Юбилей Фета.

<Том> III

2. «На пути».

33. «Вечерний звон» (оба).

(107. «Голос из-за могилы».)

<Январь 1902>

24 июля 1901 года. В Боблове поверье:
«она» «мчится» по ржи.

<Набросок непосланного письма к Л.Д. Менделеевой>

1) Прежде всего позвольте мне просить у Вас извинения за то, что было 29 января.

2) Я должен сказать Вам, что то, что недослушано Вами и недосказано мной, должно сохранить свою силу до времени; теперь же Вы, кажется мне, не хотите, а может быть, и не можете этого выслушать. Говорю так потому, что другой выход всякий мне предвидится, как худший, «то, что было невозможно»...

3) Относительно факта моего бывания у Вас. Следует ли его продолжать

для Вас же?

18 января

Помню я стихотворные вскрики молодой и несчастливой души. Не обратив на них внимания тогда (а они ведь были ко мне и *ни к кому более*), теперь задумываюсь над ними: и, кажется, завеса открывается с одного края — и вижу я Судьбу с ее долгой, тягучей, неизбежной надписью: «всему свой черед». (Так и Экклезиаст говорил.) Было время, когда мои пошлости приглашали девиц к невоздержности, — и это их не губило, но оставляло неизбежно след (не грязноватый ли?). Я же выходил сух из воды. И вот «по великим железным законам» случилась моя «гносеологическая» встреча, с которой равно неизбежно пришел я к нынешнему. И этих чар порой бывает страшно — и сладостно в их глубине.

9 марта

В экстазе — конец.

Реши обдуманно заранее, что тебе нужно умереть. Приготовь револьвер или веревку (!?). Назначь день. В промежутке до самоубийства то миришь, то ссорься, старайся развле-

каться, и среди развлечений вдруг пусть тебя хватает за сердце неотступная и данная перед крестом, а *ЕЩЕ ЛУЧШЕ* — перед любимой женщиной, клятва в том, что в определенный день ты убьешься. Выкидывай штуки, говори *СТРАННЫЕ* вещи, главное — любимой женщине, чтобы она что-то подозревала и чем-то интересовалась. В день назначенный, когда ты знаешь, что можешь без препятствий ее встретить и говорить, — из-за экстаза начнет у тебя кровь биться в жилах. Тогда — делай, что тебе нужно, или делай, или говори. Мы не помешаем тебе и будем наблюдать за тобой. Если ошибешься, нам будет очень смешно, ты же будешь очень жалок. Потому — лучше сразу, а на предисловия не очень надейся. Конечно, если можешь с предисловием, — то только выиграешь (плюсик).

Все это сделаешь ты, если хочешь 1) скорее, 2) здесь испытать нечто 1) новое, 2) крупное, т. е. — если нет терпенья и нет веры в другое.

<22 марта>

Завтра 23 марта будет спектакль учениц

второго курса М. М. Читаю.

Возвратимся от Критского Зевса, Цицероновых талантливых, но уже замирающих возгласов, от мелких греческих усобиц, которые уже совсем отошли в вечность, к чистому, юному, только еще расцветающему цветку настоящего — не того, о котором пишут (или запрещают писать.) в газетах, а «настоящего» — лирико-философского настоящего.

Наступает весна, как и вечно, — с бодрящими струями в воздухе, с неизреченными вечерними зорями, с бесконечными воспоминаниями.

Все ли здесь воспоминания? Когда -

*Предо мной любимые книги,
Мне поет любимый размер,*

я стараюсь схватить и вспомнить все — и не одной памятью головной, а и сердцем и волей. И все чего-то не хватает. В этом-то, чего еще нет, — кажется, вся разгадка — «ключ суровых тайн». В самом деле — разве были бы так суровы некоторые обстоятельства — это вечное напряженное, до утомления физического, — искание, вглядывание в даль, — если

бы все отпиралось общим великим ключом. И это — нужно вспомнить, потому что не думаешься простой логикой. И вот снова выступает на сцену мистика...

*Снова и снова иду я с тоскою
влюбленной
Жадно впиваться в твою беско-
нечность очами...*

Хочется битвы — и после — смерти или великой тишины. Скоро ли начнется наша битва?

Завтра — спектакль. И — «фрак любви» пригодится, ибо — земля, земля... И я ужасно на земле — и хочу земной битвы, потому что знаю, что

*Будет день иных сражений,
Иных торжеств и похорон.*

22 марта

Земля обладала некогда Существом, близким к всепознанию. Она произвела его в те страстные часы, когда и боги не помышляют о плоде. Так Кронос породил Зевса — и Зевс свергнул его; Сатурн породил Юпитера — и Юпитер сверг его. Но, породив, Земля неска-

занно вздрогнула, ибо почуяла близкую гибель. И тогда она овеяла свое произведение неким дуновением бога греха. И такое подобие этого бога запечатлелось на лице Новорожденного, что — остальные собранные боги, взглянув на Него, впали в соблазн и сказали: «Твое дитя, Земля, еще юно, а уже возлежало с богом греха». — И все боги отступили от него и отвернулись. Так обманула Земля богов.

А Юное Существо раскрылось в цвет странной и страшной пышности, ибо веяло от него несказанной святостью, но лик его отражал мировое зло. И так боролись в нем улыбка бога и улыбка дьявола. А Земля, вся в трепете, лелеяла детище, и втайне ждала победы от дьявола — и желала ее. И дьявол льнул к раскрывающемуся цветку, а обманутые боги не хотели смотреть на него.

22 марта

Когда человек примется писать что бы то ни было — письмо или статью какого угодно содержания, — ему ничего не стоит впасть в догматизм. Догматизм есть принадлежность

всех великих людей, но это другой догматизм — высший, а нам — меньшим — следует от нашего догматизма избавиться. И вот что могу сказать по этому поводу:

Догматизм, как утверждение некоторых истин, всегда потребен в виде основания (ибо надо же исходить из какого-нибудь основания). Но не лучше ли «без догмата» опираться на бездну — ответственность больше, зато — вернее. Представьте: есть двое молодых и влюбленных. Один думает так, другая — иначе, — и не только думает, а и чувствует — и делает. Но оба любят, — а можно ли, любя, стоять на своем, не верить в то, во что верит любимая или любимый? Тут-то представляется, по-видимому, два исхода: или «броситься в море любви», значит — поверить сердцем и исповедывать то же, что тот, кого любишь, — или твердо стоять на своем и ждать, пока тот, кого любишь, «прозреет» и уверует сам в то, во что ты так твердо веришь. Тот и другой выход странен, сказал бы я (деликатно). Ибо, с одной стороны, нельзя всю жизнь быть в таком очумелом состоянии, чтобы не иметь ничего от себя, а все от другого, а с другой —

нельзя «чертовски разумно» стоять на своем, стучать лбом в стену и ждать у моря погоды. Где же выход?

Выход — в бездне. (И все выходы в ней.) Не утверждай, не отрицай. Верь и не верь. Остальное — приложится тебе. А догматизм оставь, потому что ты — маленький человек — «инфузория», «догадавшаяся о беспредельности».

26 марта

26 марта я познакомился с Мережковскими. Зинаида Николаевна дала мне философию Бугаева. Вот отрывки [и критика (?):]

Уже два года я испытывал ни с чем не сравнимое чувство... Я ждал, кто заговорит... И вот началось. Раздались трубные призывы... Вл. Соловьев прочел лекцию «О конце всемирной истории». Д. С. Мережковский упомянул о проснувшихся слишком рано («Толстой и Достоевский», т. I).

И природа и люди как бы не те, что прежде. «Конец мира близится». «Стучит у дверей». Так ли? Или это только

кажется?

Так или иначе, но руки отваливаются от всякого дела. Все поздно. Ждешь... Можно ли верить милой, но бредной сказке? Но тоска растет, переходит в священный ужас. И невольно веришь, что если сроки не сократятся, то никто не спасется...

Мы молчим, но события не минуют нас. «Или мы, или никто» (слова Мережковского). Быть может, мы только предтечи «запечатленных», при которых «оно» совершится. Так или иначе, но мы — участники (хоть бы и косвенные) совершающейся мистерии...

...Что касается «знания», то, на мой взгляд, может быть и вполне ошибочный, г. Мережковский или ничего не знает, или же знает слишком много, но не договаривает... Да и для него будить, если еще рано, потому что ведь — «горе проснувшимся слишком рано».

В моем письме нет ничего, кроме мучительной просьбы быть откровеннее, подать явный знак, или совсем не упомянуть о «скрываемом», если «оно» существует.

Моя критика: нет ли здесь у Бугаева некоторого сомнения в существовании «его»? Если есть — ужасно, ибо ведь выйдет уже не «поверженный», а «отрицаемый» бог!? «Томление духа» есть бездна смерти и явится здесь, если еще не явилась, как опрокинутое «веселие духа».

Все письмо Бугаева кончается десятью положениями, «с которыми приходится считаться всякому, прикоснувшемуся к главному». Вот некоторые из них:

4) Священная тоска становится нестерпимой.

5) В этом скоплении ужаса узнаешь приближение Антихриста.

6) В воздухе носится «вечная женственность» (жена, облеченная в солнце, долженствующая родить младенца мужского пола, которому надлежит пасти народы жезлом железным).

7) Но и великая блудница не дремлет.

8) Христианство из розового должно стать белым, Иоанновым («Убелили одежды кровью Агнца», «белый всадник», белые одежды, белый камень, бе-

лый престол, белоснежные серафимы, матушка ты наша белая, — см. Записки Серафимо-Дивеевской обители). Белый цвет — соединение семи церквей, семи принципов, семи рек, текущих из рая в поток, скачущий в жизнь бесконечную, семи светильников; соединение семи чувств (осознания, обоняния, вкуса, слуха, зрения, ясновидения — шестое открывающееся чувство, интуиции). Соединение голосов семи громов, снятие семи печатей; это наше христианство.

10) Нужно готовиться к неожиданному, чтобы «оно» не застало врасплох, потому что близка буря, и волны бушуют, и что-то смутное подымается из вод.

Подписано: Студент-естественник.

2 апреля

М-те Мережковская дала мне еще Бугаевские письма. Следует впоследствии обратить на них внимание больше — на громаду и хаос, юность и старость, свет и мрак их. А не будет ли знаменьем некоего «конца», если начну переписку с Бугаевым? Об этом очень нужно

подумать.

А пока еще раз *ИЗУЧИТЬ* длинное письмо Бугаева о синтезе цветов, любви, рассудка, чувств. Он, испытывая *высшие* напряжения (одни из высших), постигает, очевидно, многое, но так хаотично, ибо громадно. Сила его прозрений может разрешиться в некоторое величие успокоения «вблизи от милой стороны». «Колокола» же его уже теперь перезванивают «лиру» — знак ли это? — Сегодня я буду у Мережковских.

2 апреля

Во 2-й главе *Евангелия от Иоанна* описано первое чудо и первое «снадание ревностью по дому» Отца. Значит, не было еще всей мудрости у Христа? Что же умудрило его? Или жизнь? (!).

А вот из 3-й главы: Иоанн Креститель сказал своим ученикам: «Имеющий невесту есть жених; а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умяться. Приходящий свыше и есть выше всех; а сущий от земли

земный и есть и говорит, как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех» (29, 30, 31)... «Ибо не мерою дает бог духа» (34) ... «Должно вам родиться свыше (7); если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие божие» (5), — сказал Иисус.

А еще сказал Иоанн: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба» (27).

* * *

Да неужели же и я подхожу к отрицанию чистоты искусства, к неумолимому его переходу в религию. Эту склонность ощущал я (только не мог формулировать, а Бугаев, Д. Мережковский и З. Гиппиус вскрыли) давно (см. критика на декадентство). Excelsior![14] (словцо Мережковского). Дай бог вместить все, ведь и Полонский, чистый «творец», говорил:

*...как ни громко пой ты — лиру,
Колокола перезвонят.*

Прочеть Мережковского о Толстом и Достоевском. Очень мне бы важно. Что ж, расплывусь в боге, разольюсь в мире и буду во

всем тревожить Ее сны. «Все познать и стать выше всего» (формула Михаила Крамера) — великая надежда, «данная бедным в дар и слабым без труда».

* * *

См. стихи:

1. Не призывай. И без призыва...
2. Я умирал...
3. Лениво и тяжело...
4. Не призывай и не сули...
5. Новый блеск...
6. Последний пурпур...
7. Аурафа διυματα
8. Я знаю — смерть близка...
9. Я возвращусь стопой...
10. В полночь глухую рожденная...
11. Я вышел. Медленно...
12. Тихо вечерние тени...
13. Ты отходишь в сумрак...
14. Все бытие...
15. За туманом, за лесами...
16. Приобщенный к жизни...
<Внемля зову жизни смутной...>
17. Входите все...
18. Ты прошла голубыми...

19. Наступает пора...
20. Ищу спасенья.
21. Поле за Петербургом.
22. Я жду призыва...
23. Медленно, тяжело...
24. Медленно в двери...
25. Хранила я...
26. Кругом далекая равнина...
27. Предчувствую тебя...
28. Твой образ чудится неволью...
29. Ранний час...
30. Не пой ты мне...
31. Я понял смысл твоих стремлений...
32. Ветер принес...
33. Сумерки, сумерки...
34. Она росла...
35. Одинокий, к тебе прихожу...
36. Вчера я слышал...
37. Уж легкие неведомые...
38. Синие горы вдали...
39. Смотри — я отступаю в тень...
40. Скрипнула дверь...
41. Вечереющий сумрак, поверь...
42. Лежат холодные туманы...
43. Бегут неверные дневные тени...

44. Там, в полусумраке собора...
до 7–8 ноября 1902 г.![15]

* * *

2010. Firenze. Galleria Uffizi. Vergine
Addobrata. G. Salve detto il Sassoferrato.
(Riproduzione Interdetta.)

* * *

Промыслитель *Прометей* был титан, сын
Напета и Климены (или Фемиды?) — брат Ат-
ланта, Менетия, Эпиметей.

Замечательна философская сторона мифо-
логии (как и фактическая) у Любкера, превос-
ходна.

* * *

На двух фронтонах Казанского собора над
группами эллинского типа написано: «До-
стойно есть яко воистину блажити тя, богоро-
дицу, присноблаженную и пренепорочную и
матерь бога нашего». А на среднем: «Благосло-
вен грядый во имя господне».

2 июня

Βίος — πάτος — черная глыба — γῆ.

Ἐν ἐν κνκλω παν εδτι[16]

Lux ex tenebris[17] — только и возможен:

*все элементы — свет и мрак.
Отсюда: свет только из мрака.
Из мира — безмирное.
Из тьмы — свет.*

НЯ: Мышление антитезами часто неудовлетворительно, пропадает очень много тонкостей (Лапшин). Научно — правильно; мистически — менее. Имеет *raison d'Être*. [18]

Тьма — безначальный хаос «оформленный».

Свет — безначальный хаос «очищенный».

* * *

Мне кажется, что для деятельности, особенно же мистической, необходимо единство, т. е. так или иначе — известный синтез.

А для синтеза...

26 июня, перед ночью

Сегодня почти весь день сеет дождь. Ночь ужасно темная. Еще вечером, за чаем толкнул меня ужас — вспомнилось одно бобловское поверье (миф, см. ниже).

Диде очень дурно. Мне чудится его скорый конец, сегодня особенно.

Шорох дождя не всегда обыкновенен. Странно пищало под полом. Собака беспокоится. Что-то есть, что-то есть. В зеркале, однако, еще ничего не видно, но кто-то ходил по дому.

Вот одно из сказаний.

В Иванов день (24-го) я ходил с Анной Ивановной вдвоем мимо «театра» к березовой аллее. Она рассказала мне: недавно (?) был в Боблове неурожай; Мужики нуждались в деньгах. Она задала им какую-то, *в сущности, ненужную* работу (земляную) и указала бугорок, который много лет был уже среди парка. Крестьяне на *незначительной* глубине (?) нашли под бугорком скелет и непременно потребовали... Она согласилась. Спрашивала Смирнова, не древность ли это (недавно около Боблова и еще в другом месте — к Дмитрову, найдены древние городища; одно из них разрыто, и найдены — черепки, стрела, два скелета, у одного на руке кольцо — железное или чугунное). Смирнов не подтвердил этих археологических догадок. В прошлом году у Надежды Яковлевны зашел разговор об этом при Фоме (?) — хозяине ее (в Семичеве). Фома

положительно утверждает, что скелет принадлежит человеку, *убитому* здесь бывшим управляющим. Церкви и кладбища на этом месте не запомнят. Тело было зарыто не так, как хоронят покойников — с руками на груди, — а с *раскинутыми* руками. Итак, значит, в нескольких шагах от трупа жили и не знали об этом. Так она кончила свой рассказ. Она и сама боится.

В зеленый пруд парка, говорят, брошено мертвое тело.

Но ужаснее и «глубиннее» всего поверье о том, что «она» «мчится» по ржи. Как оно попало в народ? Кто занес эту страшную легенду? С нами крестная сила.

* * *

Собирая «мифологические» материалы, давно уже хочу я положить основание мистической философии моего духа. Установившимся *наиболее* началом смело могу назвать только одно: женственное.

Обоснование женственного начала в философии, теологии, изящной литературе, религиях.

Как оно отразилось в моем духе.

Внешние его формы (антитеза).

Я, как мужской коррелат «моего» женственного. «Эгоистическое» исследование.

* * *

Миф есть, в сущности своей, мечта о странном — мечта вселенская и мечта личная, так сказать — менее и более субъективная (но никогда не объективная, ибо никакая «мечта» не может быть объективной. Она только больше и меньше объекти<ви>руется, — путем кристаллизации своего содержания во вселенной, его очистки от туманностей одинокого духа). Притом — вопрос еще, что выше — объекти<ви>рованная или еще первобытно-туманная мечта, мечта как таковая. Таким образом, миф проходит стадии: эстетика (одинокое страдание, индивидуальное, *αυτιαθία*), этика (сострадание, вселенское «нечто», *συνπλαθία*). Далее — последний и высший синтез мифологии эстетической и мифологии этической — претворяет мифологию в *религию*: последняя кристаллизация, *καθάρμυζ* — очищение (объект восприятия уже для *pater exstaticus* — «новое» христианство, тогда как *эстетика* — *pater*

profundus — поэты — любодей — Изида — язычество, а *этика*- pater seraphicus, средняя область — «старое» христианство). Последнее относительно эстетики и этики верно только исторически (как последовательность). Ибо одна не уступает другой и не превышает ее (?).

Мифы — цветы земные. Они благоуханны только до предела религии. Выше — мифу нет места.

*Все великое, земное
Разлетается как дым.*

Высшая область слила и претворила (а для каждого — разно сливает и претворяет) в религиозном созерцании те две области, о которых трактует мифология, — эстетику (высшая ее сфера — так называемое «религиозное искусство» отнюдь еще не религия, а мифология, хоть и высокая) и этику (благодаря этой сущности второй области историческое христианство, когда прошло время гонений и прочих «раздражающих» и раздувающих пламя факторов, так и не допрыгнуло до религии. Оно осталось еще мифологией; здесь есть уже

намеки на Лицо Логоса, но еще по-земному — туманное, не по-небесному — ясное).

Это все — отрицательное в мифологии, ее «небытие».

Положительное в ней: она повествует о тайном сочетании здешнего и нездешнего, земного и небесного; она — «отрезок радуги» (письмо Вл. Соловьева к Фету). Через нее очищается здешнее (религиозное искусство, одухотворенное добро — старец Зосима на земле).

Иное через нее сходит сюда (Апокалипсис). Таким образом, определение МИФОЛОГИИ будет двойственно. Она еще двулика, как Астарта (это неминуемо: Астарта — $\gamma\eta$ [19]); она — вечный полет и вечное воплощение.

Мифология в узком смысле есть середина (аurea!) между землей (эстетика и этика) и небом (религия), — так как, отделившись от земли (красоты и добра), нет возможности миновать *порог* истины; этот порог и есть мифология. На нем кладутся последние поклоны, совершаются омовения; пилигримы осеняются крестным знаменьем и оглядываются в последний раз: видят мутно-синий туман

своей влажной матери. Но она уже не имеет над ним власти, ибо: «Оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей; и будут два в плоть едину».[20] Перед нами Невеста — будущая Жена — дверь блаженства. Тайна сия велика есть. «И Дух (очищение лица) и Невеста (очищение вселенной) говорят: прииди».

В основном существе своем эстетика и этика не разнятся; первое — искусство красоты, второе — искусство добра. Искусство же есть *подражание великому*: в нем земля подражает небу (оттого-то два указанные дела и суть наилучшие на земле). Но Красота и Добро еще неумело («мифологически», следуя нашей терминологии) подражают Истине.

Оба основные цикла мифов (мифы о красоте и мифы о добре) говорят о *земном небожительстве*. Тут-то и есть главное отличие мифологии от религии; последняя трактует об *ином*:

*И будет час иных явлений,
Иных торжеств и похорон.[21]*

Что же, собственно, есть «земное небожи-

тельство», о котором говорит мифология? Это, очевидно:

1) нечто двойственное (что заключается в самом понятии: 1) *земного*, 2) *небожитель-ство*), а потому

2) если приближается к «нечто», то

3) неминуемо должно приблизиться к основному противоположению или противному корреляту этого «нечто».

Присматриваясь к земной природе (в обширном смысле), всю ее разделим на основании одного проникающего ее начала: это — фаллистическое начало *ПОЛА*[22]. Вместе с тем это начало удовлетворяет основному признаку в нашем определении мифологии — двойственности (пол женский и мужеский). Таким образом, на наш вопрос о том, что такое «земное небожество», мы получили ответ: земное небожество выражается в понятии пола: это и есть опрокинутое небо, небо исковерканное, обезображенное. Земля в образе все ленской проститутки хохочет над легковверным «язычеством» (восточным!), курящим ей фимиамы. Но та же земля бледнеет и прячет раскрашенное лицо перед надвига-

ющимися (с Востока же!) Великим и «Несмутимым». Последний «процесс» весьма не чужд нашему времени, а это и обуславливает право на существование настоящих слов. Кажется, здесь есть кое-какие разъяснения.

Из всего вышесказанного ясно вытекает, что действительный (небесный), а не лживый (мифологический) свет может воссиять только из тьмы. Истина возникает не из ничего, а как синтез добра и красоты (см. выше). Таким образом, полное освобождение от земной доли происходит лишь путем полного латос[23] в земной оболочке (тема Достоевского, проникающая все его мировоззрение).

*Свет из тьмы.
Над черной глыбой*

и т. д. (Вл. Соловьев)

[Иное дело — временное, минутное постижение тайны, этот ранний, нераскрывшийся «цвет завета», без которого «мы» не могли бы существовать. Такое испытание «мига» доступно нам, как явствует из жизни учений и пророчеств древних и новых «богоискателей».] [24]

Возвращаясь опять к стихотворению Соловьева «Свет из тьмы» (стр. 29, 3-го издания стихов), зададим себе вопрос, кто ЭТА «Ты» этого и многих подобных стихотворений (они есть у всех поэтов)? Ответим же словами прежде всего Гёте а потом и всей позднейшей гениальной плеяды ему подобных: *das ewig Weibliche*. Вот что говорит Соловьев в статье «Поэзия Полонского»: «Счастлив поэт...» и т. д. (см. стр. 370 из «Литературного приложения к Ниве», 2-я стр. статейки).

Итак, поэтов занимает «Царь-Девица».

21 июля. Шахматове. Ночь

Сейчас я вернулся из Боблова (21 июля 1902 года, ночь). [Л. Д.][25] сегодня вернулась от Менделеевых, где гостила чуть не месяц. У нее хороший вид; как всегда почти — хмурая; со мной еле говорит. Что теперь нужно предпринять — я еще не знаю. Очень может быть, что произойдет опять вспышка. [Иначе и мирская логика трудно (а может быть, и *вовсе не*) позволяет, потому что всегда всякий человек, пребывая известное количество моментов в одном положении, *требует* заполнить

следующие моменты другим. Огромный плюс к этому неоспоримому еще *нечто*: *стоит ли?* Стоит ли, то есть, отвлекаться? Мало того: имею ли я мировое право не творить ужасного? Таков вопрос, весьма согласующийся с натурой вопрошающего: *беспринципностью*. Иначе быть не может. Что же именно нужно делать?

Я хочу *не* объятий: потому что объятия (внезапное согласие) — только минутное потрясение. Дальше идет «*привычка*» — вонючее чудище.

Я хочу *не* слов. Слова были и *будут*; слова до бесконечности изменчивы, и конца им не предвидится. Все, что ни скажешь, останется в теории. Больше *испуга* не будет. Больше **ПРЕЗРЕНИЯ** (во многих формах) — не будет.

Правда ли, что я **ВСЕ** (т. е. мистику жизни и созерцания) отдам за одно? *Правда*. «Синтеза»-то ведь потом, разумеется, добьешься. Главное — овладеть «реальностью» и «оперировать» над ней уже. *Corpus ibi agere pop potest, ubi pop est!*[26]]

Я хочу сверх-слов и сверх-объятий. Я **ХОЧУ ТОГО, ЧТО БУДЕТ**, Все, что случится, того и хо-

чу я. Это ужас, но правда. Случится, как уж — все равно, все равно что. *Я хочу того, что случится.* Потому это, что должно случиться и случится — то, чего я хочу. Многие бедняжки думают, что они разочарованы, потому что они хотели не того, что случилось: они ничего не хотели. Если кто хочет чего, то то и случится. Так и будет. То, чего я хочу, будет, но я не знаю, что это, потому что я не знаю, чего я хочу, да и где мне знать это пока!

То, чего я хочу, сбудется.

22 июля

Читаю талантливейшего господина Мережковского. Вижу и понимаю, что надо побережь свою плоть. Скоро она пригодится.

«Отречение от крайностей мистицизма» (мое) не столь просто. Это шаг не назад, вперед — к «отрицанию». Здесь есть утверждение (сознательное) своего рода «неверия». Поберегусь. 1[^]Я. Самоубийство одной моей знакомой. И далее — «по тому же пути».

14 августа 1902. Ante lucem

Мой скепсис — суть моей жизни.

Та ли будет суть моей смерти? Нет. Наступит время (момент), когда я *твердо* узнаю, что моя смерть нужна для известного момента (или...). Говорю в скобках «или», потому что смерть нужна неизвестно для чего: для момента ли, или для лица, или для себя, или для нравственности, или для начала, или для перехода, или как условие, или физиологически — и т. д. и т. д.

Этот момент будет *отличаться* от других моментов тем, что будет содержать в себе особенно интенсивное накопление твердой уверенности в необходимости прекратить его — притом: не непременно в силу отчаянья («умри в отчаяньи»), а *СКОРЕЕ* в силу большого присутствия *силы*, энергии потенциальной, желающей перейти в кинетический восторг (εκδταδισ). Κινησις восторга (высшего) будет заключаться в *ВЫСШЕМ* поступке. Высшее телеологически стремление человека — применить наибольшую из своих способностей к наибольшему, что у него есть. Наибольшая способность — «прекратиться», наибольшее, что есть в руках, — собственная цель (τελοσ — конец — finis — finalis). Таким

образом, наивысшая способность и наивысшая цель совпадают в одном (ΤΕΛΟΣ). Человек может кончить себя. Это — высшая возможность (власть) его (suprema[27]potestas). Для сего он выбирает момент, в который остальные его возможности (как-то — возможность жить, а не скончаться и другие — помельче) *не мешают*. Вместе с этим — высшая цель человека — стремление вперед — и притом скорейшее (наибольшими шагами). Очевидно (ясно), что выражение самого скорого стремления будет самым большим шагом (summus passus). Это скачок из того состояния, которое в настоящее время поглощает в себе все остальные его состояния, — в другое. Состоянием, поглощающим в себе все остальные, никто не усумнится счесть жизненное состояние. Человек прежде всего живет, потом уже добр, зол, счастлив, несчастен, любит, любим и пр. Следовательно, summus passus будет из этого состояния — именно из жизни. А из нее выйти некуда, кроме смерти (человеку не надо иное). Таким образом, summus passus в смерть будет выражением самого напряженного стремления — осу-

ществлением высшей цели путем приложения своей высшей способности. Кончив себя (разумеется, в момент наиболее для этого удобный), человек осуществит свою *suprema potestas* путем *summus passus*.

P. S. Известно, на какой момент намекаю я. Спросить у ...[28] (см. завещание, тетрадь I, стр. 29–30).

29 августа

<Черновик непосланного письма к Л.Д. Менделеевой>

Пишу Вам как человек, желавший что-то забыть, что-то бросить — и вдруг вспомнивший, во что это ему встанет. Помните Вы-то эти дни — эти сумерки? Я ждал час, два, три. Иногда Вас совсем не было. Но, боже мой, если Вы были! Тогда вдруг звенела и стучала, захлопываясь, эта дрянная, мещанская, скарредная, дорогая мне дверь подъезда. Сбегал свет от тусклой желтой лампы. Показывалась Ваша фигура — Ваши линии, так давно знакомые во всех мелочах, изученные, с любовью наблюденные. На Вас бывала, должно быть, полумодная шубка с

черным мехом, не очень новая; маленькая шапочка, под ней громадный, тяжелый золотой узел волос — ложился на воротник, тонул в меху. Розовые разгоревшиеся щеки оттенялись этим самым черным мехом. Вы держали платье маленькой длинной согнутой кистью руки в черной перчатке — шерстяной или лайковой. В другой руке держали муфту, и она качалась на ходу. Шли быстро, немного покачиваясь, немного нагибаясь вправо и влево, смотря вперед, иногда улыбаясь (от Марьи Михайловны). (Мне все дорого.) Такая высокая, «статная», морозная. Изредка, в сильный мороз, волосы были спрятаны в белый шерстяной платок. Когда я догонял Вас, Вы оборачивались с необыкновенно знакомым движением в плечах и шее, смотрели всегда сначала недружелюбно, скрытно, умеренно. Рука еле дотрагивалась (и вообще-то Ваша рука всегда торопится вырваться). Когда я шел навстречу, Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца. Я путался, говорил ужасные глупости (может быть, пошлости),

падал духом; вдруг душа заливалась какой-то душевной волной («В эти сны, наяву непробудные...»). И вдруг, страшно редко, — но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, может быть, мимолетная дрожь, — или все это было, лучше думать, одно воображение мое. После этого опять еще глуше, еще неподвижнее.

Прощались Вы всегда очень холодно, как здоровались (за исключением 7 февраля). До глупости цитировались мной стихи. И первое Ваше слово — всегда легкое, капризное: «кто сказал?», «чьи?» Как будто в этом все дело! Вот что хотел я забыть; о чем хотел перестать думать! А теперь-то что? Прежнее, или еще хуже?

P. S. Все, что здесь описано, было на самом деле. Больше это едва ли повторится. Прошу впоследствии иметь это в виду. Записал же, как столь важное, какое редко и было, даже, можно сказать, просто в моей жизни ничего такого и не бывало, — да и будет ли? Всё вопросы, вопросы — озабоченные, полузлобные... Когда же это кончится,

господи?

29 августа. Шахматово

Один только раз мы ходили очень долго. — Сначала пошли в Казанский собор (там бывали и еще), а потом — по Казанской и Новому переулку — в Исаакиевский. Ветер был сильный и холодный, морозило, было солнце яркое, холодное. Собор обошли вокруг, потом вошли во внутрь. Тихонько пошептались у дверей монашки (это всегда — они собирают в кружки) — и замерли. В соборе почти никого не было. Вас поразила высота, громада, торжество, сумрак. Голос понизили даже. Прошли глубже, встали у колонны, смотрели наверх, где были тонкие нитки лестничных перил. Лестница ведет в купол. Там кружилась, наверное, голова. Вы стали говорить о самоубийстве, о том, как трудно решиться броситься оттуда вниз, что отравиться — легче: есть яд, быстро действующий. Потом ходили по диагонали. Солнце лучилось косо. Отчего Вам тогда хотелось сумрака, пугал Вас рассеянный свет из окон? Он портил собор, портил мысли, что же еще? — ...Потом мы сидели на дубовой скамье в противоположной от алта-

ря части, ближе к Почтамтской. А перед тем ходили *весь день*. Стало поздно, вышли, опять пошептались монашки. Пошли по Новому и Демидову переулкам, вышли на Сенную. Мне показалось ужасно близко. Вы показали трактир, где сидел Свидригайлов. Вышли к Обуховскому мосту, дошли до самой Палаты. Еще с моста смотрели закат, но Вам уже не хотелось остановиться. Это было в *последний раз*. Кто-то видел нас. Следующий раз был уже на Моховой, на углу Симеоновского переулка и набережной Фонтанки и на Невском около Глазунова, близ Казанского собора. Это уже лучше и не вспоминать и не напоминать. Это было 29 января, — а уж 7 февраля — полегче. Это было необыкновенно, кажется, очень важно, разумеется, для меня. Для Вас — мимо-летность. Но чтобы я когда-нибудь забыл что-нибудь из этого (и Р. Келер[29] и т. д. — подробности Вам знакомые) — для этого нужно что-нибудь совсем необыкновенное, притом того же порядка.

2 сентября[30]

Встретившиеся в сентябре на Фабричной

улице были: Богач и Лазарь. Тот, которого звали Богачом, имел тогда в глазах нечто связанное и бодрящее. Он был силен, высок и красив лицом.

Лазарь был оборван, пьян и унижен.

Оба смотрели прямо в глаза друг другу. Оба знали одно и то же в прошедшем, но разное — в будущем. Это и соединяло и делило их. Но пока они были заодно и вели богословский разговор о богородице. Лазарь выслушивал догматы — и не спорил, потому что был во всем согласен с Богачом. Это была лучшая минута в его жизни.

Моросил дождик. Качались облетающие деревца. И они, и Богач, и Лазарь, вместе ждали октябрьских сумерек и радовались быстро укорачивающимся дням.

Когда они разошлись, у Лазаря чуть слышно зашлепали мокрые опорки. Богач шел бодро и весело, звеня каблуками по тротуарным плитам, будя эхо в воротах каждого дома.

Лазарь думал об обещанных ему деньгах, а вокруг смотрел безразлично. Богач замечал прохожих и заставлял их сторониться. Некоторые взглядывали с удивлением в его смею-

щиеся глаза, читая в них мнимое самодовольство.

* * *

По улицам проходили разно одетые женщины. К сумеркам их лиц нельзя уже было отличить от богородичных ликов на городских церквах. Но опытный глаз, присмотревшись, чувствовал смутную разницу. Только в богородичный праздник по улицам проходила неизвестная тень, возбуждавшая удивление многих. Когда ее хотели выследить, ее уже не было. Однажды заметили, как она слилась с громадным стенным образом божьей матери главного городского собора. Но не все поверили этому. У тех, кто еще сомневался, было беспокойно на душе.

* * *

Для памяти

Большой револьвер военный стоил 26 рублей.

Купить маленький карманный (сколько?).

Запирать туда же, где тетради эти — и черновые стихи, и ее письма (2), и ее портреты — и прочее.

<13 сентября>

Сегодня в пятницу 13 сентября (канун двух праздников) я вел себя прескверно (как будто действительно скоро уж мне — капут (сарут; — умопомешательство; quem Deus vult perdere — prius dementat[31]). Однако был под окнами. Триптих столовой освещен и *слева* [32]одно. В ворагах — фигурки (это почти всегда). Сорвал объявление о пожаре в 32-м доме и артистки г-жи Читау на Гагаринской набережной. В 19-м давно уже надорвал. Но стоят городской, извощики, дворник. Идут люди. Да и швейцар не дремлет. Я ведь у него, вероятно, на подозрении. В другой раз. Прочерновил письмо от курсистки О. Л. К г-же Пантелеймоновской (на Гагаринской набережной, вблизи от зимних мостков).

Остальное, что делал — нехорошо-с. Но есть твердое основание. Здесь и там (например: Universitas Petropolitana[33] и Демидов переулок — см. мемуары). Все сие принять во внимание.

* * *

О самоубийстве курсистки О. Л.[34] ходили темные слухи. Говорили, что у нее был знако-

мый студент С, который изготовил для нее в колбочке какого-то ядовитого вещества. Этот студент якобы имел с нею соглашение давно уже — и все подстроил преартистически. Мать ее, женщина не совсем обыкновенная, превратилась быстро в совсем обыкновенную: затуманилась, перестала понимать выражения русского и других, до тех пор ей знакомых, языков и послала за доктором вместо священника. Доктор, разумеется, мог констатировать только случай отравления, впрочем, сомневался в составе яда и предложил вскрытие, за что был спущен с позором с лестницы ревушим и беснующимся отцом. Братья и сестры вели себя весьма различно, как и подобает в интеллигентном семействе. Кухарки, горничные и другие личности, по редкости, взятые не из публичных домов, вели себя, как подобает преданным слугам: причитали. Все вообще было как бы заранее подстроено — и предупредительное товарищество похоронных процессий (1-й разряд, конечно) дополнило впечатление искуснейшими и эффектнейшими подборками белого глазета, электрических лампочек, рессор у дрог

и т. п. Священнослужителю заплатили 1000 рублей за грех, взятый им на душу. Впрочем, он не замедлил очиститься святым причащением в ближайшую проскомидию. Похороны происходили на Смоленском кладбище в присутствии нескольких подруг и знакомых покойной — довольно, конечно, по-семейному. Приходил также на кладбище один замухрышка, но скоро ретировался, не желая беспокоить и без того опечаленное семейство. Он перекрестился у ворот (ибо был благочестив), отвесил поклоны храмам и показал в тот день свои заплатки на многих линиях Васильевского острова (день был сероват). Некоторые из подруг покойницы видели его мельком и тотчас пошептались. Им казалось, что он играл какую-то роль и был не простым соглядатаем. Семейство, щедро одаряя милостынькой кладбищенских побирушек, двинулось домой в каретах товарищества похоронных процессий. По правде говоря, оно было действительно обездолено, ибо дочка была очень любима и подавала какие-то надежды.

13 сентября

Наступило утро того самого дня, в который должно было случиться нечто особенное. Солнце пробилось из тумана и пока еще стояло красноватое, только что умывшееся. День должен был быть солнечный напролет, но короткий, потому что Петербург переживал октябрь месяц.

Дворник дома № по улице ...[35] всходя на лестницу заправлять три плохелькие лампы, недочелся предуведомления о пожаре, вывешенного по приказу полиции, а также объявления о переезде на другую квартиру доктора по душевным болезням, жившего когда-то в этом доме. Швейцар дома № по улице ..., со своей стороны, заметил, что объявление от этого самого врача, жившего теперь в этом доме, сорвано, причем на стекле подъезда остались кусочки бумаги. Так как дома были недалеко один от другого, весть разнеслась быстро, и явная связь событий навела на подозрения. Дали знать в полицию, начался розыск, который так, впрочем, и не привел ни к чему. Да и факты были уж очень безобидны, чтобы серьезно обращать на них внимание.

Потолковав, решили, что ночью шли бала-

гуры в нетрезвом состоянии и сдирали бумажки, которые им понравились.

Когда прошел день, наступили его сумерки (октябрьские сумерки), и многим нервным женщинам столицы стало жутко и боязно (от чего? уж верно, не без причины), — тогда на нескольких улицах одновременно видели человека с задумчивыми глазами, в потертом платье. Он ходил очень красивой, несколько деланной походкой — и обращал потому на себя внимание. Он не пропускал ни одного зеркала и ни одного сколько-нибудь отражающего стекла или магазинной витрины. Фатишка смотрелся всюду, оправлял пальто, видимо хотел нравиться проходящим дамам, но каждый раз печально покачивал головой и отходил, вздохнув. Костюм его, что ли, ему не нравился? Правда, он был потерт, зато воротнички безукоризненны. Ими-то все и искупалось.

Вечером сторож Смоленского кладбища открыл, только благодаря своей храбрости, отвратительнейшую штуку. Он поймал какого-то бродягу, занятого раскапыванием свежей могилы в 1-м разряде. По-видимому, обо-

рванец хотел поживиться и был пойман только случайно. Он успел уже докопаться до гроба и развинтить крышку. Тут-то сторож и накрыл его — и поднял такой неистовый крик, что скоро подоспели на помощь и потащили тщедушнейшую фигурку прочь. Тот что-то лепетал, выбивался, но, представ перед приставом, назвалсЯ Лазарем (в подлинности имени тотчас же усумнились); в остальном, однако, Лазарь заперся и ничего не сказал, несмотря на все угрозы. Все происшедшее в этот день, однако, не превысило обыкновенной скандальной хроники. Случай был непомерный и единственный, но, однако же, возможный, хотя и страшно редкий. Зато дальше началась такая метафизика, что мы принуждены распрощаться со скептическим читателем и идти далее, имея вокруг себя лишь тесный кружок правоверных.

16 сентября. Канун имянин

Это пока не продолжение, а другое.

Однажды шла по улице некто NN — торопливо шла. Сзади плелся бродяжка. Вдруг он подошел и сказал: «Здравствуйте», — оберну-

лась и сначала не поняла ничего. Потом узнала. Приняла письмо. Он сказал: «Надеюсь, все останется втайне». Она, удивленная, кивнула. Разошлись.

16 сентября

<Черновик непосланного письма к Л.Д. Менделеевой>

Прошу Вас прочесть это письмо до конца. Оно может быть интереснее, чем Вы думаете. Я, пишущий эти строки (он же — податель письма), не думаю говорить ничего обыкновенного. Потому не примите скандальную обстановку за простые уловки с моей стороны. Дело сложнее, чем кажется. Приступлю прямо к делу. Четыре года тому назад я встретил Вас в той обстановке, которая обыкновенно заставляет влюбляться. Этот последний факт не замедлил произойти тогда же. Умолчу об этом времени, потому что оно слишком отдаленно. Сказать можно не мало, однако — не стоит. Теперь положение вещей изменилось настолько, что я принужден уже тревожить Вас этим документом.

ком не из простой влюбленности, которую всегда можно скрывать, а из крайней необходимости. Дело в том, что я твердо уверен в существовании таинственной и малопостижимой связи между мной и Вами. Слишком долго и скучно было бы строить все перебранные уже мной гипотезы, тем более что все они, как и должно быть, бездоказательны. Потому я ограничиваюсь констатированием своего внутреннего убеждения, которое (продолжаю) приводит меня пока к решению, вероятно довольно туманному для Вас. Для некоторого пояснения предварительно замечу, что так называемая жизнь (среди людей) имеет для меня интерес только там, где она соприкасается с Вами (это, впрочем, чаще, чем Вы можете думать). Отсюда совершенно определенно вытекает то, что я стремлюсь давно уже как-нибудь приблизиться к Вам (быть хоть Вашим рабом, что ли, — простите за тривиальности, которые не без намеренья испещряют это письмо). Разумеется, это и дерзко и, в сущности, даже недостижимо (об этом еще будет

речь), однако меня оправдывает продолжительная и глубокая вера в Вас (как в земное воплощение пресловутой Пречистой Девы или Вечной Женственности, если Вам угодно знать). Другое оправдание (если нужно оправдываться) — все-таки хоть некоторая сдержанность (Вы, впрочем, знаете, что она иногда по мелочам нарушалась). Итак, веруя, я хочу сближений хоть на какой-нибудь почве. Однако при ближайшем рассмотрении сближение оказывается недостижимым прежде всего по той простой причине, что Вы слишком против него (я, конечно, не ропщу и не дерзну роптать), а далее — потому, что невозможно изобрести форму, подходящую под этот весьма, доложу Вам, сложный случай отношений. Я уже не говорю о трудностях, заключающихся во внешней жизненной обстановке, которые Вам хорошо известны. — Таким образом, все более теряя надежды, я и прихожу пока к решению.

<11 октября>

11 октября, post Lucem,

опять украл главное объявление.
В него оказалось вложено преж-
нее
старое, древнее, моей юности.
Так вложена душа моя
в могучее неисчерпанное дело
Отчаянья Последнего.

*Мать Света!
Мать Света!*

*Мать Света!
Я возвеличу Тебя.*

12 октября

Пересмотрите также после меня и мои книги. Они интересные, на некоторых надписи. Есть и хорошие книги. Попрошу также раздать некоторые, кому я впоследствии назначу — и надпишу. Список потечет в этих же листках (будущие страницы, вероятно только еще в книжке с золотой лирой покойной бабушки, если там не будет стихов).

* * *

Мережковским 12[36] стихотворений:

1. Станных и новых...
2. Мы встречались...

3. Золотистой долиной.
4. [Был вечер поздний...][37] Тебя скрывали туманы.
5. Под старость лет...
6. Благословляя спет...
7. [Явился он...] Верю в Солнце Завета.
8. Гадай и жди.
9. Мы преклонились...
10. Там в полусумраке...
11. Медленно в двери...
12. Передо мной — моя дорога. [Сбежал с горы...]

* * *

*Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте,
Л.Д.М. — своею кровью —
Начертал он на щите.*

31 октября. Перед ночью

Мне было бы страшно остаться с Вами. На всю жизнь — тем более. Я и так иногда боюсь и дрожу при Вас незримой. Могу или лишиться рассудка, или самой жизни. Это бывает больше по вечерам и по ночам. Неужели же Вы каким-нибудь образом не ощущаете это-

го? Не верю этому, скорее думаю наоборот. Иногда мне чувствуется близость полного и головокружительного полета. Это случается по вечерам и по ночам — на улице. Тогда мое внешнее спокойствие и доблесть не имеют границ, настойчивость и упорство — тоже. Так уже давно, и все больше дрожу, дрогну. Где же кризис — близко или еще долго взбираться? Но остаться с Вами, с Вами, с Вами...

Лучшее стихотворение Владимира Васильевича Лапина (I)

Precatio

*Dum genitores erant, potui illos
semper adire
Omnibus in rebus, morbis in
gravibus.*

*Nuns, ubi, mi pater, estis, ubi, mater
mea rara?
Te Patrem Dominum, Te Matremque
rogo.*

*Bello perpetuo trio me contrario
vexant:
Cor leve, duraque mens, corpusque
impatiens, —*

*O, Deus, in te sit Tecum concordio
mentis
Spiritu sit cum corpore concilium.
[38]*

* * *

7 ноября 1902 года.

*Город Петербург.
Курсовой вечер в Дворянском со-
брании.
Маловавернии бога узрят.
Матерь Света! Я возвеличу Тебя!*

Поэт Александр Блок

<7–8 ноября>

Сегодня 7 ноября 1902 года совершилось то, чего никогда еще не было, чего я ждал четыре года.

Кончаю как эту тетрадь, так и тетрадь моих стихов сего 7 ноября (в ночь с 7-го на 8-е).

Прикладываю билет, письмо, написанное перед вечером, и заканчиваю сегодня ночью обе тетради.

Сегодня — четверг.

Суббота — 2 часа дня — Казанский собор.

Я — первый в забавном русском слоге о

добродетелях Фелицы возгласил.

Город Петербург

7-8 ноября 1902

Ал. Блок.

Приложение <Заметка о Мережковском>

13 декабря 1902

Вот, может быть, самое основное и главное по существу возражение на теорию Мережковского.

Теория в основании безукоризненна (оставляя, может быть, частности). Но — это констатированье мирового процесса, который во всей своей разоблаченности и представляет титаническую скуку до своего разрешения. Констатированье без разрешения. Скука потенциального (а не свершившегося) конца всемирной *истории*. Скука — потому что это *не* конец *мира*, а только исторического процесса. Усталый взгляд назад, конспект углубленного разделения (не мир, но меч). Обетование без провиденья. Нет сил для пророчества, стремления же сверхнауки, сверхискусства и т. д. — до сверхжизни. Таким образом — констатированье собственной внут-

ренней трагедии, субъективное, лирика между двух стульев. Болезнь при прикосновении к прошедшему, слишком здоровое прикосновение к будущему. Жизненная драма человека (ангелы, не забывшие своего начальства, но оставившие свое жилище) и общественно-го деятеля (полу пробужденность вселенского сознания). Неудача в жизни (приходится стоять на сквознике), в творчестве (поздно, не то мало — не то много), в религии («Скорей, скорей! Зина, скоро ли? — (через несколько лет:) ...Еще долго. У меня в моем новой романе — вечное углубление, вечное раздвоение... Хоть бы кто-нибудь плюнул в мою сторону... У меня великая грусть... Попы, „Ипполит“, журнал... все равно. Зина, ты так кричишь, что через все двери слышно!»). Нет и не будет последнего вопля, все вопли — предпоследние. Договорил все, пришло время кричать — простудился, нет голоса. Поехал лечиться к Симановскому — вернулся, испугавшись мороза.

Внезапно в доме № 24 по Литейной сверху донизу во всех этажах раздадутся звонки. На пустой лестнице застучат — не шаги, не беготня, не вздохи. Ни старые, ни молодые ни-

чего не поймут. Все будут смотреть в темноту. Он поймет. Он услышит и не взглянет. Но медленно, удрученный тяжелой мозговой ленью, пройдет в загроможденный кабинет к ленивому ужасу бесконечных томов и бумаг, ляжет на жесткий диван; бедный, скромный, больной, измученный, истоптанный, заброшенный. И... уже нельзя будет даже сойти с ума. А как нужно, как своевременно, как жалко.

Р. С. Доказательство «скуки» на примере: встречаются термины: 1) язычество и христианство, 2) центробежный и центростремительный. — По духу теории (явно без объяснения) — они требуют перекрещиванья. И, без сомнения, язычество центробежно, христианство — центростремительно. Как будто намек на «что-то». Мигающий фонарь. На самом деле (в этом случае) — только узел религии с физикой. Таких узлов бесконечно много (всех не перечислил, конечно, и сам Мережковский, да и нет нужды — дана руководящая нить). Узлы настоящего, а не будущего. Будущее совершеннее узловатого. Зная это, он дает *рассудочный* выход, говорит: «Ей, гряди гос-

поди», как будто: «Зина, нет ли молока?» Фонарик мигнул и потух — до следующего мигания. Рот хохочет, глаза молчат (и так всегда). Скука миганий. Нам он примигался. Мы «привыкли» — ужасное, для него, уж, наверное, невыносимое, слово. Привыкли к его миру, а он пережил, забыл и отстал от наших содроганий. Болотце обходимее и безопаснее наших трясин.

Дневник 1911 года

17 октября
Писать дневник, или по крайней мере делать от времени до времени заметки о самом существенном, надо всем нам. Весьма вероятно, что наше время — великое и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки.

Я начинаю эту запись, стесняясь от своего суконного языка перед самим собою, усталый от нескольких дней (или недель), проведенных в большом напряжении и *восторге*, но отдохнувший от тяжелого и ненужного последних лет.

Мне скоро 31 год. Я много пережил лично и был участником нескольких, быстро сменявшихся друг друга, эпох русской жизни. Многого никуда не вписано, и много драгоценного безвозвратно потеряно.

В начале сентября мы воротились: Люба — из Парижа, я — оттуда же, проехав Бельгию и Голландию и поживя в Берлине. Мама поселилась здесь, у них уютно и тихо.

Как из итальянской поездки (1909) вынесено искусство, так и из этой — о жизни: тягостное, пестрое, много несвязного.

Женя, как и летом, непонятен мне, но дорог и любим. В последний раз, когда он приходил, мне было с ним чрезвычайно хорошо. Мама близка с Марией Павловной, — сны Марии Павловны, припадки.

Пяст живет, сцеля зубы, злится и ждет лучшего. Он поселился в непрактической квартире с сильно беременной женой, каждый день на службе, послал рассказ (больница, Врубель?) в «Русскую мысль» (через Ремизова), перевел Тирсо ди Молину (как я «Прама-терь» — много никуда не годного, чего, как и я тогда (*БЯ* — Бенуа!), не видит). Стихов не

пишет. «Западник». Мы еще не видались как следует.

Городецкий — затихший, милый. Его статья обо мне, несказанно тронувшая (Люба приносит ее, когда я лежу в кровати утром в смертельном ужасе и больной от «пьянства» накануне). Его комедия — свидания с Савиной, аудиенция у чиновника Теляковского. Его жена поет. Никитин (сейчас он в Воронеже открывает памятник). Все только факты, почти голые, осветится понемногу потом, если писать почаще.

Клюев — большое событие в моей осенней жизни. Особаченный Мережковскими, изуренный приставаьем Санжарь, пьяными наглыми московскими мордами «народа» (в Шахматове было, по обыкновению, под конец невыносимо — лучше забыть, забыть), спутанный, — я жду мужика, мастеровщину, П. Карпова — темномордое. Входит — без лица, без голоса — не то старик, не то средних лет (а ему — 23?). Сначала тяжело, нудно, я сбит с толку, говорю лишнее, часами трещит мой голос, устаю, он строго испытует или молчит. Обед. Муж Тани пришел пьяный, тихо коло-

тит ее за дверь, она ревет, девочка в жару (жаба) бежит в комнаты, Люба тащит ее на руках назад, мы выбегаем унять мужа, уже уходящего по лестнице. Минута — и входит Кузьмин-Караваев — полусумасшедший, между бровями что-то делается, говорит еще дико. Их перебрасыванье словами с Ключевым («господин, ищущий власти», — а *не имущий власть* — «царь всегда на языке, готов»). Только в следующий раз Ключев один, часы нудно, я измучен, — и вдруг бесконечный отдых, его нежность, его «благословение», рассказы о том, что меня поют в Олонецкой губернии, и как (понимаю я) из «Нечаянной Радости» те, благословляющие меня, сами не принимают ничего полу сказанного, ничего грешного. Я-то не имел права (веры) сказать, что сказал (в «Нечаянной Радости»), а они позволили мне: говори. И так ясно и просто в первый раз в жизни — что такое жизнь Л. Д. Семенова и даже — А. М. Добролюбова. Первый — Рязанская губ., 15 верст от имения родных, в семье, крестьянские работы, никто не спросит ни о чем и не дразнит (хлысты, но он — не). «Есть люди», которые должны из-

брать этот «древний путь», — «иначе не могут». Но это — не лучшее, деньги, жите — ничего, лучше оставаться в мире, больше «влияния» (если станешь в мире «таким»). «И одежду вашу люблю, и голос ваш люблю». — Тут многое не записано, запомнено, я был все-таки рассеян, но хоть кое-что. Уходя: «Когда вспомните обо мне (не внешне), — значит, я о вас думаю».

Кузьмин-Караваев вчера был второй раз уже без «2001 года» — всегда большой (огромный?). Об Александре П. То, что не надо записывать, — очень мне непонятное и чего я все равно не забуду.

Аля Мазурова — тяжелый разговор по поводу рисунков Гарри, письма (мое и ее), ее тяжесть, многое о ней и ее семье следовало бы записать.

Ф. Смородский — письмо и пришел. Бесконечно несчастный, ни с чем в жизни не связан, нищий, больной. Холодное пальтишко, гордые усы. Живи, милый, живи, пусть пронесет тебя бог как мимо всего в жизни, так мимо этого мальчика, наименее болезненно, а там — все простится. Чистый, несмотря на

все.

Слухов, сплетен о людях, которых сам не видал еще, не пишу — устал сегодня.

Литераторы. Аничков опротивел, прости меня господи. Завален делом,[39] ничего не понимает, высокомерные в тысячный раз анекдоты о Брандесе, «свои лошади», хочется породниться с бомондом, супруга школит, он загребает тысячи, смесь гусарского корнета с Максимом Ковалевским (!).

Вячеслав Иванов.[40]Если хочешь сохранить его, — окончательно подальше от него. Простриг бороду, и на подбородке невыразимо ужасная линия П, глубоко врезалась. Внутри воет Гёте, «классицизм» (будь, будь спокойнее). Язвит, колет, шипит, бьет хвостом, заигрывает — большое, но меньше, чем должно (могло бы) быть. Дочь-худа, бледна, измучена, печальна.

Происходит окончательное разложение литературной среды в Петербурге. Уже смердит.

Будущее покажет, что о ком еще записать.

Стадия поэмы (семидесятые годы, о двух полюсах в искусстве, семейное, Чацкий, Де-

мон).

Надо, побеждая восторги (частые) и усталость (редкую — я здоров), писать задумчиво. *Это* написать (что я задумал) — надо. «Помогай бог». Но — *minimum* литературных дружб: там отравишься и заболеешь.

Боря, молчание (?) «Мусагета», Боря с женой на даче, моя смутность, «хроники Мусагета».

Чулков — жалкость, пакостничество в минимальных дозах, варьетэ, *акробатка* — кровь гуляет. Много еще женщин, вина, Петербург — самый страшный, зовущий и молодящий кровь — из европейских городов.

Сегодня: без людей. Солнце, мороз, красиво, гулял днем, вечером изныл от усталости — вино и утра без сна сказались.

Заячьи цветочки.

Сейчас уже ночь, мы собираемся спать, а я только сейчас случайно вспомнил, что такое -17 октября. Днем я вспоминал еще о *sainte catastrophe*. [41] Но 17 октября есть тот день (и это я помнил), когда мы встретились на улице и были в Казанском соборе.

19 октября

Злиться я не имею права, потому что слышал кое-что от Ключева, потому что обеспечен деньгами и могу не льстить и потому, что сам несколько не лучше тех, о ком пишу.

И, однако, читая чиновную и антикромольную книгу Татищева об Александре II, смотря на погоду из окна, вспоминая «аполлоновские» впечатления (суббота) и вчерашнюю маршировку лицеистов в Петропавловский собор — все это вместе, — думаю:

Кроме «бюрократии», «как таковой», есть «бюрократия общественная». Вот, например, — вчерашнее открытие «Французского института»: присутствуют Аничков, Иван-Странник, Философов, Милюков, М. Ковалевский, Кассо. Телеграмма Коковцова. Все — одна бурда. М. Ковалевский, катающийся по кабакам с дядюшкой моим, директором Горного департамента. Евг. Аничков — «представитель от искусства», никогда не воспринявший ни одного художественного образа, слабый, пьяный, гусар по природе, наштигованный озлобленной, стареющей и больной Анной Митрофановной, она же — Иван-Странник.

Философов, которого тошнит от презрения: он открывает институт, он сочувствует ученику гимназии, застрелившемуся от несправедливости учителя, он ходит по деревне в гетрах и с Пулькой на аркане, он делает выговоры Волконскому, который по крайней мере хоть что-нибудь любит искренно. Милюков, который только что лез вперед со свечкой на панихиде по Столыпину (в день открытия Думы). Кому и чему здесь верить? Разве «прекрасному французскому языку» Кассо? Все — круговая порука, одна путаница, в которой сам черт ногу сломит. И потому — у кого смеет повернуться язык, чтобы сказать хулу на Гесю или подобную ей несчастную жидовку, которая, сидя в грязной комнате на чердаке, смотря на погоду из окна... идет на набережную Екатерининского канала бросать бомбу в блестящего, отчаявшегося, изнуренного царствованием, большого и страстного человека?

На островах — сумерки, розовый дым облаков, слякоть, и в глине зеленые листья смешались с глиной. Ветер оmyвает щеки. На Большом проспекте бредет Столпнер, — поговорили о будущих религиозно-философских

собраниях, об «Алексах» Мережковского.

Вечером, вместо того чтобы идти «делать карьеру» у Дризена (первая среда), я пошел к Ивановым. Имянины Клипы, гостей человек тридцать.

Вера очень милая, она влюблена. Говорил с Люшей. Отец — важный, купеческий голос, педагогическая тяжесть, не знаю — добрый ли. Мать не разобрал, но со стороны той группы, где она сидела, в «молодую компанию» смотрели злые глаза. Женя прекрасен, без ума, ест и пьет и из пушки стреляет, милый.

Александр Павлович, усталый, жалуется слегка на Вяч. Иванова.

Петр Павлович с молодой женой, которая не то стесняется, не то гордится, а скорее — то и другое вместе.

С Марией Павловной перекидывался изредка взглядами. Прощался вечером у двери, она изнемогала от усталости. «Думаю о смерти, и кажется, что не шуточная болезнь». Лица нет — бледное, на нем — огромные ее глаза. Я сказал какое-то пошлое общее место (в ответ на «смерть») и хотел прибавить, что глаза молодые. Вдруг — смотрю, в глазах ка-

кое-то сверхъестественное мучение, и они покрываются туманом. Скоро она отошла от двери, чтобы не надуло.

Мария Петровна смотрит из-под своих седых волос спокойными, внимательными и строгими очками. В Клипе сквозит старуха, когда она озабочена по хозяйству, — бедная.

Душно, жарко, много боли и вражды вокруг, — а очарование их всех бесконечно.

Да, Женя может быть хорошим семьянином, ему, по моему слабому и неотчетливому и отвлеченному разумению, можно жениться. Он из семейной жизни может создать прекрасное. В этой нежной и чистой девушке есть и цвет и плод.

20 октября

Читать надо не слишком много и, главное, творчески. Когда дело идет о «чтении для работы» (т. е. попадается много добросовестного и бездарного), то надо напрягать силы, чтобы вырвать у беззубого автора членораздельное слово, которое найдется у *всякого*, от избытка ли его куриных чувств или от того, что сам материал его говорит за себя. Ко всякому ав-

тору надо относиться внимательно, — и тогда можно выудить жемчужину из моря его слов (даже написанных на «междуведомственном» языке или на языке Овсяниковых-Куликовских — последнее горше, хуже). Недостаток же современной талантливости, как много раз говорилось, *короткость*, отсутствие *longue haleine*[42] (говорил... Маковский); полусознал, полупочувствовал, пробарабанил — и с плеч долой. При этом надо читать «для работы» с мыслью и планом, ранее готовыми, и все время проверять себя — не рушатся ли планы под тяжестью накапливаемых фактов и обобщений. Если нет, — хвала им, и пусть воплощаются и принимают каменные формы.

* * *

Перед вечером пришел Пяст. Третьего дня у него родился второй сын — Виктор (в клинике Отта).

Долго говорил я ему о создавшемся положении с Вяч. Ивановым и... с Аничковым. Потом мы втроем (с Любой) пошли к Городецким. Люба в новой лиловой бархатной шубке. Безалаберный и милый вечер.

Кузьмины-Караваевы, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует. Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже.

Анна Алексеевна тоже «старается исправиться» — трогательное и чистое чувство заставляет этих милых женщин вступать в новую эру.

Молодежь. Анна Ахматова. Разговор с Н. С. Гумилевым и его хорошие стихи о том, как сердце стало китайской куклой.

Пришли *messieurs les professeurs*[43] Бойе и Rfiаu — с вырезными жилетами, любезные, но никто не сумел с ними обратиться по-европейски — и «западники», как «славянофилы».

Городецкий рассказывает, как смешно и трагично открывали памятник Никитину в Воронеже (он только что оттуда; приехал заплаканный, всю ночь плакал в вагоне). Потом — Кузьмин-Караваев говорил речи французам (уже ушедшим) и ответные за французов. Было весело и просто. С молодыми добре-

ешь.

21 октября

Тихий день. Встали поздно. Обедал и вечером был у мамы, куда пришел Женя. Письмо от Бори, корректура из «Аполлона» — стихов.

22 октября

Днем читал воспоминания Л. Ф. Пантелеева. Вечер...

23 октября

Почитывал Туна. Вечером заходил к маме: редакционное собрание «Тропинки» — деловое, славное. Какие-то передовые дамы-писательницы и приват-доценты. Из знакомых (кроме Поликсены Сергеевны и Манасеиной) — Женя, Ростовцев, Беляевский, Евгения Георгиевна, Ольга Форш (с фальшивой сказкой), В. В. Успенский — сладкий. Я вставлял неважные замечания.

Все эти вечера читаю «Александра I» (Мережковского). Писатель, который никого никогда не любил по-человечески, — а волнует. Брезгливый, рассудочный, недобрый, подо-

зрительный даже к историческим лицам, сам себя повторяет, а тревожит. Скучает безумно, так же, как и его Александр I в кабинете, — а красота местами неслыханная. Вкус утончился до последней степени: то позволяет себе явную безвкусицу, дурную аллегория, то выбирает до беспощадности, оставляя себе на любованье от женщины — вздох, от декабриста — эполет, от Александра — ямочку на подбородке, — и довольно. Много сырого материала, местами не отличается от статей и фельетонов.

25 октября

Вчера цинга моя разболелась мучительно. Был шторм и дождь, после обеда мы с маленькой Любой стали играть в шашки на большом диване. Приходит А. В. Гипшиус, приехавший из Ковны. Много болтовни, милого, о семье (там тяжело), нежного, воспоминательного, тонкого. Матовые разговоры. Тяжелое о молодости Добролюбова, бюрократические анекдоты. — Ночью в окна и на мокрые крыши светила луна — холодная и ветряная. Около 3-х часов ночи он ушел. Все одно — холод-

ная луна и Александр I: все это так, так — до возвращения 80-го и 905-го года. Медленно идет жизнь.

Письма от Брюсова и Панченки (вчера).

Сегодня я весь день дома. Люба днем ездила к бедным детям на Васильевский остров, свезла 25 руб. и тряпок. Вечером пошла к своим родным. Я читаю трогательную записку Савенковой и интересные воспоминания князя Мещерского.

Десны болят, зубы шатаются.

Разумеется, в конце такого дня — мучительный вихрь мыслей, сомнений во всем и в себе, в своих силах, наплывающие образы из невоплощающейся поэмы. Если бы уметь помолиться о форме. Там опять светит проклятая луна, и, только откроешь форточку, ветер врывается.

Отчаянья пока нет. Только бы сегодня спать получше, а сейчас — забыть все (и мнительность), чтобы стало тихо. Люба вернется и зайдет ко мне — огладить.

Люба вернулась. Ужасна полная луна — под ней мир становится голым, уродливым трупом.

26 октября

Сегодня зубам легче. Весь солнечный день провел в Александровском рынке, накупил книг на 20 руб. Веселый город, пьяный извозчик, все бы кончилось обычным восторгом, если бы после обеда не пришли — сначала Женя, потом Пяст, потом А. П. Иванов.

С Пястом о «политике» — о «славянофильстве и западничестве» — какой-то постоянно возникающий и невытанцовывающийся разговор, от которого маленькая Люба хочет спать, говорит, что он похож на игру в шахматы. — Мама беспокоилась обо мне, спрашивала по телефону.

Испуг Любы, когда вошел неожиданно Александр Павлович (дверь была не закрыта). С ним — о Вяч. Иванове и близком к искусству. Всегда — пока — во всех наших разговорах есть общее, они сходны.

Третий час (опять!), и я записываю все торопливо — пора спать, закутать маленькую Любу.

НЯ. Прилагаемый фельетон (полученный сегодня) и слова Бори о «грядущей борьбе

рас» в письме на днях.

Я опять не пошел к Дризену...

29 октября

Вчера и третьего дня — дни рассеяния собственных сил (единственный настоящий вред пьянства). После приключений третьего дня я расслаблен, гуляю (Новая Деревня — портрет цыганского семейства — покосившийся деревянный домик: бюро похоронных процессий), ванна. Обедает А. В. Гиппиус. Вечером — с ним и с Пястом в цирке (факиры), оттуда возвращаемся втроем пить чай сюда.

Сегодня газеты полны волнения. *Рост китайской революции* — там приходит конец не только манчжурской династии, но и абсолютизму («Два изречения сбылись — пролог разыгран, и драма царская растет» — «Макбет»).

Коковцов мягко стелет — его объяснения о Финляндии (необходимость воплотить столыпинский законопроект об увеличении денежной военной повинности в Финляндии, заменяющей «еще опасную пока для России» натуральную).

Чуковский вопит о «народе и интеллигенции».

В Москве Матисс, «сопровожаемый символистами», самодовольно и развязно одобряет русскую иконопись, — «французик из Бордо».

Внезапно, как всегда у «Мусагета», получил «Ночные часы» (пять экземпляров) и три листа корректуры II тома.

Обедали у мамы.

Вечером «Академия» — доклад Пяста, его старая статья о «каноне», многоглаголанье Вяч. Иванова усыпило меня вовсе. Вечером пьем чай в «Квисисане» — Пяст, я и Мандельштам (вечный).

Письмо Н. Н. Скворцовой о *красоте*.

30 октября

День дождливый, гимназисты от Панченки зовут на концерт.

Пишу большое письмо Боре.

После обеда пришла Александра Павловна Верховская, которая послезавтра едет в Тифлис. Очаровательная, старинная, нежная красота, женственность, материнство, тон-

кий, легкий ум в каждом слове и нежное лукавство.

Пишу Боре и думаю: мы ругали «психологию» оттого, что переживали «бесхарактерную» эпоху, как сказал вчера в Академии Вяч. Иванов. Эпоха прошла, и, следовательно, нам опять нужна вся душа, все житейское, весь человек. Нельзя любить цыганские сны, ими можно только стогать. Безумно люблю жизнь, с каждым днем больше, все житейское, простое и сложное, и бескрылое и цыганское.

Возвратимся к психологии.

* * *

Вечером напали страхи. Ночью проснулся, пишу, — слава богу, тихо, умиротворюсь, помолюсь. Мама говорит, что уже постоянно молится громко и что нет никакого спасения, кроме молитвы.

* * *

Назад к душе, не только к «человеку», но и ко «всему человеку» — с духом, душой и телом, с житейским — трижды так.

31 октября

Сегодня был в банке — день ясный, но душу портишь одним прикосновением к деньгам. А думаю все-таки, что я имею некоторое право на эти деньги и даже имею право подумать об умножении их, потому что живу напряженно, забываю не все обязанности. Будущее еще покажет.

К обеду пришла несчастная, бесплодная Адда Корвин, а вечером — воплощающаяся и улучшающаяся с каждым разом Аля Мазурова. Гарри в Мюнхене, здесь — борьба с отцом, которого она считает дурным человеком. Он ничего не понимает, ей некогда его понимать, все так естественно. Но все ее, уже подлинное, мучение, вся обстановка (некончившаяся семья и неначавшаяся жизнь с Гарри) — все углубляет, расширяет и освящает любовь. Это видно по глазам, по манерам, по большей чуткости и большей ясности, по словам. Когда-нибудь она вспомнит с благодарностью (за борьбу и непонимание, под которыми прячется нежность) теперь естественно ненавистную родительскую обстановку.

Ночью — тяжелый разговор с Любой. Все о том же. Кончился легче.

2 ноября

После вчерашнего вечера (днем 1-го был у мамы) спал без просыпу и весь день хотел спать. Утром был Городецкий, вечером Люба в концерте (Кусевицкого), а я в кинематографе на Среднем проспекте («Четыре чорта» — переделка Банга). Хорошее письмо от Бори. Опять я теряю рабочее возбуждение и напряженность, безделье опять одолевает.

3 ноября

В «Утре России» под заглавием «В поисках смерти» нелепое известие о Сереже Соловьеве. Книжки и ответ Кожебаткина. Днем — няня Соня и разговоры о ее муже и о ректорском доме. Чтение всякой дряни об Александрах II и III. Вечером — Ваня с его озлобленным оптимизмом. Бутылка рислингу.

4 ноября

«Ночные часы» — 95 экземпляров. — Небо: утром ливень и мрак, к 3-м часам — разорванные тучи и красные перья, ветер поднимается, звезды видны. Я еду на именины к Фидле-

ру.

Уютная квартира, вся увешанная портретами — одна комната, карикатурами — другая. Я один из первых приезжаю. Народ прибывает непрестанно, и к полуночи уже некуда яблоку упасть.

Анна Городецкая.

Ясинский, Андреев (Леонид), Венгеров, Дымов, Измайлов, Копельман, Гржебин, В. Г. Чирикова, Маныч, Эльснер (киевский издатель), Потемкин (прилипчивый), Лазаревский (Б.), Ремизов, Б. С. Мосолов, два Василевских, Д. С. Здобнов — все эти и многие другие оставили след на моей душе. Но она была великолепно защищена и спокойно, деятельно напряжена; все, что было глубоких влияний, я встречал щитом души.

Анна Городецкая. Анна Городецкая.

Тихая ночь, я вернулся прямо домой, уйдя незаметно.

Анна Городецкая.

6 ноября. Ночь

Опять два безумных дня. 5-го вечером — после ужасного разговора с мамой[44] (Утром

был Городецкий, принес три ветки мимозы от себя. Днем была Ангелина — она думает о высших курсах, родные уже распадаются, уже откровенно злобствуют на ее «безжизненность» и пр.; мать «будет против курсов») сразу напился в «Тироле» на Офицерской...

Сегодня утром (т. е. уже в 1-м часу!) приходит Пяст. Мы с ним гуляем в Ботаническом саду (мимо казарм, воспоминанья), он провел ночь в варьетэ (полька, о ней). Он уже переехал к матери.

Вечером он приходит опять, и мы говорим о стихах (а не о политике, как всегда в последнее время). «Ограда», «автобиография». Сегодня он дал мне и поэму в ножах, но вырвал оттуда известные мне, подлежащие переделке места (о Г.)... Если писать статью, то уже не об одной З. Н. Гипшиус, но в связи с ним: «Запечатанная поэзия» (Эдгар По — подземное течение в России).

Нас застал за чтением (Люба в «Мещанине в дворянстве») Кузьмин-Караваев. Он прочел за чаем вслух последний рассказ Садовского (о Петре, очень сильно).

«Пушкин, Достоевский, Мережковский —

закапывают Петра. Ключевский и Садовской — первый еще бессознательно — его откапывают: лицо, а не демона. Но и не совсем так, ибо Петр — и жертва, и демон (как Чацкий). Пьяный Петр, заставляя заспанного восьмилетнего сына рубить голову стрелочку зазубренным топором, действует и как стоящая выше окружающего или владеющая демоническая сила, и как жертвенное лицо, принесшее „службу“ (он еще Москва; „окно“, в которое он высунулся, — там воздух отравленный, воздух белых ночей, — а не в нем самом отравлен) свою, всего себя — для будущей русской цивилизации».

В кавычках — мысли Кузьмина-Караваева, мной воспринятые, взаимное согласие.

Об Александрах I и II. Но много говорили о водке, чуть не уехали в кабак, меня что-то удержало... Отдохнуть.

Раздаю и рассылаю «Ночные часы». В первый день у Митюрникова раскупили все, что было, — 18 экземпляров.

От Бори — нервные письма, Нина Ивановна Петровская «умирает». Сережа — что с ним. Сестра Бориной жены (Наталья Алексе-

евна) родила девочку.

Боря негодует на эксплуатацию его труда, на наших «жуликов» (Чулков), которые его выперли из всех журналов... Кстати — на днях в газетах — уже! — «у всех газетчиков» — «Новая Россия» — 5 коп., первый рассказ — Георгия Чулкова «Акробатка». Скоро!

7 ноября

Печальный день и прекрасный вечер. Днем проходил по Летнему саду, где вычищены статуи, белеют под морозящим дождем.

После обеда мы с Любой поехали к Ремизову, — он сидит больной, а Серафима Павловна в «Хованщине». Вдруг являются — Гржебин, вслед за ним Бенуа, Толстой и Л. Андреев и весь «Шиповник», Копельман и дамы. До 12-ти сидели, Андреев болтал, — он внешний человек, занят собой, своей растительно- благополучной жизнью и своими кошмарами, ни с чем не связан, а теперь — приглядывается к людям, но неудачно, и все из своей бархатной куртки. Он неглубок и неумен, но не плох.

У Алексея Михайловича, который показывал и аттестовал все свое зверье, иконы, кни-

ги, болит и живот и рука. Он тих и нежен.

В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу. Там уже — собрание большое. Городецкие (с Вышнеградской), — Анна Алексеевна волнуется, — Кузмин (читал хорошие стихи, вечером пел из «Хованщины» с Каратыгиным — хороший какой-то стал, прозрачный, кристальный), Кузьмины-Караваевы (Елизавета Юрьевна читала стихи, черноморское побережье, свой «Понт»), Чапыгин, А. Ахматова (читала стихи, уже волную меня; стихи чем дальше, тем лучше), Сюннерберг, m-r Rfiaw, Аничков. Вячеслав читал замечательную сказку «Солнце в перстне».

В кабинете висит открытый теперь портрет Лидии Дмитриевны — работы М. В. Сабашниковой: не по-женски прекрасно.

Все было красиво, хорошо, гармонично.

Ночью получил (вернувшись) первый том (посмертный) Толстого.

8 ноября

Днем встал поздно (Люба спала), пошел к маме (там Аля Мазурова). У мамы «душа не принимает» еды.

Вечером — опять отчаянное вдохновение: восторг, граничащий с измученностью. Поехал в Озерки. «Хорошо усталый» (Любино выражение об А. В. Гиппиусе) еврей в вагоне. Возвращаюсь, а Женя идет с лестницы (он завтра «тайно» видится с братом Петром, а вечером читает доклад в заседании совета Религиозно- философского общества). Вернулись, он говорил о «Ночных часах» (главным образом «Песнь Ада»). Рассказывал о дикириях и трикириях: в правой руке — трикирий — спокойно горят три свечи, в левой — дикирий — раздвоение, беспокойство (так и образа на иконостасе). По двум сторонам епископа — диаконы; когда он поворачивается лицом (благословлять народ), то и дьяконы меняют места (за спиной его переходят). После схождения Христа на землю в руке епископа остается — в правой дикирий, в левой — крест (спокойствие трикирия пропадает, остаются только два лица — божеское и человеческое, или Отец и Сын).

Воздух эти дни, как вода: безмолвное дно морское — город. Что-то творится в нем. Безумие, безумие и восторг. Но я сегодня спокойно

лягу спать. Сберегу...

* * *

Два письма от Ясинского, в одном послышалась мне неприятная нотка, никому не скажу, в чем дело. Книга от Ясинского — «Под плащом Сатаны», с трогательной надписью.

От Н. Н. Скворцовой — благодарит за «Ночные часы», — записка раздушена, промочена духами, так что чернила размазаны. Духи напоминают мою теперешнюю «La vierge folle» (Gabilla).

9 ноября

«Встал рано утром». — На днях я видел сон: собрание людей, комната, мне дают большое красивое покрывало, и я, крылатый демон, начинаю вычерчивать круги по полу, учась летать. В груди восторг, я останавливаюсь от вырезываний по полу (движения скэтинга), Женя спрашивает, куда мы полетим, и я, «простря руку», показываю в окно: туда. Это не смешно.

10 ноября

Вчера днем — корректура, короткий и тре-

возный сон. Вечером я собираюсь к Дризену — приходит Ганс Гюнтер с похвалами «Ночным часам», со своими какими-то нерусскими понятиями. Несколько слов, выражений лица — и меня начинает бить злоба. Никогда не испытал ничего подобного. Большого ужаса, чем в этом лице, я, кажется, не видал. Я его почти выгнал, трясаясь от не знаю какого отвращения и брезгливости. Может быть, это грех.

Но ночам теперь нет конца: октябрь, — весь мир *наш* полон ночью...

У Дризена — читает Волконский. Что-то сухое и выжатое в его нарочитой сочности, и нарочито дворянский и чистый язык его — просто хороший средний язык, мало краски, жизни. О мировоззрении таких аристократов, которое иметь очень ответственно. Не любя демократии, ненавидя всякий американизм, ведь они не поймут и той тайной, запрятанной глубоко культуры, которая есть в По, Гиппиус, Пясте, Пушкине... *Это* «американское» проявится, когда на нас пойдет великий Китай...

Народу у Дризена мало — Бенуа, А. П. Ива-

нов, Дарений, А. Каменский (!?), Мусина, Аничковы, актеры и актрисы, певицы какие-то, (Пресняков), Андреевский (вечный здесь)...

Ночь глухая, около 12-ти я вышел. Ресторан и вино. Против меня жрет Аполлонский. Лихач. Варьетэ. Акробатка выходит, я умоляю ее ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Тот ли лихач — первый, или уже второй, — не знаю, ни разу не видал лица, все голоса из ночи. Она закрывает рот рукой — всю ночь. Я рву ее кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — какая-то сила и тайна. Часы с нею — мучительно, бесплодно. Я отвожу ее назад. Что-то священное, точно дочь, ребенок. Она скрывается в переулке — известном и неизвестном, глухая ночь, я расплачиваюсь с лихачом. Холодно, резко, все рукава Невы полные, всюду ночь, как в 6 часов вечера, так в 6 часов утра, когда я возвращаюсь домой.

Сегодняшний день пропаций, разумеется. Прогулка, ванна, в груди что-то болит, стонать хочется оттого, что эта вечная ночь хранит и удесятряет одно и то же чувство — до

безумия. Почти хочется плакать.

Мама обедает, хороший разговор с ней после обеда. Провожая ее до трамвая. Опять ночь — искры трамвая. Вечер, утро — это концы и начала.

В нашем ноябре нет начал и концов — все одно растущее, мятежное, пронизывающее, как иглами, влюбленностью, безумием, стонами, восторгом.

Эту женщину я, вероятно, не увижу больше, и не надо видеть, ни мне, ни ей неприятно, она «обесплочивает» мои страсти, бросает их в небеса своими саксонскими глазами. Она совсем не такова, какой я ее видел в первый раз.

Жить на свете и страшно и прекрасно. Если бы сегодня — спокойно уснуть.

* * *

Неведомо от чего отдыхая, в тебе поет едва слышно кровь, как розовые струи большой реки перед восходом солнца. Я вижу, как переливается кровь мерно, спокойно и весело под кожей твоих щек и в упругих мускулах твоих обнаженных рук. И во мне кровь молодеет ответно, так что наши пальцы тянутся

друг к другу и с неизъяснимой нежностью сплетаются помимо нашей воли. Им трудно еще встретиться, потому что мне кажется, что ты сидишь на высокой лестнице, прислоненной к белой стене дома, и у тебя наверху уже светло, а я внизу, у самых нижних ступеней, где еще туманно и темно. Скоро ветер рук моих, обжигаясь о тебя и становясь горячим, снимает тебя сверху, и наши губы уже могут встретиться, потому что ты наравне со мной. Тогда в ушах моих начинается свист и звон виол, а глаза мои, погруженные в твои веселые и открытые широко глаза, видят тебя уже внизу. Я становлюсь огромным, а ты совсем маленькой; я, как большая туча, легко окружаю тебя — нырнувшую в тучу и восторженно кричащую белую птицу.

11 ноября

Сегодня — денек. Напрасно прождал все утро Л. Андреева, который по телефону извинился (через жену), что чем-то (глупым) задержан. Гулял. Копоть. Вчера вечером не пошел ни слушать рассказ Ясинского, ни к матери жены Кузьмина-Караваева, где собралось

«Гумилевско-Городецкое общество», а сегодня вечером не пошел ни к Поликсене Сергеевне, на доклад о «сказке», ни в поэтическую академию, где читает Зелинский и куда всем сказал, что пойду.[45] Спал после обеда, а потом — куда же я пошел? Длинное письмо от Бори.

13 ноября

11-го в Академии (куда я не пошел) опять Пяст говорил обо мне («Ночные часы» через головы «Нечаянной Радости» и «Снежной маски» протягивают руку «Стихам о Прекрасной Даме»).

Два дня рассылаю книги, отвечаю на письма, держу корректуры, «ликвидирую» «дела», которые возникли от трех вечеров, проведенных среди десятков и сотен литераторов. Мечтаю писать свое и читать книги.

«Трагедия творчества» — Бори Бугаева.

Вчера днем — ужас толпы на Невском.

Вчера вечером — Пяст, хорошие разговоры до 3-х часов ночи. Он наложил на себя эпитимию (не курит). Не возвращается к Нонне Александровне. *ДЕТИ?*

Сегодня Люба — у Кузьминых-Караваевых, Аничковых, мамы, тети и своих — отчасти помогает мне.

Я обедал у мамы, а весь вечер гулял по улицам. А без нас опять были Ремизовы!

НЯ: всегда одно из двух — люди (масса), или своя жизнь, творческая. Мечтаю о ней.

Гениальнейшее, что читал, — Толстой — «Алеша-Горшок».

Завтра надо записать главное, что водилось сегодня вечером и ночью, вьется кругом уже с неделю.

*Мужайтесь, друзья, боритесь прилежно,
Пусть бой и неравен — борьба
безнадежна!*

14 ноября

Записываю днем то, что было вечером и ночью, — следовательно, иначе.

Выхожу из трамвая (пить на Царскосельском вокзале). У двери сидят — женщина, прячущая лицо в сунсовый воротник, два пожилых человека неизвестного сословия. Стоя у двери, слышу хохот, начинаю различать: «ишь... какой... верно... артист...» Зеленея

от злости, оборачиваюсь и встречаю два наглых, пристальных и весело хохочущих взгляда. Пробормотав «пьяны вы, что ли», выхожу, слышу за собой тот же беззаботный хохот. Пьянство как отрезало, я возвращаюсь домой, *по старой памяти* перекрестясь на Введенскую церковь.

Эти ужасы вьются кругом меня всю неделю — отовсюду появляется страшная рожа, точно хочет сказать: «Ааа... ты вот какой?.. Зачем ты напряжен, думаешь, делаешь, строишь, зачем?»

Такова вся толпа на Невском. Такова (со всем про себя) одна искорка во взгляде Ясинского. Таков Гюнтер. Такова морда Анатолия Каменского. — Старики в трамвае были похожи и на Суворина, и на Меньшикова, и на Розанова. Таково все «Новое время». Таковы «хитровцы», «апраксинцы», Сенная площадь.

Знание об этом, сторожкое и «все равно не поможешь» — есть в глазах А. М. Ремизова. Он это испытал, ему хочу жаловаться.

*Мужайтесь, о други, боритесь
прилежно,
Хоть бой и неравен — борьба без-*

надежна!
Над вами светила молчат в вы-
шине,
Под вами могилы, молчат и оне.
Пусть в горнем Олимпе безмолв-
ствуют боги!
Бессмертье их чуждо труда и
тревоги;
Тревоги и труд лишь для смерт-
ных сердец...
Для них нет победы, для них есть
конец.
Мужайтесь, боритесь, о храбрые
друзи,
Как бой ни тяжел, ни упорна
борьба!
Над вами безмолвные звездные
круги,
Под вами немые, глухие гроба.
Пускай Олимпийцы завистливым
оком
Глядят на борьбу непреклонных
сердец:
Кто, ратуя, пал, побежденный
лишь роком,
Тот вырвал из рук их победный ве-
нец.

Это стихотворение Тютчева вспоминал

еще в *прошлом* году Женя, от него я его узнал.

Мы, позевывая, говорим о «желтой опасности». Аничков раз добродушно сказал мне (этим летом): «Вы узко мыслите. Цусима — неважное событие. С Японией воевала не Россия, а Европа».

Так думают все офицеры, кончая первым офицером, который выпивает беззаботно со своими конвойцами.

Откуда эти «каракули» и драгоценности на всех господах и барынях Невского проспекта? В каждом каракуле — взятка. В святые времена Александра III говорили: «Вот нарядная, вот так фуфыря!» Теперь все нарядные. Глаза — скучные, подбородки выросли, нет увлечения ни Гостиным двором, ни адюльтером, смазливая рожа любой барыни — есть акция, серия, взятка.

Все ползет, быстро гниют нити швов изнутри («преют»), а снаружи остается еще видимость. Но слегка дернуть, и все каракули расползутся, и обнаружится грязная, грязная морда измученного, бескровного, изнасилованного тела.

Так и мы: позевываем над желтой опасно-

стью, а *Китай уже среди нас*. Неудержимо и стремительно пурпуровая кровь арийцев становится желтой кровью. Об этом, ни о чем ином, свидетельствуют рожи в трамваях, беззаботный хохот Меншикова (*ИУДА, ИУДА*), голое дамское под гниющими швами каракуля на Невском. Остается маленький последний акт: внешний захват Европы. Это произойдет тихо и сладостно внешним образом. Ловкая куколка-японец положит дружелюбно крепкую ручку на плечо арийца, глянет «живыми, черными, любопытными» глазками в оловянные глаза *бывшего* арийца.

Столыпин незадолго перед смертью вскопчил ночью оттого, что ему приснился революционный броненосец, подходящий к Кронштадту. Это им снится еще, а «горшее» не снится.

Вот когда понадобится *РАСПЕЧАТАТЬ* все тайные возрождения Нового Света (По) и славянского мира (Пушкин, русская история, польский «мессианизм», Мицкевичев остров в Париже, равеннское, разбудить Галлу).

Надо найти в арийской культуре *взор*, который бы смог бестрепетно и спокойно (тор-

жественно) взглянуть в «любопытный, черный и пристальный и голый» взгляд — 1) старика в трамвае, 2) автора того письма к одной провокаторше, которое однажды читал вслух Сологуб в бывшем Caffi de France, 3) Меньшикова, продающего нас японцам, 4) Розанова, убеждающего смешаться с сестрами и со зверями, 5) битого Суворина, 6) дамы на Невском, 7) немецко-российского мужеложца... Всего не исчислишь. Смысл трагедии — **БЕЗНАДЕЖНОСТЬ** борьбы; но тут нет отчаянья, вялости, опускания рук. Требуется высокое посвящение.

Сегодня пурпурноперая заря.

Что пока — я? Только — видел кое-что в снах и наяву, чего другие не видали.

15 ноября

Переписка с Наталией Николаевной Скворцовой. Желтый, желтый закат.

15 ноября 1911

«Освободить» — нет, не могу. Я часто думаю писать Вам и не пишу, потому что мне кажется всегда, что Вы знаете все, что я думаю обо всем.

И в сегодняшнем Вашем письме нет никакого вопроса, а у меня нет ответа — словами.

Ваша безумная гордость (красивая гордость — красивая и жуткая, как многое в Вас) заставляет Вас говорить об «унижении» и о «языке Ваших горничных». Унижения нет и не может быть. Если любовь, — она не унижает, а освобождает, в ее солнце все меркнет — и своя гордость. Но это не она, а влюбленность — ночное, ну да — «ветер и звезды» — не больше звезд и ветра, а как ветер и звезды — и здесь нет унижения. — Вы знаете все это, как знаю я.

Это не первое — солнечное, а второе — ночное. За словами «ветер и звезды», «унижение», «язык моих горничных» мне ясно видно все ночное, все, что вызывает к бытию их заклинательная сила: ночи без рассвета, «неровный топот скакуна», кожа перчатки, пахнущая духами, цыганские песни, яд и горечь полыни, шлейф, треплющийся по коврам, звенящие за дверью шпоры, оскаленная пасть двери, захлопывающейся и выводящей на ветер и на звез-

ды, на уничтожение, а не унижение, на «язык», или вещее бормотанье всех на свете — и Ваших горничных, и гусаров, и поэтов, и лакеев.

Конец этого: горечь полыни, оборванная струна скрипки, желтый, желтый закат бьет в неизвестное окно, и «женщина» (только женщина — никто) с длинным шлейфом свистит «мущину» (тоже — никто, без лица) мертвыми губами, а «мущина», как собака, ползет на свист к ее шлейфу. Все это Вы знаете, не испытыв, как я знаю, испытыв. Все это я увидел за Вашими же словами.

Но, боже мой, милая, Вы не этого хотите, и я не этого хочу.

Знайτε, если Вам нужно знать, что, когда ветер и звезды, то я слышу — Вашу ноту. Также знайте, что все, что Вы писали в письме без обращения (о себе), я знаю. Я не верю ни в какие запреты здесь, но на небе о нас иногда горько плачут.

То, что Вы написали в этом письме, я знал и без письма, я чувствую это всю осень, чувствую тревожно.

Я не только молод, а еще бесконечно

стар. Чем дольше я живу, тем я больше научаюсь ждать настоящего звона большого колокола; я слышу, но не слушаю колокольчиков, не хочу умереть, боюсь малинового звона.

Примите все это как написано, не иначе, развяжите сама все несвязное.

Я не могу и не хочу освободить. Иначе, чем есть, не могло быть. Мне это очень, очень нужно. Вам также. Всякая красота может «переменить и создать новое».

Господь с Вами. Целую Вашу руку.
Александр Блок.

16 ноября 1911

Я написал Вам длинное письмо, но посылаю короткое. Длинное нужнее мне, чем Вам.

Унижения не может быть. Влюбленность не унижает, но может уничтожить.

Любовь не унижает, а освобождает. Освободить могу не я, а может только любовь.

Написал [и послал] третье.

16 ноября 1911

После нескольких писем, которые я писал Вам вчера и сегодня, я понял вдруг, что такого вопроса, какой Вы задаете, нет, и потому нет ответа.

Это не свободолюбие, а только гордость заставляет Вас говорить об «унизительных чувствах» и о «языке горничных». Свободолюбие прекрасно, а гордость — только красива. Вы бы не сказали мне так, как написали (не «то, что», а «так, как»).

Мы еще не знаем друг друга. Во мне есть к Вам то же, что и в Вас ко мне. Вы рассуждаете, и я рассуждаю. Мы не видим друг друга в лицо, между нами — только стрелы влияний.

«Освободить» — нет; освобождаем друг друга не мы. Вы знаете это, как я. За несколькими Вашими словами — надменно и капризно закушенная губка и топанье на меня каблучком. В ответ на это позвольте мне поцеловать Вашу руку, это также красиво, извините.

Дальше — я еще многое слушаю в Вас и хочу слышать то, чего Вы сама не слышите пока...

Унижения нет, мне это очень, очень

нужно.

Александр Блок.

Написал четвертое — несколько слов.

16 ноября

Письма. Подарки. Днем — «ванна», студентик с честными, но пустоватыми глазами, жалующийся на редакторов, со стихами и прозой. Я его выпытываю.

Обед у мамы — с тетей (усталой и несчастливой) и Женей (с ним разговоры вечером — и с мамой. Женя воинствует). Женя: всякий поэт должен читать Евангелие. Об «изгнании» Розанова, о Мережковских и мелком их бесе — Философове, о «не только поэте», о «не только человеке», о «национализме».

Смутное чувство и страшная усталость к вечеру. Возвращение ночью домой, за спиной Сириус пылает всеми цветами, точно быстро взлетающий вверх земной метеор.

17 ноября

Вялость, потянуло тоскою из Огарева. Надо сосредоточиться, уловить в себе распущенное.

Отчаянное письмо от Бори — о деньгах.

Днем заходила А. М. Аничкова, застала только меня. Книга от Брюсова.

Вечером — к А. П. Иванову. Не застав Александра Павловича и Евгению Алексеевну, купили вкусного кушанья и пошли в кинематограф.

18 ноября

И ночью и днем читал великолепную книгу Дейссена. Она помогла моей нервности; когда днем пришел Георгий Иванов (бросил корпус, дружит со Скалдиным, готовится к экзамену на аттестат зрелости, чтобы поступить в университет), я уже мог сказать ему (об *αναμνησις*[46], о Платоне, о стихотворении Тютчева, о надежде) так, что он ушел другой, чем пришел. В награду — во время его пребывания — записка от Н. Н. Скворцовой, разрешившая одно из моих сомнений последних дней (разрешившая на несколько часов).

Благодарственная и лестная карточка от L. Rfiav.

Если бы я умер теперь, за моим гробом шло бы много народу, и была бы кучка моло-

дежи.

Читал поэму *Пяста*, поражался ее подлинностью и значительностью. Наконец прочел всю. Стихи «Апрель» *Серезжи Соловьева* — нет, не только «патологическое» талантливо (как говорила мама), есть, например, «Шесть городов».

Мы кончили обедать, пришел Степан Степанович Петров, назвавший себя на карточке и на сборнике стихов «Грааль Арельский», что утром (когда он передал карточку) показало мне верхом кощунства и мистического анархизма. Пришел — лицо неприятное, провалы на щеках, маленькая, тяжелая фигурка. Стал задавать вопросы — вяло, махал рукой, что *незачем* спрашивать, что выходит трафарет, интервью. О нем днем говорил мне Георгий Иванов, но он не такой (как говорил Георгий Иванов). Бывший революционер, хотел возродить «Молодую Россию» 60-х годов, был в партии (с. р.), сидел в тюрьмах, астроном (при университете), работает в нескольких обсерваториях, стрелялся и травился, ему всего 22 года, но и вид и душа старше гораздо.

Не любит мира. «Люди не понимают друг

друга». Скучно. Есть Гамсуновское. Уезжает, живет один в избушке, хочет жить на Волге, где построит на клочке земли обсерваторию. Зовет меня ночью в обсерваторию Народного дома смотреть звезды. Друг Игоря-Северянина. Принес сборник стихов. «Азеф нравится — сильный человек», — нравился до тех пор, пока не стал «просить суда». Его пригнала к земле вселенная, звездные пространства, с которыми он имеет дело по ночам. Звезды ему скучны (в науке разуверился, она — тоскливое кольцо, несмотря на ее современное возвращение к древности), но «красивы» (говорит вместо «прекрасны»). «Бога не любит».

* * *

Все-таки хорошая, хорошая молодежь. Им трудно, тяжело чрезвычайно. Если выживут, выйдут в люди.

Люба сегодня вечером и ложе Аничковых на «Хованщине» с Шаляпиным. Я не пошел.

Сейчас ночь, я гулял (как часто, мимо курсов). Луна светит — не проклятая, как вчера ночью.

Милая девушка, целую Твою руку, благодарю Тебя за любовь, сегодня я влюблен в Тебя,

вероятно, сейчас Ты очень любишь, мне принесли тишину Твои три слова: «Я вам верю».

20 ноября

Вчерашний день проведен плохо, я уже подпортил себя.

Днем напряженный (и хороший) разговор с мамой (у нее). Письмо от Бори (хорошее). Обедают у нас Ремизовы. Вечером пришли Пяст, Княжнин и Верочка Веригина.

О журнале (Мережковский и Л. Андреев — были такие переговоры, едва ли надолго, если и будет). О сборнике (для опубликования повести Пяста, он принес ее мне). О русских орнаментах и цветах (как царь, так золото, пропавшее было при татарах; постоянные русские цвета: *красный, зеленый, синий*). О Щеголевой (я думал об этом иначе утром). О разговорах Кустодиева с царем — «новое».

Пяст к ночи захвалил Мейерхольда, споры Любы и мои, определение значительности Мейерхольда. Я устал к ночи — недостаточно был сдержан накануне.

21 ноября

Днем заехал к Пясту и поехал с ним на лекцию Вл. В. Гишпиуса.

Прекрасная лекция. Кровь *не* желтеет, есть и борьба и страсть. Под простой формой, под скромными словами, под тонкостью анализа пушкинского пессимизма — огонь и тревога.

Хорошо сказано: «Положить в ящик и бросить в яму» (о смерти); о фальшивом конце стихотворения «Для берегов отчизны дальней»: «Я этому не верю».

От Феодосия Печерского до Толстого и Достоевского главная тема русской литературы — религиозная. В нашу эпоху общество ударило в «эстетический идеализм» (это, по моему определению, кровь желтеет).

Суть лекции — проповеднический призыв не только к «религиозному ощущению», но и к «религиозному сознанию».

Пушкин. Пессимизм лицейского периода. Всегда — сила только там, где просвечивает «доказательство бытия божия», остальное о боге — или бессильно, или отчаянно (переходящее в эпикуреизм). Завершение Пушкинских «исканий» — он впадает в «эстетический идеализм» (безраздельная вера в красо-

ту). — *Чтением* многих стихов Пушкина В. В. Гиппиус прибавил нечто к моей любви к Пушкину.

«Волчья челюсть» (Гиппиусовская) — недаром. Они ей прищелкнули кое-что желтое.

Публика — милые (почти все) девушки, возраста Ангелины, — «молодое поколение», еще не известное ни нам, ни себе.

Вышел вечером погулять — и привел с собой Ивойлова, — сидели до второго часа, болтали, смотрели книги. В нем есть что-то общее с Б. Гуциным (который, кстати, был сегодня у Любы днем, когда меня не было). Его надо приласкать, напоить чаем.

22 ноября

День — тяжелый, резкий, бесснежный, чужие дела, деньги, банк, неудавшаяся переписка с братом Верховского о векселе. Послал Боре 500 руб.

Перед и после обеда — чтение потрясающей повести Пяста — тяжесть, вынимание души, тяжелая сонливость, как от чтения большого. Это не какой-нибудь роман Ясинского.

Пришел А. П. Иванов. С ним легкое, с полуслова понимание, перебрасывание «одними» думами — огненное сквозь усталость (его и мою). Пришли Аничковы. Евгений Васильевич был блестящ; Александра Митрофановна глубокая (?) и чужая. Я спорил с ними весь вечер; конечно, как всегда, о славянстве, о «желтизне», о религии. Ушли рано, около 12-ти (Александр Павлович ранее).

Оказывается, вчера у Вячеслава Кузьмин-Караваев читал о самодержавии (Александр II). Вот к чему он и в Зимний дворец ходил. По словам Аничкова, он не увлек, никто ничего не сказал после его чтения.

На ночь читал (и зачитался «Фальшивым купоном») Толстого, который неизменно вызывает во мне мучительный стыд.

Всю ночь — сны, сны. Сначала — я морской офицер, защитник родины, морское сражение. Под утро уже мы с Пястом — осматривающие какие-то книги.

23 ноября

Вчера в 9 часов утра скончался 46-ти лет от роду в Москве от припадка грудной жабы В. А.

Серов.

Днем у букиниста. Вечером, как всегда, после «ТОЛЬКО КНИГ» — «ТОЛЬКО» ПЛОТЬ.

25 ноября

Вчера весь день дома, картинки, боль горла, нервы, уют.

Сегодня днем у мамы, ее привез обедать, обедала у нас также тетя. Читал вечером им поэму, новую переделку. Совершенно слабо, не годится неужели ничего не выйдет? Надо *план и сюжет*.

26 ноября

Бесконечно смутный день. Переставляю карточки в новый альбом, купленный утром. Вечером иду в цирк, в антракте (как я и предполагал) туда же приходит Пяст. Мы возвращаемся домой и говорим смутно до третьего часа. Я устал без конца. Что со мной происходит? Кто-то точно меня не держит, что-то происходило на этой неделе. Что?

27 ноября

Последняя корректура «Нечаянной Радости»

сти». Объявление о концерте (наглость) и отказ от участия в концерте в гимназии Штембергга. Разговоры по телефону, письмо Панченке, телеграмма (через Любу). Рецензия Васи Гиппиуса о «Ночных часах» в «Новой жизни».

Дважды приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого — скребет на душе, тяжелое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее.

Но я сам: «Лучшие идеи, от недостатка связи и последовательности, как бесплодные призраки, цепенеют в нашем мозгу. Человек теряется, не находя средств прийти в соотношение, связаться с тем, что ему предшествует и что последует; он лишается всякой уверенности, всякой твердости; им не руководствует чувство непрерывного существования, и он заблуждается в мире. Такие потерявшиеся существа встречаются во всех странах; но у нас эта черта общая» (Чаадаев).

Господи, благослови.

Господи, благослови.

Господи, благослови и сохрани.

Пойду бродить.

28 ноября

Страшный день. Меня *нет* — и еще на несколько дней. Звонки. Посланные разными силами ломаются в двери. У Любы долго сидела ее мать — я не вышел на провокацию.

Письмо от Бори. Там есть место об одном из пунктов Сережи.

Сейчас едем в «Хованщину».

30 ноября

Сегодня ночью скончался дядя Николай. Конец Бекетовского рода.

1 декабря

Сегодня вторая годовщина смерти отца. Может быть, и объявлено об этом в «Новом времени» или подобной помойной яме. Но я иду на другую панихиду.

На вчерашней панихиде, несмотря на мерзость попов и певчих, было хорошо; неуютно лежит маленький, седой и милый старик. Последние крохи дворянства — Василий на козлах; простые, измученные Бекетовские лица;

истинная, почти уже нигде не существующая скромность.

Днем клею картинки, Любы нет дома, и, как всегда в ее отсутствие, из кухни голоса, тон которых, повторяемость тона, заставляет тихо проваливаться, подозревать все ценности в мире. Говорят дуры, наша кухарка и кухарки из соседних мещанских квартир, но так говорят, такие слова (редко доносящиеся), что кровь стынет от стыда и отчаянья. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение — только скит; барская квартира с плотными дверьми — еще хуже. Там — случайно услышишь и уж навек не забудешь.

Конечно, я воспринимаю так, потому что у меня совесть не чиста от разврата.

Боря прислал 35 руб. По-видимому, он относится к деньгам с такой же щепетильностью и беспокойством, как в нашей семье.

Все это мелко, мелко. Когда-нибудь посмеюсь тому, что записываю теперь в дневник. Тут еще много «психического состояния» (см. вчерашнее милое и глупое письмо тети Сони ко мне — о Сереже!).

Задремал — и чудится все что-то (подошла

мама — в платке, как всегда, тихо встала около меня). Пришел дворник за деньгами, не могу даже принять его, передаю через Таню. Он — поляк наглый.

Очень, очень плохо, жалко чувствую себя. Не пошел на панихиду, Люба пошла одна. Я побродил, пили чай, доклеивал египтянку и св. Клару.

На панихиде было опять мало народу.

2 декабря

Печальный день. Вечером — я на панихиде.

3 декабря

Утром мы с Любой на похоронах, пришли к Курсам. После похорон ходили с мамой и тетей на свои могилы, потом приехали в карете к маме, сидели с Любой у нее до обеда. Мама дала мне совет — закончить поэму тем, что «сына» поднимают на штыки на баррикаде.

План — четыре части — выясняется.

I — «Демон» (не я, а Достоевский так назвал, а если не назвал, то e ben trovato[47]), II — Детство, III — Смерть отца, IV — Война и

революция, — гибель сына.

Мир во зле лежит. Всем, что в мире, играет судьба, случай; все, что встало выше мира, достойно управления богом.

В стихотворении Тютчева — эллинское, дохристианское чувство Рока, трагическое. Есть и другая трагедия — христианская. Но, насколько обо всем, что дохристианское, можно говорить, потому что это наше, здешнее, сейчас, настолько о христовом, если что и ведаешь, лучше молчать (*не* как Мережковский), чтобы не вышло «беснования» (Мусоргский). Не знаем ни дня, ни часа, в онь же грядет Сын Человеческий судить живых и мертвых.

Вечером — заседание Общества ревнителей художественного слова. Я — председатель, что незаметно ни для кого, кроме меня, нервного, незащищенного со времени провала и получающего какие-то незримые токи — шпильки в душу. Сначала несколько слов об И. Анненском (опять некрология), потом — соображения Вячеслава — «морфология стиха» и разговоры и споры до S 3-го. *Сергий Платонович Каблуков* как-то за дверью — зачем он там, у нас, не знаю хорошенько, но сочув-

ствую. Пяст — мое чувство, мой провал отчасти от него. Ночью мороз, я его провожаю, он целует меня. Манделъштамъе. Хороший Недоброео — и жена его. Эльснер — «выездной лакей» (Пяст) из Киева. Много, народу — «умного до глупости» и наоборот.

Мучительная усталость.

4 декабря

<Непосланное письмо Н.Н. Скворцовой>

Наталия Николаевна, я пишу Вам бесконечно усталый, эти дни — на сто лет старше Вас. Пишу ни о чем, а просто потому, что часто, и сейчас, между прочим, думаю о Вас и о Ваших письмах, и Ваша нота слышится мне. В душе у меня есть темный угол, где я постоянно один, что иногда, в такие времена, как теперь, становится тяжело. Скажите, пожалуйста, что-нибудь тихое мне — нарочно для этого угла души — без той гордости, которая так в Вас сильна, и даже — без красоты Вашей, которую я знаю.

Если же Вы не можете сейчас, или просто знаете о себе, что Вы так еще мо-

лоды, что не можете отрешиться от гордости и красоты, то ничего не пишете, а только так, подумайте про себя, чтобы мне об этом узнать.

5 декабря

Письмо и книга Ключева. Букинист. Вчерашние вечерние соображения о «Старинном театре» — ужас его. Сегодня — издерганные нервы, по ночам опять скверные сны; то восторг, то отчаяние. Пишу много писем.

6 декабря

Последние дни — учащение самоубийств, — молодежь, гимназисты.

Письмо от мамы. От Л. Андреева — «Сашка Жегулев». Второй том Толстого.

У Любы сидят Анна Ивановна и художница Краснушкина и глупо о чем-то говорят (слышно: Англада, Зулоага...). Я над Ключевским письмом. *Знаю все, что надо делать*: отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу.

Стишок дописал-«В черных сучьях дерев».

Вечером — оттепель, все течет, Люба в «Старинном театре», а я брожу и в кинемато-

графе.

7 декабря

Переписка письма Клюева. Письма Городецкому и Анне Городецкой. И посылка им послания Клюева (завтра пошлет мама). Днем — с мамой (у меня) — долгий и хороший разговор. От Спекторского — 25 экземпляров его брошюры об отце.

Вечером — дождик, я в нашем цирке.

9 декабря

Встали утром — такая тьма, что дома сидеть, видно, нечего. Пошли (врозь) в Александровский рынок. Я купил опять хороших книг, хоть все и ненужных. Маленькая Бу купила чернильницу.

Вечером пришли Женя, Ге, потом — Пяст. Прекрасные, долгие споры.

С Пястом — нежно расстались; до свиданья, милый. Послание Клюева все эти дни — поет в душе. Нет, рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира.

Жене и Ге (а сегодня в тот же час, немного раньше, получил ее Городецкий) подарил

книжку Спекторского об отце.

10 декабря

Не имею сил писать подробно. Слишком ужасны: 1) вчерашний вечер; 2) мое отношение с Любой; 3) посещение тети; 4) сегодняшняя несчастная женщина (О. К. Соколова — «Окс»); 5) письмо мучительное А. А. Городецкой.

14 декабря

После страшных, тревожных и пустых дней, когда писать было лень.

Город ужасно действует. Сравниваю свое состояние осенью и теперь. То же и мрак. За эти дни: приходила О. К. Соколова (ее дневники прочесть — за 25 лет). Не принял г. Гюнтера.

Вчера — у Ивановых — именины Жени. Я в отчаяньи оттого, что вечно упорно путаю невест, не вижу. Теперь наконец знаю, которая Вера. Не хочу говорить об этом даже Жене, ему было бы это неприятно.

Мария Павловна — совсем другая, чем осенью, — необычайно красива и торжественна.

Братья с женами, «молодые друзья» Жени, мы с мамой и Любой.

Ни с кем ничего не договорить, устал, сплю плохо, дилетантски живу, забываю и письмо Клюева; шампанское, устрицы, вдохновения, скуки; не жалуясь, но и не доволен.

С Любой помирились.

Сегодня иду к Поликсене Сергеевне.

Шатания по букинистам.

* * *

Поликсена Сергеевна больна, лежит (простуда, как всегда, соединилась с болью сердца). Мама там. Сидел с Натальей Ивановной Манасеиной, Карриком, Форш, Беляевской и Марией Павловной.

Вечером — возбуждение, слоняюсь по всему городу.

17 декабря

Сегодня — расстроен. Третьего дня — мучительно. Вчера вечером — А. П. и Е. А. Ивановы, а после них до 5-ти часов утра разговор с Кузьминым-Караваевым. *О том, что «пора»* (и он). Злой, тяжелый, Достоевщина, «ах, этот М., этот ц.». Еще испытывать его, — а он дума-

ет, что он меня. «Борьба нераздельна с убийством» и «инок несовместим с воином» — два вполне непонятных мне...

Сегодня утром — денежное, тяжелый голос Васи Менделеева, Люба расстроена. Куда бы съездить отдохнуть?

Третьего дня читал рассказы офицеров о турецкой войне — мерзость и скука, но *лучше* Л. Андреева.

Отмахиваюсь, отписываюсь, пойду в ванну.

Писал Ключеву: «Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом».

Женщины (как-то «вообще»).

18 декабря

У Любы сидит Муся. Я ничего не имею против Муси в частности, но боюсь провокации. Горько услышать или увидеть что-нибудь самое преступное, низкое, желтое, сытое — в той семье, в той крови, от которой я оторвал Любу. Особенно горько теперь, когда ненавидишь кадетов и собираешься «ругать „Речь“», когда не любишь Л. Андреева... когда лучшие из нас бесконечно мучатся и щетинятся (Боря,

Ремизов), когда такой горечью полыни пропитана русская жизнь.

Сегодня дочитал наконец этот скучный, анархический, не без самодовольства, хоть и с добрыми намереньями, плохим из рук вон языком написанный, роман Андреева. Только места об измене как-то правдивее, но все — такая неприятная неправда, надоедливо разит Чулковым. Рядом с этим «шиповники» (на втором месте обложки, и буквы помельче, и имя без отчества) поместили рассказ Ремизова — до слез большой; пустяк для него, но в тысячу раз больше *правды* (и больше потому влияния, света), чем в Андрееве; тем больше и здесь уловить тень неправды, которая бременем легла на русскую литературу. Алексей Михайлович боится этой неправды, у него она пройдет, Л. Андреев лезет в нее, как сытый и глупый; и куда пойдет его сила, его талант? Страшная, тягостная вещь — талант; может быть, только гений говорит правду; только правда, как бы она ни была тяжела, *легка* — «легкое бремя».

Правду, исчезнувшую из русской жизни, — возвращать *наше дело*.

Я вышел все-таки, сидел с Мусей, и провокации не было. Она изменилась, похорошела еще.

* * *

Пришел Кожебаткин, принес четыре экземпляра только что вышедшей «Нечаянной Радости». Говорил много о Сереже — его положение еще серьезнее, чем я думал.

Сегодня — первый большой мороз, сейчас (вечер) понесу книгу маме. — Очень уютно провел вечер с мамой и Францем.

22 декабря

Последние дни были печальны и мрачны для меня. Холода и оттепели. Мама была у меня два дня подряд. Какое-то интервью — к счастью, по почте. Письма тети Сони ко мне и Марьи Павловны к маме — светлые места.

Скончалась мать В. Ф. Коммиссаржевской. Вчера Люба была на открытии Менделеевского съезда (на телеграмму Кассо — молчание с присвистом. Замечательная речь Умова).

Надо писать для «хроники Мусажета». Покупка книг у букиниста.

Вечером говорил по телефону с З. Н. Гип-

пиус, от которой получил письмо; с Пястом, который пришел, и с В. Е. Копельман (о сборнике в пользу голодающих).

С Пястом говорили до 3-х часов. О сборнике — для помещения «Чина моей жизни» (ссора Ремизовых с Гуро, желание Аничкова издать его, отношение Бори — его молчание, что поместить на первом месте). О «России» (разговор Пяста с Адриановым обо мне и др. *Будто мы* силимся навязать России то, что для нас стало прошлым и ненужным — это Куликово поле! Пяст соглашался с Адриановым...).

Tat twam asi — Пяста [все это — ты (я)], [48] Вячеслава Иванова (ты еси). О «ступенях посвящения».

Мое: с запада и с востока блаженство — там *не* пути, но разветвления наших путей. С запада — горький запах миндаля, с востока — блаженный запах дыма и гари. Слишком большие уклонения, извивы пути (всепонимание, вселюбовь) создают холодный ужас (Баратынский, Тютчев), безумие (иногда до сумасшествия).

Больно, когда падает родная береза в де-

довском саду. Но приятно, СЛАДКО, когда Галилея и Бруно сжигают на костре, когда Сервантес изранен в боях, когда Данте умирает на паперти.

Приходит возраст (в свое время), когда все-понимание *само* прекращается, когда над бедным шоссе́йным путем протягивается ко-стяной перст, и черную рясу треплет родной ветер. Потом — проходит и родное (родина)...
Всякому возрасту — свое время.

«Вся пройденная пре́йдет».

Шаловливая Любочка вечером смотрела на Менделеевском съезде цветную фотографию Прокудина-Горского.

На древний запад, на кривой ятаган востока мы смотрим, как на блаженную мерцающую красным светом α Ориона (Бетейгейзе).

23 декабря

Я пробыл у Мережковских от 4 до 8, видел и Зинаиду Николаевну, и Мережковского, и Философова. Согласен во многих думам с Зинаидой Николаевной (она велела записать о сходстве дум об «общественной бюрократии» — М. Ковалевский и др.). Так же — пол-

ное, «умилительное» согласие относительно «Сашки Жегулева» и автора его — «властителя современных дум». Что это — «вкус» или больше вкуса? Долгий спор. Я читал письмо Ключева, все его бранили на чем свет стоит, тут был приплетен и П. Карпов. Будто — христианство «ночное», «реакционное», «соблазнительное». Добролюбов и Семенов — высшие аристократы (Философов). Эстетизм мой (Философов). Все это не было мне больно, но многословие, что-то не то, или я действительно не понимаю какого-то последнего у Мережковских, если *есть* что понимать, если «их трое» — реальность, если они действительно бескорыстны.

Книги — одна с хорошей, другая с трогательной (если правда) надписью. Верю, что — все правда.

Предложение писать короткие (100-150-200 строк) статьи в «Русском слове», в одном отделе с Зинаидой Николаевной.

* * *

Вечер — дома, тихо, маленькая в ванне, завтра сочельник. Сегодня пришли «Старые годы», «Искусство и печатное дело» (на полча-

са упился Сомовскими очарованиями). В столовой стоит елка.

Мережковский сегодня: вся «Индия» — нирвана (дохристианское) — ужас, небытие. Не было Имени. «Не донимайте меня» Сергием Радонежским, Серафимом Саровским — «я знаю, чем это пахнет». — Сыщик у дверей. — Все теперь о «несказанном», это — пустота, отсутствие общественности. *Теперь* такое время, что нужно твердо знать, что «голод — голод, реакция — реакция, смертная казнь — смертная казнь».

Итак — сегодня: полное разногласие в чувствах России, востока, Ключева, святости.

Полное согласие во вкусах (если бы более!) относительно Л. Андреева, Чулкова и т. д.

Пишу Зинаиде Николаевне и Руманову.

Из письма М. П. Ивановой к маме (20 декабря): «Родная моя А. А... Пожалуйста, не думайте, что я испугалась слов эшафот и т. п. и потому отношусь отрицательно к письму Ключева. Когда я начала читать, то мне очень понравилась красота образов и сравнений, но так от начала и до конца и была только *одна красота*. Из-за этой красоты до сути едва до-

берешься. Чужая душа — потемки, поэтому я всегда боюсь обвинять человека в чем-нибудь, не зная его хорошенько, но по письму могу сказать только, что поэт совсем закрыл человека. Видно, что он любит А-дра А., но очень уж много берет на себя,[49]предъявляя такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания. Куда он зовет? Отдать все и идти за ним,[50] и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его *дикий бор* только, неужели истина только там?.. Перезвон красивых фраз, и А. А. принял это очень к сердцу только потому, что, вероятно, сам переживал разные сомнения, и вот в этой-то борьбе с самим собой гораздо больше бога, чем в горделивой уверенности в своей правоте Клюева. Он был обижен смехом иронии и недоверия А. А. над дорогими ему вещами; но мне кажется, это был смех, чтобы заглушить в себе горечь и недовольство самим собой. Я думаю и надеюсь, что бог, который носит определенное название нашего Спасителя и Который даровал талант А. А., поможет ему в конце концов найти самому истинный путь к спасению *себя и других*^ потому что А. А. понимает

не одну только красоту, но и страдание.[51] Удивляюсь, что Ключев, только написав А. А. разные обвинения и не зная даже, как их примет А. А., через несколько строчек уже дарует ему прощение; нет, не нравится мне это. Женя читал, и ему тоже не нравится. Эту рукопись Женя скоро принесет к Вам. Скажите обо всем А. А. и судите меня оба как знаете, а я останусь при своем. У Ключева очень много гордости и самоуверенности, я этого не люблю...» Дальше — об «Отце Сергии» Толстого.

* * *

И это слагаю в сердце.

Зинаида Николаевна сегодня говорила о Миролюбове, не придавая ему значения — «без воли», «полупевец». Другое дело — люди с *настоящим* уклоном воли (враждебным *им*) — Добролюбов и Семенов.

24 декабря

В «Утре России» — заметка о юбилее Бальмонта и «воспоминания» Грифа. — Чувствую себя горьковато.

Вчера меня поцеловали на прощанье — Зинаида Николаевна, а потом и Дмитрий Сер-

геевич.

Кузьмин-Караваев («младший») для Ме-режковских — националист.

Об «изгнании» Розанова из «Русского слова» (визит Руманова к нему). У меня при таких событиях все-таки сжимается сердце: пропасть между личным и общественным. Человека, которого бог наградил талантом, маленьким или большим, *непрерменно, без исключений*, на известном этапе его жизни начинают поносить и преследовать — все или некоторые. Сначала вытащат, потом преследуют — сами же. Для таланта это драма, для гения — трагедия. Так должно, ничего не поделаешь, талант — обязанность, а не право И «нововременство» даром не проходит.

Розанову Сытин платит жалованье, но просит не писать.

Вечный ужас сочельников и праздников: мороз такой, что на улице встречаются растерянные, идущие неверной походкой люди. Я, гуляя перед ванной, мерзну в дорогом пальто. У магазина на Большом проспекте двое крошек — девочка побольше, мальчик крошечный, режут, потеряв (?) отца. «Папа пошел за

пряником, была бы елка». Их окружили, повезла на извозчике какая-то женщина на Пушкарскую, но они не помнят № дома, может быть, и не повезет. Полицейский офицер, подойдя, говорит: «Что за удивление, таких удивлений бывает сотня в день». К счастью, хоть перед Рождеством все добрые.

* * *

Выпили вечерний чай, перед сном думаем зажечь елку. Мне тягостно и от праздника, как всегда, и от сомнений и усталости, которые делают меня сонным, униженным и несчастным. Сомневаюсь о Мережковских, Клюеве, обо всем. Устал — уже, как рано, сколько еще зимы впереди. Надо бы не пить больше.

26 декабря

Вчера (мороз — 20е) у мамы уютно обедали, зажигали елку, получали подарки (впятером — и тетя).

Сегодня — Городецкий у меня весь день. Трудный, в общем, разговор. Он говорит: Анна Алексеевна ставит ему меня в пример деятельности, мудрости, никуданехождения и

т. д. То, что он называет *магией*, возникающей между нами, он не хочет знать, ему это или неприятно (как в прошлом году в цирке), или безразлично. Ему в этом главное — то, что он не видит меня систематически, это «мешает».

Читал хорошие восьмистишия.

Думаю о сотрудничестве в «Русском слове».

Едва успел я вздохнуть после Городецкого, пришел Верховский, а к обеду — Ваня. Кончилось все в 10 часов — моим изнеможением и злостью. Все эти милые русские люди, не ведая часов и сроков, приходят поболтать и не прочь «углубиться кое во что глубокое». Тяжесть, тягость. Маленькую Любу лишней раз бранил (а может быть, и не лишней).

Все это тем ужасно, что ни за что ни про что, с лучшими намереньями, теряешь последние силы, последние нервы и трудоспособность. Чего-чего не было наговорено, а почти все — ненужное и лишнее, а что и нужно, то сказано и сделано бессознательно, а мною только намотано на ус.

Какофония насчет Брюсова о Баратынском

(Ваня с Верховским устроили — один на турецком барабане, другой на визгливом кларнете).

Будто Чулков говорит о том, что он бы сошелся с Брюсовым (слонячья сплетня). Дай господи, чтобы эти двое приняли наконец друг друга в объятия, т. е. чтобы этот Георгий Чулков окончательно отвалился от меня — со всеми своими достоинствами, не только с недостатками.

Гнездо Рачинских (Меженинки, Бобровка и Татевое).

***, не желая принимать никакого участия в отношении своей жены ко мне (как я когда-то сам не желал принимать участия в отношении своей жены к Бугаеву), сваливает всю ответственность на меня (как я когда-то на Бугаева, боже мой!).

Городские человеческие отношения — добрые ли или недобрые — люты, ложны, гадки, почти без исключений.

Долго, долго бы не вести «глубоких разговоров»!

Родство Баратынских, Тютчевых, Рачинских, Дельвигов и т. д. Неточности *прекрасной*

статьи В. Брюсова о Баратынском в словаре Ефрона.

* * *

Со вчерашнего дня побаливает печень.

Из этих записей (как попало) — хоть бы что-нибудь вышло потом! Пишу всегда — вздорное рядом с серьезным — только с этой целью.

27 декабря

Мы встали рано, маленькая нарядилась в свои лучшие тряпочки и пошла на «съезд художников», сегодня это будет три раза в день, и так ежедневно.

Продолжаю вчерашнее. Лампадка у образа горит — моя совесть.

Городские отношения людей между собой ложны и безысходны. Вчерашний моральный конфликт был очень поучителен.

Верховский при Ване ругает сначала Садовского, потом Брюсова (как будто мы «en petit сотки»[52] — ему так кажется по его нечуткости). Ругает не с высоты морали поэта и художника, а с низин обывательской профессорской морали. Если бы мы были вдвоем,

я бы поддакивал милому Верховскому, уязвленному в лучших чувствах и обиженному не однажды, например, Брюсовым, которого ведь и я не очень люблю. Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости людям, имеющим с ним отношения, и особенно — зависящим от него.

Но: тут же сидит Ваня Менделеев, вышедший из своего темного угла, где у него, вероятно, свои высокие думы, так называемые «переживания», но и своя *озлобленность* (оттого хотя бы, что он в детстве не знал настоящей матери, настоящего уюта детства, который создает фон для будущей жизни в миру; не было матери; ее (не) заменяла Анна Ивановна, всю жизнь наряжавшаяся, подмазывающаяся и разрываемая Репиным, Кавосами, Кравченками, знаменитостью мужа, — дилетантка с головы до ног; ей оправдание в свою очередь, но сейчас это завело бы меня далеко).

Итак, сидит Ваня, который злобно улыбается при одном почтенном имени Гершензона (действительно, скверное имя, но чем виноват трудолюбивый, талантливый и любя-

ций *настоящее* исследователь...) и вся цель которого — найти в речах Верховского твердую почву для оплевания Садовского и Брюсова. Зачем и за что? Только затем, чтобы быть спокойнее относительно «символистов» (так называемых), найти теплоту, согреть себя в своей холодной замкнутости утешением, что все — прохвосты, и символисты тоже воруют платки из кармана. Нововременцы воруют, Ваня, как человек с умом и моральными наклонностями, постоянно принужден сдавать свои нововременские позиции, не имеет сил (а кто же *правдивый* их имеет?) доказать, что Меньшиков и К° — не подлецы. Зато уж чем меньше остается у него оболъщения насчет «Нового времени», тем больше ищет он найти пакость и в других лагерях. Этого и нам не занимать стать, и наивный Ю. Верховский, хотя и не совсем бескорыстно (и, следовательно, тоже не с кристальной нравственностью), дает богатый материал для обвинения Садовского в том, что он оклеветал Пушкина, Д. Давыдова, Державина и Полежаева (не со слишком широкой точки зрения, можно и надо спорить, не принята во внимание злоба Садов-

ского, в которой есть *творческое*), и для обвинения Брюсова в небрежном отношении к мелким фактам биографии Баратынского. Последнюю критику Верховский сопровождает обобщениями о Брюсовской мелочной гадо- сти, на которую Брюсов способен.

Таково — положение. Я, изнуренный глупым и милым Сережей Городецким, говорящий уже десятый час (подряд), все больше злюсь и кончаю тем, что резко обрываю... Верховского. За дверью, на лестнице, объясняю ему положение дела.

Тема для романа. Гениальный ученый влюбился буйно в хорошенькую, женственную и пустую шведку. Она, и влюбясь в его темперамент и не любя его (по подлой, свойственной бабам, двойственности), родила ему дочь Любовь (жизнь сложная и доля непростая), умного и упрямого сына Ивана и двух близнецов (Марью да Василья... не стану говорить о них сейчас). Ученый, по прошествии срока, бросил ее физически (как всякий мужчина, высоко поднявшись, связавшись с обществом, проникаясь все более проблемами, бабе недоступными). Чухонка, которой был

доставлен комфорт и средства к жизни, стала порхать в свете (весьма невинно, впрочем), связи мужа доставили ей положение и знакомства с «лучшими людьми» их времени (?), она и картины мажет, и с Репиным дружит, и с богатым купечеством дружна, и много.

По прошествии многих лет. Ученый помер, с лукавыми правыми воззрениями, с испорченным характером, со средней моралью Жена его (до свадьбы и в медовые месяцы влюбленная, во время замужества ненавидевшая) чтит его память «свято», что выражается в запугиванье либеральных и ничтожных профессоров Меншиковым и «Новым временем» и семейной грызней — по поводу неobservable имущества, оставленного ей мужем. Судьба детей, — что будет дальше?

Ей оправдание, конечно, есть: она не призвана, она — пустая бабенка, хотя и не без характера («характер» — в старинном смысле — годов двадцатых), ей не по силам ни гениальный муж, ни четверо детей, из которых каждый по-своему, положительно или отрицательно, незауряден...

Но: кому нет оправдания? — Такова цепь

жизни, сплетение одной нити в огромный клубок; и всему — свое время: надо где-нибудь порвать, уж слишком не видно конца, и нить разрезают — фикция осуждения, на голову, невинную в «абсолютном» (гадость жизни, темнота ее, дрянь цивилизации, людская фальшь), падает вина «относительная». Кто не налагал своих схем на эту путаницу жизни, мучительную и отрадную, быть может: отрадную потому, что в конце ее есть какой-то очистительный смысл.

Отец мой — наследник (Лермонтова), Грибоедова, Чаадаева, конечно. Он демонски изобразил это в своей незаурядной «классификации наук»: есть сияющие вершины (истина, красота и добро), но вы, люди, — свиньи, и для вас все это слишком высоко, и вы гораздо правильнее поступаете, руководясь в своей *политической по преимуществу* (верх жестокости и иронии) жизни отдаленными идеалами... юридическими (!!!). Это ли не *демонизм!* Вы слепы, вы несчастны, копайтесь в политике (ласкающая печаль демона) и не поднимайте рыла к сияющим вершинам (надмирная улыбка презрения — демон *сам*

залег в горах, «людям» туда пути нет). Все это — в несчастной оболочке А. Л. Блока, весьма грешной, похотливой... Пестрая, пестрая жизнь, острая «полоса дамасской стали», жестокая, пронзающая все сердца.

Днем было частью уютно, к обеду квартира промерзла, стало гадко. Вечером пришел милый Женичка, так мы сидели, болтали, мне стыдно перед ним, что я такой усталый. Очень хорошо он рассказывал о кинематографической картине, и болезненные всё рассказы о Розанове. Все, что о нем слышишь в последнее время («Русское слово», Мережковские, Философов, Руманов, Ремизов), — тягостно.

Днем я вставил в раму «Усекновение главы» Массиса и занимался картинками.

29 декабря

Вчера целый день читал огромный дневник О. К. Соколовой (Мартыно) — за 25 лет, прочел половину. Это — южанка с неукротимыми страстями, с чудесной наивностью и высокими нравственными задатками в детстве, терзаемая и, может быть, растерзанная

уже трудной жизнью — с вечными ловеласами, без денег, в среде ничтожной, провинциальной. Вероятно, была красива — немного по-цыгански (без цыганской «сверхчувственности» однако). Женщина до мозга костей, в области чувства — богатство, широкий диапазон (музыкантша, виолончелистка, вероятно очень талантливая, но с разбитой карьерой), в области рассуждений — робость, узость, невнятное бормотанье, скучные прописи. Невежественна, не знает и изящной литературы, безвкусна, как южанка; в судьбе и стремлениях есть общее с Санжарь, но *лучше* — мягче, без самовлюбленности и самоуверенности, с более узкими, *личными* планами. Мне очень нравятся ее гимназические года. — Почитаю еще.

Вчера же — получил «Нечаянную Радость» (89 экземпляров) — с вокзала доставил *посильный*.

Избегаю людей, приходил Толстой, Таня не приняла его. — Тяжелый вечер.

Сегодня нежный день. Мороз сильный, но в нем есть ласкающее. Любино рождение, ей тридцать лет (а в сущности — два). Мама при-

слала сирень, я подарил книжку (10 драм V. Hugo) и денег на уральский камушек. Маленькая на своем съезде почти весь день, вечером сидела уютная, в красном капоте, хотела спать.

* * *

Я днем у букиниста на Дворянской (купил, кроме Любинова подарка, смирдинского Карамзина, стихотворения Плещеева и «Историю русской церкви» Филарета — все за 10 руб.). Вечером гулял, принес колбасы и хлеба. Заходил Георгий Иванов (не приняли), письма от него, от И. Брихничева, от Руманова (говорил с ним по телефону, жду его завтра; с 1 января буду получать «Русское слово»). Вчера — от Смородского. Гонорар от «Аполлона». Приближается Новый год. Господи, дай мне быть лучше. Встретим его у мамы.

Ангелина, которую ждал эти дни, не идет, ей трудны, конечно, как и мне, всякие «поступки».

30 декабря

День очень важный для меня. Утро — гу-

лял, Люба все утро и полдня на съезде, слушала замечательную речь Кульбина.

Днем читаю (и дочитываю) дневник О. К. Соколовой. Надо *очень подумать'*, так оставлять нельзя, надо печатать, хотя бы с сильной переработкой и сокращениями. Необычайная откровенность, не оставляющая сомнений, при вульгарности (хотя гладкости) языка и многословии, — торжественная симфония — страсти, по меньшей мере, страсти *всегда одухотворенной*.

* * *

Перед обедом пришел (и обедал) Руманов. Прежде всего он очень стройно изложил все существенное о «Русском слове». Тираж «Русского слова» — 224 000, т. е., считая 10 человек на № (это *minimum*), — около 2 500 000 читателей. Газета идет вокруг Москвы и на восток, кончая Сибирью.

Газета *не нуждается* ни в ком (из «имен»), держится чудом (мое) — чутьем Ивана Дмитриевича Сытина, пишущего деньги через Ъ, близкого с Сувориным (самим стариком), не стесняющегося в средствах (Дорошевичу, уходящему теперь, предлагалось 48 000 в год и

пожизненная пенсия 24 000). Вся *московская редакция* — *РУССКАЯ* (единственный в России случай: не только «Речь», но и «Новое время», и «Россия», и «Правительственный вестник», и «Русское знамя» — не обходятся без евреев).

«Жизнь русского духа».

Язык газеты. Ее читатели. Ее внутренняя противоречивость и известная патриархальная косность, благополучие.

Меня приглашает Руманов по *своей* инициативе.

Это пока — все существенное, что мне нужно иметь в виду.

Облик Руманова. Его разговор с Коковцовым (и Витте). Завтра буду у Руманова — перед встречей Нового года у мамы.

Вечером гулял и занимался картинками.

31 декабря

Сильный мороз. Эти дни мы встаем рано, — месяц еще не погаснет, а под ним розовое небо, — Люба на съезд, и я кстати.

Кончается журнал и газетка Ефрона (?). (Очевидно, Проппер пересилил.) Дополнения о «Русском слове» (по словам Руманова). «Рус-

ское слово» полагает, что Россия — *национальное* и *ГОСУДАРСТВЕННОЕ* целое, которое можно держать *другими* средствами, кроме нововременских и правительственных. Есть нота мира и кротости, которая способна иногда застывать в благополучной обывательщине. Тревожится — сам И. Д. Сытин.

Руманов относится отрицательно к социалистам всех оттенков («неразборчивость средств», «жестокость», «нереальный нарост»).

Иметь в виду многое не записанное здесь (и во всем дневнике), что не выговаривается — пока.

О Л. Семенове, о гневе, на него находящем (был здесь весной).

О Маше Добролюбовой. Главари революции слушали ее беспрекословно, будь она иначе и не погибни, — ход русской революции мог бы быть иной.

Семья Добролюбовых. Брат — морской офицер, франт, черносотенец. Мать — недурная, добрая (в противоположность мнению А. В. Гиппиуса).

Рерих в «Русском слове» заведует отделом

искусства. Искусство для «Русского слова» — только небольшой угол.

Мережковских провести в «Русское слово» было трудно, теперь Мережковский и Филосов — «свои люди» там. Гиппиус провести будет трудно.

Алое солнце садится в морозный туман. Я иду в ванну.

Люба воротилась со съезда только в 6 часов, я уже начал беспокоиться. Растрепана, совершенно грязные ручонки, заставляю ее ответить на поздравление М. П. Ивановой, она переписывает с ее же карточки — криво.

Сейчас иду к Руманову, а от него — к маме, встречать Новый год.

Маленькая Люба пристаёт из своей комнаты насчет кушанья — какое готовить (у меня десны всё немного болят).

Дай бог встретить Новый год и прожить — заметно. Дай бог.

Нет, лучше не кончить записи никак, я суеверно боюсь вписывать недостаточно важные (по настроению, которое сейчас) в эту тетрадь.

Дневник 1912 года

2 января

Господи благослови.

Когда люди долго пребывают в одиночество, например имеют дело *только* с тем, что недоступно *пониманию* «толпы» (в кавычках — и не одни, а десяток), как «декаденты» 90-х годов, тогда — потом, выходя в жизнь, они (бывают растеряны), оказываются беспомощными, и *часто* (многие из них) падают ниже самой «толпы». Так было со многими из нас. Для того чтобы не упасть низко (что, может быть, было и невозможно, ибо никаких личных человеческих сил не хватило бы для борьбы с бурей русской жизни следующих лет), или — хоть иметь надежду подняться, оправиться, отдохнуть и идти к людям, разумея под ними уже не только «толпу» (а это очень *возможно* для иных, — но не для всех), — для этого надо было иметь большие *нравственные* силы, т. е. известную «культурную избранность», ибо нравственные фонды наследственны. В наши дни все еще длится — и еще не закончен — этот нравственный от-

бор; вот почему, между прочим, так сильно еще озлобление, так аккуратно отмеривается и отвешивается количество арийской и семитической крови, так возбуждены национальные чувства; потому не устарели еще и «словные счета», ибо бывшие сословия — культурные ценности, и очень важно, какую культурную струей питался каждый из нас (интересно, когда касается тех, кто еще имеет «надежды», т. е. не «выродился», не разложился, не все ему «трын-трава»).

Вчерашнее воззвание Мережковского — очень высоко и очень больно. Он призывает к общественной совести, тогда как у многих из нас еще и личная совесть не ожила.

Пишу я вяло и мутно, как только что родившийся. Чем больше привык к «красивости», тем нескладнее выходят размышления о живом, о том, что во времени и пространстве. Пока не найдешь *действительной* связи между временным и вневременным, до тех пор не станешь писателем, не только понятным, но и кому-либо и на что-либо, кроме баловства, нужным.

Весенних басен книга прочтена, —

Мне время есть размыслить о морали.

(Ибсен)

Во время завтрака пришла Ангелина — мы с ней много и хорошо говорили. В 4 часа (как я вчера написал) пришла О. К. Соколова — с ней говорили до 8-ми. Я понимаю ее труднее, чем ее дневник, который надо ли печатать? — до сих пор не знаю.

Маленькая Люба на съезде — утром и вечером.

Пришла «Тропинка».

Поздно вечером — Вяч. Иванов по телефону пригласил, — я не поеду.

3 января

Днем — писание и дописыванье стихов, сознание, что работаю, Люба на съезде, письмо от Н. Н. Скворцовой, корректура III книги собрания стихотворений. Вечером — Пяст, взаимные рассказы о делах и кругах около которых вращаемся.

Прекрасные статьи Пяста в словарь (редакция г. Адрианова) — о Дружинине (широкие

перспективы и много говорящие параллели, которые придется сократить — для словаря), о Дурове (поэте), о Мих. де Пулэ.

В заключение я ему сообщаю мимолетные наблюдения о З. Н. Гиппиус.

Газетку «Утро России» перестали посылать, слава богу. Небрежность конторы (я — не сотрудник) доставляла ее мне года два, и я перелистывал ее каждое утро, теряя только время. Кто разберет, кому и чему она служит.

Если я попаду в «Русское слово» или хотя бы сумею сосредоточиться на своей работе, я оставляю *окончательно* всякие «академии» и «цехи», также — болтовню, когда она только болтовня.

5 января

Вчера утром — Люба на съезде (последний день), у меня — Городецкий (читал стихи, некоторые хорошие — «восьмерки», как он называет). Письмо от Н. Н. Скворцовой.

Обедали — Люба у своих, я у мамы (втроем — уютно, — известие о том, что *тетя Соня* очень больна, может быть, умирает; мамино электричество; об А. Мазуровой — что я один

могу ей сказать о «чувственности»; у мамы на днях была Поликсена Сергеевна, будет посылать последнюю корректуру «Тропинки»).

Вечером — мы с Пястами (вчетвером) в ложе в оперетке «Романтическая женщина» (несколько напевов, Пионтковская, Грехов). После театра — у Пястов. Нонны Александровны я дичусь. Дети, квартира. До 3-го ночи. Пяст показывает места из дневника.

Сегодня: утро — маленькая Люба отсыпается после съезда и гостей.

И Городецкий и Пяст говорят, что интересен дневник Соколовой (то, что я рассказываю).

Мысли о Мережковском и Вяч. Иванове. Мережковские — для меня очень много, издавна, я не могу обратиться к ним с воспоминательными стихами, как собираюсь обратиться к Вячеславу, с которым *теперь* могу быть близким *только* через воспоминание о Лидии Дмитриевне.

Пришло «Русское слово» и «Искры».

В «Русском инвалиде» *тоже* помещен гороскоп на 1912 год, сулящий события.

Был интервьюер от «Солнца России», за-

ставил написать несколько строк о Надсоне.

Днем гулял и у букиниста (купил новые книги). Вечером — к А. П. и Е. А. Ивановым, — Женичка с Клеопатрой Михайловной, его Юра, Петя с женой, Ге с Настей (Ге — ужасный бедняжка, милый ребенок, ему все тяжеле), Гуро с Матюшиным. «Глубокий» разговор с Ге, «глубокий» разговор с Гуро. Я плету ужасно много, туманно, тяжело, сложно своим усталым, ленивым языком, однако иногда говорю вещи интересные. Квартира Ивановых — просторно, чисто, красиво, но есть неприютность — пустовато. Очаровательный, застенчивый, добрый Александр Павлович.

6 января

Тихий день. Отправляю (и дописываю) стихи (Миролюбову для «Знания» и другие). После обеда пришел Гуцин, которого не приняли. Ванна, кинематограф, маленькая дома весь день.

7 января

Видел автомобиль царя, проехавшего в Лицей. Днем у мамы. Подтверждение моих пред-

положений о болезни Г. Блуменфельда, и ужасное положение Али Мазуровой. — О тете Соне новых вестей еще нет, в Трубицино поехала тетя Софа. — Вечером отказал Туманову, который должен был прийти, — до 11-го с ним не увидимся.

9 января

Вчерашнего дня не было. Был только вечер и несколько взглядов на маленькую Любу. Исцелить маленькую, огладить и пожалеть.

Сегодня в ответ на письмо Н. Н. Скворцовой (сегодняшнее) пишу:

Есть связи между людьми, совершенно невысказываемые, по крайней мере до времени не находящие внешних форм. Такой я считал нашу связь с Вами — по всему, что Вы говорили, по всему, что увидал в Вас, по всем «знакам, под которыми мы с Вами встретились». Если это так действительно (а я часто думаю, что да), то что значат такие письма, как Ваше последнее? Я ненавижу приступы Вашего самолюбия и происходящего от него недоверия, потому что вижу пути, по кото-

рым Вы к ним приходите. Ну да, это только — «чувствительность кожи», «принцесса на горошинке» — и всегда связанная с внешней чувствительностью нечувствительность внутренняя, душевная слепота; как только Вас настигает это, — Вы становитесь не собой, одной из многих, уходите куда-то в толпу, становитесь подобной каждому ее атому, который сам по себе бессилён и лишен способности влиять и руководить, потому что предан внешнему и личному.

Если Вам угодно избрать этот путь, то для меня невозможны ни внешние, ни внутренние встречи с Вами, потому что в первый раз мы встретились с Вами НЕ под этим знаком и потому что я давно иду по другому пути. Если бы было нужно то, о чем говорите Вы, то мы встретились бы с Вами раньше; этого не случилось, я прошел половину жизни (может быть, большую) другим путем, и мой путь неизменим. — Демон самолюбия и праздности соблазняет вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой. Я не толстовец, не

американский моралист, чтобы не признавать таких возможностей в нашем мире; и даже больше того — я уверен, что в нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая «астральная мода» на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование. Но я уверен также, что Вы могли бы быть не только красивой, но и прекрасной, не только «принцессой на горошинке», каковые водятся в каждом маленьком немецком княжестве, но и просто принцессой — разумеется, менее заметной, но и более единственной. Еще я уверен, что соблазны пустоты всегда тем сильнее, чем больше возможностей полноты. — Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются «незнакомки» с «поэтами». Вы — не «незнакомка», т. е. я требую от Вас, чтобы Вы были больше «незнакомки», так же как требую от себя, чтобы я был не только «поэтом». Милый ребенок, зачем Вы зовете меня в астральные дебри, в «звездные бездны» — целовать ваши раздушенные перчатки, —

когда Вы можете гораздо больше — не разрушать, а созидать.

Это письмо посылаю, она должна его понять.

Едва успел дописать свой ответ, он покрыт письмами З. Н. Гиппиус и М. П. Ивановой.

Днем — шатаюсь. Вечером свел маленькую в цирк («бенефис клоуна Жакомино», непослушный Эмир, откормленные львы и Куприн в ложе).

10 января

Четвертое мое письмо (за два дня) Марии Павловне о том, что не могу ничего ответить ей по-настоящему. Потом — ей было неприятно, что я приложил цыганский романс с лицом г. Северского (хоть и замазанным).

11 января

Днем — мама, уютно.

Вечером маленькая — в концерте Кусевицкого.

Руманов (от Витте — на автомобиле, с запиской сенатора Кузминского, изобличающей Нейдгардта); интереснейший и таин-

ственнейший человек, с которым жаль расставаться; какой-то *особый* (еще непонятно, почему) интерес и острота разговора с ним на многие и многие темы (Клюев, какие-то еще мужички, Маша Добролюбова, «правительственные» дела, Рерих, Сытин — все вместе).

12 января

Отвратительное письмо от Н. Н. Скворцовой. — Маленькая поздравляет тетю (там говорит с мамой).

13 января

Пришла «Русская мысль» (январь). Печальная, холодная, верная — и всем этим трогательная — заметка Брюсова обо мне. Между строками можно прочесть: «Скучно, приятель? Хотел сразу поймать птицу за хвост?» Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется — в чтении, писании, отделяваньи, получении писем и отвечании на них? Но — лучше ли «гулять с кистенем в дремучем лесу»?

Сквозь все может просочиться «новая культура» (ужасное слово). И все может стать

непроницаемым, тупым. Так у меня теперь.

Письмо от Васильева-Черникова — дико-винного человека.

Собираюсь (давно) писать автобиографию Венгеру (скучно заниматься этим каждый год). Во всяком случае, надо написать, кроме никому не интересных и неизбежных сведений, что «есть такой человек» (я), который, как говорит З. Н. Гиппиус, думал больше о правде, чем о счастье. Я искал «удовольствий», но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно — не человеческое.

Кстати, по поводу письма Скворцовой: пора разорвать *все эти связи*. Все известно заранее, все скучно, не нужно ни одной из сторон. Влюбляется или даже полюбит, — отсюда письма — груда писем, требовательность, застигание всегда не вовремя; она воображает (всякая, всякая), что я всегда хочу перестраивать свою душу на «ее лад». А после известного промежутка — брань. Бабье, какова бы ни была — 16-летняя девчонка или тридцатилетняя дама. Женоненавистничество бывает у

меня периодически — теперь такой период.

Если бы я писал дневник и прежде, мне не приходилось бы постоянно делать эти скучные справки. Скучно писать и рыться в душе и памяти, так же как скучно делать вырезки из газет. Делаю все это, потому что потом понадобится.

15 января

Вчера днем корпел над III книгой. Вечером у мамы (она потрясена «Сашкой Жегулевым», я почти весь вечер разубеждал ее).

Сегодня корпел весь день. Дописал стихи (заключение III книги). Письмо от Н. Н. Скворцовой, на которое я, по крайней мере сегодня, не отвечаю.

Пишу О. К. Соколовой (в ответ на ее новое напоминание): я могу написать предисловие к ее дневнику (нужно Туманову и всякому издателю); но: предисловие ей может не понравиться. Второе: кто будет *сокращать*? Третье: кто будет держать корректуры? Прошу ее *письменно* разрешить мои недоумения. *Если она согласна принять участие в издании, я прошу позволить написать предисловие и на-*

править ее «к тому лицу, от которого печатанье будет зависеть».

Маленькая вечером у Адды Корвин (скупает).

16 января

Девятая годовщина Соловьевых. Думал и о них и о милом, бедном Сереже.

Додерживаю корректуры. Пишу благодарность Брюсову за его статью. Письмо от Вячеслава с предложением чествовать Бальмонта.

Такой же однообразный день, как многие предыдущие. Опустошенная душа. Я должен куда-нибудь уехать, ненадолго переменить жизнь.

Ответ от Соколовой — опять бестолковый и неделовой.

17 января

Вчера на ночь читал «Ад» Стриндберга. Сегодня утром — письмо от m-lle Скворцовой. На днях было письмо, в котором она зовет меня подлецом. После этого — письмо, в котором она «согласна помириться», если я отдам ей *все* свои стихи (бывшие и будущие). В сего-

дняшнем: я ни в чем не ошибался в том письме, за которое она меня назвала подлецом. — Если бы я был моложе, на меня все это производило бы сложное впечатление. Теперь производит только впечатление путаницы. Я смотрю (за окном мороз, солнце) на лампу в столовой и сосредоточенно думаю о том, как бы разрешить эту скучную путаницу. Вдруг вижу, что в лампу проникло сознание, на ней — фигурки драконов, хотя и довольно добродушных, — между резервуаром и колпаком. Так вот как следует, значит, поступать.

Днем лежу, дочитываю «Ад», пишу предисловие к Соколовой.

18 января

Днем лежу, читаю «Неугасимую лампаду».

Вечером — мама, — до поздней ночи разговариваем, все устали.

Утром в «Русском слове» — о юбилее Стриндберга.

19 января

Н. Н. Скворцовой:

В одном письме Вы называете меня

подлецом в ответ на мое первое несогласное с Вами письмо. В следующем Вы пишете, что «согласны помириться». В третьем Вы пишете, что я «ни в чем не ошибался» в том письме, за которое вы назвали меня подлецом. Только в Вашем сегодняшнем письме я читаю наконец человеческие слова. Но все предыдущие письма отдалили меня от Вас. Если бы Вы знали, как я стар и устал от женской ребячливости (а в Ваших последних письмах была только она), то Вы так не писали <бы>. Вы — ребенок, ужасно мало понимающий в жизни, и несерьезно еще относитесь к ней, могу Вам сказать это совершенно так же, как говорят Вам близкие. Больше ничего не могу сказать сейчас, потому что болен и занят. Мог бы сказать, но Вы все равно не услышите или не так поймете, и пока я не буду уверен, что Вы поймете, не скажу. (Сейчас переписываю и совершенно забыл, что имел в виду.) — Для того чтобы иметь представление о том, как я сейчас (и очень часто) настроен (но не о моих житейских обстоятельствах и отношениях), про-

читите трилогию Стриндберга («Исповедь глупца», «Сын служанки» и «Ад»).
— Я не требую, а прошу у Вас чуткости.

20 января

Люба была на могиле отца. Только что поставленный памятник, против ожидания, приличен (грубые, некультурные глыбы — столбы с цепями; медальона, который испортит многое, еще нет). Рядом прислонен бывший деревянный крест, испещренный надписями — излияния химиков: «Чудовские химики», «На этой могиле не надо памятника», «Gloria aeterna»[53] и т. д. А внизу — «Звоните по телефону 40–42, правая кнопка, к гимназистке VIII класса».

Сзади — бедная могила Владимира (Володи) Менделеева, занесенная снегом; Люба отняла у отца два веночка из елки и положила на нее. Люба принесла несколько красных веночков.

Воротясь домой и увидав за окном в столовой подушку из снега, Люба стала представлять, как там идут маленькие человечки на лыжах вдоль по канату. Придется подарить

ей коробку оловянных солдатиков.

Вечером маленькая смотрит на систему Далькроза в Михайловском театре.

Письмо от Миролюбова, вчера от Бори. Дострочил предисловие к бабьему дневнику.

21 января

Неожиданно утром — письмо от Бори, приехавшего с женой. Пишу ему, что я болен, никуда не выхожу, может быть, через несколько дней...

Весь день (с обедом) у меня мама — хорошие разговоры с ней. Маленькая вернулась к обеду от Адды Корвин, излагала ей свою Далькрозу. Это — шутя, маленькая относится правильно, ей следует иногда позабавиться только.

23 января

Письма и переписка предисловия к дневнику Соколовой. Вечером приходил Пяст. Таня сказала ему, что я болен. Вчера на ночь — увлекательное чтение книги Муратова.

25 января

Мой сегодняшний ответ Боре.

Вчера утром — разговор с Любой о том, что ей так долго невозможно жить (недурной разговор). Мягкая погода — мне лучше. Вечером Женя, говорим о дневниках, несколько слов о чахотке (Вера в санатории Халилла), о его болезни (прошедшей), ему нравится, как я нарисовал стену (третьего дня вечером — елка, заяц, еж, слонята, слонячий боже, комета, роза, лодка, орнамент, краб, рыба, лангуста, медуза — «морской зонтик», — закат солнца в море). Люба вечером смотрит пляски Адды Корвин. После ее (позднего) возвращения разговор с Женей сходит на нет, расстраивается.

Сегодня днем — мама, письмо от тети Софы (о печках) и ей, записка от Марии Павловны.

Тягостно, плохо себя чувствую, пусто, во мне мертвое что-то. Ночью — дикие (Над. Григ. Чулкова —?!) ужасные сны.

26 января

Сегодня пишу Руманову — прошу принять Соколову, не назначая определенного дня (потому что ей нужно сократить и исправить), и

способствовать изданию ее дневника. Она принесет (или я пришлю) мое предисловие. Также пишу Зноско-Боровскому — просьбу по-прежнему (или с вычетом из будущего гонорара) присылать «Аполлон».

Мама третьего дня вдруг стала говорить, что хочет заняться спиритизмом. Я ответил на это, что лучше говеть, например у Аггеева (если она может).

27 января

Письмо дрожащим почерком от поправляющейся (от воспаления легкого) тети Сони. Тетя Лена умерла ударом и уже похоронена. Я даже фамилии ее не знаю; помню все, что с ней связано для меня: ворчба на нее тети Сони («она была тосклива», — пишет она). Бесконечные анекдоты Сережи («Нет, Соня, у меня сэм»), Декламация Расина, Послание Тютчевым:

*Чтобы ехать к вам в Мураново,
Нужно быть одетой заново,
У меня ж на целый год
Старый ваточный капот.
Так меня к себе уж лучше вы*

Не зовите в гости, Тютчевы.

Корреспонденция в «Русском слове» о гонениях на Л. Семенова. В «Речи» — известие об отставке («по болезни») В. И. Гиппиуса.

К обеду пришла мама от Наука, который сказал ей, что сердце ее за два года улучшилось (санатория, какова бы она ни была, помогает), но исключительно сильное малокровие (прописал новое средство).

Разговоры, болтовня. С Любой играем в дураки и в акульки. Тоска смертная, к ночи, скверный сон.

28 января

Бесконечная, до сумасшествия, игра в дураки и в акульки. Слабость, тоска.

29 января

<В> воскресенье — у мамы с Францем — гости (празднуют рождение). Тоскую. Лежу и страдаю. Заходил Городецкий (не принял). Тоже — Кузьмин-Караваев. Тоже — Ваня. Вторая корректура III книги (из «Песни Ада» негодяи потеряли 2 страницы, придется переверстывать снова!). Вечером — уют — наклеиваем

картинки вдвоем.

30 января

Картинки спасают от тоски. Первое большое солнце и настоящий закат. Несказанное. Люба на выставке «Мира искусства». Приходили: бедняжка (Русинов), а вечером — Ивановы (А. П. и Е. А.). Никого не приняли. Сегодня, вероятно, уехал Боря.

31 января

Опять лежу. Карты, картинки. Днем мама. Опять заходили Ивановы. — Известие о смерти Магдалины Михайловны Латкиной (мама и тетя на панихиде). На ночь читал очень интересный роман Брюсова.

1 февраля

Корректурa III книги примечания. Кончен альбом (фламандский, голландский и немецкий).

2 февраля

Пушкин в «Русском слове». Совсем как маленького мальчика, его, раненого, выносят из

кареты. У Дантеса — все приклеенное, этот светский мерзавец в старости стал еще мерзее — похож на ряженого шарлатана.

Пишу Соколовой, чтобы она отнесла дневник вместе с моим предисловием Руманову (письмо от него).

Днем мама, солнце, принесла буше. Люба у Адды Корьвин.[54]

Вечером мы с маленькой вдруг пошли в цирк, видели и Дурова и многое другое — интересное.

3 февраля

Соколова взяла свой дневник с моим предисловием и письмом.

День мрачен. Вопящий пьяный парень, резкий ветер, беднота в трамвае, нет солнца, непонятная болезнь, вялость, утомление, досадная корректура с враньем.

4 февраля

Днем мама, вечером приходил (и не был принят) с кем-то С. В. фон Штейн. Однообразие, апатия, забыл, что есть люди на свете.

15 февраля

Скончался В. П. Далматов.

26 февраля

В середине декабря норвежец Амундсен достиг южного полюса.

Все это время бедно событиями...

Сначала — только Женя, потом — Пяст. 24-го весь день провел с *Борей* (у Лейнера). Облик Бори, впечатление от него и от его слов. Очень важное сообщение.

Письма, несколько стихотворений. Покончено с картинками. Поэма — ни с места. Ненависть и боязнь людей. Постоянно во время болезни — мама. Убийственные морозы и их конец. Маленькая — все то же. Борьба в цирке. Чтение Стриндберга (на днях докупил недостававшие восемь томов). Теперь (вслед за «Адом») — «Легенды».

Сегодня — гулянье около полотна Финляндской железной дороги.

Две новые газеты: первая — «Воскресная вечерняя» (2 коп.) с Куприным и пр. — *определенная желтая пресса*, конечно, к сожалению, опять лезет туда Городецкий — уж тут

как тут! Вторая — новая для *меня*, на самом же деле ежедневно конфискуемая и от этого имеющая еще больший успех — социал-демократическая «Звезда». Отрадно после консервативных органов — «Речи» и «Русского слова» (которое, может быть, превратится в прогрессивный орган, если приобретет определенную физиономию, — чью, вопрос?). Все здесь ясно, просто и отчетливо (потому — талантливо) — пожалуй, иногда *слишком просто...*

28 февраля

Вчера обедала мама, разговор сначала тяжелый, потом — хороший. Ночью я провожал ее на извозчике через Троицкий мост по мокрому снегу. Ей стало нравиться у нас в квартире — в большой степени от улучшения отношения Любы.

Сегодня днем — книги у букиниста (большой французский словарь истории и географии и Аполлодор). Вечерние прогулки (возобновляющиеся, давно не испытанные) по мрачным местам, где хулиганы бьют фонари, пристает щенок, тусклые окна с занавесочка-

ми. Девочка идет — издали слышно, точно лошадь тяжело дышит: очевидно, чахотка; она давится от глухого кашля, через несколько шагов наклоняется... Страшный мир.

2 марта

Все еще не могу поправиться. Цынга оказалась «гингивитом» (!) — местное (десны) — никогда больше не есть мяса (!).

Вчера у мамы, которая признала мою правоту (относительно «истребителей»). Дни у букинистов — дрянное племя: от циничной глупости и грубости маленькой лавчонки — до сумасшедшего г-на Соловьева (букиниста), желающего показать, что русские двадцатые (и другие) годы были «возрождением» (!!!), — печатающего свой «Русский библиофил» с сумасшедшей роскошью, которую порождает только реакция, — шаг небольшой.

Подумываю о поэме. Дни почти без событий и без писем.

3 марта

Вчера вечером — Пяст (третья «пятница»). Ему тяжело, он говорит о распыленности,

много о себе. А сегодня утром — уже частичный ответ на наши вчерашние речи — фельетон М. Горького в «Русском слове». Заметочка в «Русском слове», что «Русская мысль» переселяется с лета в Петербург (где живет «большинство сотрудников и Струве»).

4 марта

Спасибо Горькому и даже — «Звезде». После эстетизмов, футуристов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим. Так или иначе, при всей нашей слабости и безмолвии, *подкрадыеанъе* двенадцатого года к событиям отмечается *опять-таки в литературе*.

Днем — пишу поэму. Вечером — после прогулки к маме, где Люба. «Скандалы» этих дней на улицах (я — свидетель «необходимый») — так называемые скандалы, а по существу — настоящие проявления жизни, случайно вышедшие на улицу (хулиганы, бьющие фонари и друг друга, пьяный в трамвае, муж и жена на Большом проспекте — главной улице современного Петербурга, ибо Невский потерял свое значение).

5 марта

Сегодня — доклад Жени в Религиозно-философском обществе, на который, кажется, так пойду. Но 11 марта в заседании «старичков», чествующих Бальмонта, где упоминается мое имя, не буду участвовать: нездоров все еще; не нужно никому; противно профессору; устраивается «по приглашению» и т. д., т. е. — ни для кого, для никого.

15 марта

Произошло много важных событий. Болезнь тети. Дебют Любы в Народном доме. Остального не записываю — все мельче.

18 марта

Вчера вечером скончалась Анна Павловна Философова.

Вчера мы с Пястом ездили на лихаче и пили в «Яре». Я думал, что он заболел серьезно, оказалось, напротив, ему лучше. Я думаю, оттого, что в это ужасное время все сходит на нет, жизнь пробует, как бы кого ухватить за горло.

У Любы завтра дебют в Василеостровском

театре. Бойтся маленькая. Будут две Лизы (в «Горе от ума»).

Третьего дня полдня провела у меня Ангелина. И у нее события. Ее подруга Сергеева живет у них, после того как в часовне Спасителя упала в ноги случайно приехавшему царю и сказала ему: «Царь-батюшка, помилуй святителя». — «Какого?» — спросил царь. «Гермогена». Едва он уехал, шесть сыщиков ухватили ее и стащили и участок. Продержали там недолго — часа три. Г-жа Сергеева — «курсистка» (т. е. Женского педагогического института). «Скоро, скоро», — ответил царь и велел ее ни трогать.

У Ангелины так теперь: «преосвященный Гермоген» — подлинная церковь, тот круг (из образующих новую церковь), к которому «примкнула» она. Гермоген — вполне свят. Илиодор («отец») меньше, но и он. Распутин — враг. Распутин — примыкает к хлыстам. С точки зрения г-жи Сергеевой, Мережковский — тонкое хлыстовство.

Итак: «православнейшие оплоты» — и те покинули Синод и Саблера. Смотря на все это жестко и сухо, я, проезжая на извозчике по

одной из самых непристойных улиц — Сергиевской, думаю: вот и здесь, и здесь — тоже «недовольны», тоже горячо обсуждают, с кем быть, с Синодом или с Гермогеном.

Г-жа Сергеева приводит в ужас мать Ангелины тем, что не ест, спит на полу и т. д. Глупая девчонка, которая живет у них же, стала уважать г-жу Сергееву после разговора с царем.

Г-жа Сергеева — воплощение деятельности. Изнывает в «мирных» (курсовых) делах и вечно стремится к «делу». Вероятно — сильна магией. Показательно то, что магия может уже действовать на самое неподвижное, что есть в мире (т. е. — православная гувернантка из военной семьи, притом не чисто русского происхождения).

19 марта

Дебют Любы (закрытый) в Василеостровском театре.

Женский педагогический институт основан в противовес «крамольным» Высшим женским курсам. К слушательницам относятся как к институткам. Предлоги, первона-

чально — академические (еще в прошлом году — хитрый директор Платонов, созвав слушательниц, объявил: «А если и вы будете бунтовать, то институт закроемся»; «слушательницы» послушались), уже теперь определились явно: институт холит и питает ныне знаменитую г-жу Сергееву (осенью этого года Платонов, пригласив ее, говорил: «Я хочу поделиться с вами духовной радостью: мне поручена постройка церкви...»).

Таким образом, роковым образом, учреждение, основанное для торжества «чистой науки», определилось как учреждение, служащее православию (пустоты быть не может, всякая пустота заполняется немедленно — вот еще разительный пример результатов насаждения «чистых» науки или искусства).

В дело г-жи Сергеевой вовлечена также роковой силою вещей (темная душа отца, темнота происхождения и умственного уровня матери — классной дамы) моя сестра. Сейчас картина «дела»: оно «формируется» в двух кругах:

1) салоны — графиня Игнатьева, кареты, политиканство, всяческая грязь и нечисть,

2) темные буржуазно-прикащичьи гувернантские слои, где «смирение» пахнет погромом во славу божию. То есть давняя, хорошо разделанная почва для российской истерики. Народ безмолвствует.

Генеалогия m-me Блок: военная, серенькая либерально-бездарная среда (артиллерия — то место, где «военный — штатский» всю жизнь колеблется между правостью и левостью); происхождение — частью английское (т. е. подонки Англии, русские гувернеры, великая сухость и *безжалостность* души, соединенная с русским малокровием).

Эта крошечная фигурка обладает упрямством, может быть действенным. По крайней мере недаром в этой квартире спит на полу г-жа Сергеева и произносит погромные речи казаковатый брат Илиодора.

Нет, отсюда нельзя ждать ничего, кроме тихого сначала, а потом кровавого ужаса. Последние цели Гермогена (или тех, кто им движет, если уж сам он действительно — «божия коровка», которая, по христианской легкости, портит себе карьеру и страдает, т. е. — не лучше ли сказать — созидает себе карьеру ценою

того, что трусливый Саблер, пресмыкаясь от ужаса, вынимает вьюшку из его печки, — был такой факт) — опрокинуть тьму XVII столетия на молодой, славно начавшийся и изменившийся с первых шагов XX век.

Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономической» культуры, чем ужас призраков — времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым перед неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас *реальности*. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете.

Если Ангелина может *ковать свою жизнь* (а может ли женщина?), то спасение ей из лап все того же многоликого чудовища — естественный факультет Высших женских курсов. Из огня нужно бросаться в воду, чтобы только потушить тлеющее платье, чтобы протрезвиться. Сам бог поможет потом увидеть ясное *холодное* и хрустальное небо и его зарю. Из черной копоти и красного огня — этого неба и этой зари не увидеть.

А может быть, *все равно*, к восстановлению патриаршества или нет, подкрадывается 1912

год? И там, не только в синодальной церкви, бога уже нет. — *«Глас хлада тонка».*

Днем — я на панихиде по А. П. Философовой (опять звероголосование попов); встретил на улице Ремизова, потом с тетей у мамы. К обеду — домой. Бу говорит (уверяет), что провалилась на дебюте. Получит письмо.

Книга новых стихов от Брюсова (отозвались прежней сладостью и болью).

20 марта

Оттого ли, что стихи мои появились в «Знании» и будут в «Заветах», — только последние дни замечается приток разных присылаемых мне сборников стихов (Ада Чумаченко, Шульговский, Мейснер...). Как все-таки люди постоянно держат нос по ветру.

Вчера вечером передо мной пьяный на Большом проспекте на всем ходу соскочил с трамвая, но не вниз (как трезвые), а вверх (как пьяные). Оттого, как упал, так и остался лежать, — и струйка крови текла по лбу. Еще жив, кажется.

24 марта, «Страстная суббота»

«Собирают мнения писателей о самоубийствах. Эти мнения будут читать люди, которые несколько не собираются кончать жизнь. Прочтут мнение о самоубийстве, потом — телеграмму о том, что где-нибудь кто-нибудь повешен, а где-нибудь какой-нибудь министр покидает свой пост и т. д. и т. д., а потом, не руководствуясь ни тем, ни другим, ни третьим, пойдут по житейским делам, какие кому назначены.

В самом деле, почему живые интересуются кончающими с жизнью? Большею частью по причинам низменным (любопытство, стремление потешить свою праздность, удовольствие от того, что у других еще хуже, чем у тебя, и т. п.). В большинстве случаев люди живут настоящим, т. е. ничем не живут, а так — существуют. Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее, знают, что десятки видимых причин, заставляющих людей уходить из жизни, ничего до конца не объясняют; за всеми этими причинами стоит одна, большинству живых не видная, непонятная и не интересная. Если я скажу, что думаю, т. е. что причину эту

можно прочесть в зорях вечерних и утренних, то меня поймут только мои собратья, а также иные из тех, кто уже держит револьвер в руке или затягивает петлю на шее; а „деловые люди“ только лишний раз посмеются; но все-таки я хочу сказать, что самоубийств было бы меньше, если бы люди научились лучше читать небесные знаки».

Так я и пошлю мальчишке — корреспонденту «Русского слова» (если он спросит еще раз по телефону), который третьего дня 2,5 часа болтал у меня, то пошло, то излагая откровенно, как он сам вешался; все — легкомысленно, легко, никчемно, жутко — и интересно для меня, запрятавшегося от людей, у которого голова тяжелее всего тела, болит от приливов крови — вино и мысли.

Вечером третьего дня пришел Пяст. С ним — главное, о том, что делать. «Как тонкая игла сквозь студенистую массу». Да, сквозь все «фальшивые купоны» (Толстой) проходить можно *только* собственной тяжестью, весом.

Потом мы с Бу поехали к Ремизовым (Бу получила отказ от Общества трезвости, у Ре-

мизовых говорит с Зоновым о Незлобинском театре). Алексей Михайлович сообщил еще много нового о Гермогене и Распутине — все больше выясняется; становится наконец понятным — после газетного вздора. Все дело не в том, что Гермоген «разворовал монастырь» и прочее *нежизненное*, а в том, что Гермоген (и Распутин) — действительно *крупное* и... *бескорыстное*. Корысть — не их. Корысть — в океане мистики, который захлестнул и их, и двор, и все высшие классы. Если исход из этого — только столь же ненужное «патриаршество», то это еще с полбеды.

Алексей Михайлович убеждает писать балет (для Глазунова, который любит провансальских трубадуров XIV–XV века?!) — либретто. На третий день Пасхи будем говорить у Ремизова с Терещенкой (киевский миллионер, «чиновник особых поручений» при «директоре императорских театров», простой, по словам Ремизова, и хороший молодой человек). — Письмо от Скворцовой.

Вчера: груда книг («Труды и дни» № 1 — пока сомневаюсь... От Балтрушайтиса сборник; журналы). Послание в стихах от Вл. Гиппиуса.

Ночью — кошмар, кричу. Темные, черные эти «страстные» ночи, с каждым годом — труднее они, и «праздники». Холодно.

Вчера около дома на Каменноостровском дворники издевались над раненой крысой. Крысу, должно быть, схватила за голову кошка или собака. Крыса то побежит и попробует зарыться под комочек снега, то упадет на бок. Немножко крови за ней остается. Уйти некуда. Воображаю ее глаза. То же, что тот человек, упавший, прыгая с трамвая, только жалче, потому что — беспомощней. На эту крысу иногда бывает похож Ремизов. Был похож, вероятно, особенно тогда, когда полночи носил на руках Наташу и баюкал, а потом выбежал с пожара в одном белье, и швейка накинула ему на плечи шелковую кофточку (мороз 22 градуса и ночь в провинции). Тогда писались «Часы». — Все ходит, и сейчас пришел, тот «литературный нищий». Все это — одно, одно: Пасхальное, «святая пасха», господи боже мой!

Наконец прислали три экземпляра «Снежной ночи». Снес ее маме. К 12-ти пошел к Петру, встретил там Пяста. Мороз, черные толпы,

полиция, умирающие архиереи тащатся, шатаясь, по мосткам между двумя шпалерами конных жандармов. Все время слышна команда. Петр и собор в белых снежных пятнах, пронзительный ветер, Нева вся во льду, кроме черной полыни вдоль берега, — тяжелая, густая вода. — Вернулся к Бусе «разговляться».

25 марта

Обедал у мамы, — милый Е. О. Романовский, которого я не видал девять лет. Гуцин. Остальное — не стоит. Тяжело и скучно.

26 марта

Днем — острова, очаровательная мещанка в конке. Возвращаюсь — Кузьмин-Караваев (рассказы о Витте и т. д. — страшно, что делается с Кузьминым-Караваевым). Вечером — Художественный театр: Тургеневский спектакль (в маминой ложе): раздирающий «Нахлебник» (беспросветно; вечное: все люди делятся... неприспособленные — нахлебники). Из актеров — вполне настоящий один Станиславский (в «Провинциалке»). Осталь-

ные нигде не поражают (Артем очень хорош. Качалов делает глазки, от него уже пахнет «jeune ргеппег'ом»...[55]). — Руманов рассказывает о мерзости, произведенной на границе с только что вернувшимися Мережковскими. Дмитрий Сергеевич успел спросить его, вышло ли что с Блоком? Узнав, что все еще ничего, — огорчился.

Преобладающее чувство этих дней — все растущая злоба.

29 марта

27-го «Живой труп». Все — актеры, единственные и прекрасные, но — актеры. Один Станиславский — опять и актер и человек, чудесное соединение жизни и искусства. А цыгане — разве это цыгане? Нет, цыгане не таковы. После спектакля я у Ремизова — разговор с Терещенкой о балете для Глазунова. О самоубийстве — мы с Ремизовым поняли друг друга. Как же *это* писать в «Русское слово»?

28-го — днем у мамы — хороший разговор. Вечером цирк и прочее.

Сегодня отвечаю Н. Н. Скворцовой, что: «все не так, слова ее — покров, не знаю над

чем. Мир прекрасен и в отчаяньи — противоречия в этом нет. Жить надо и говорить надо так, чтобы равнодействующая жизни была истовая цыганская, соединение гармонии и буйства, и порядка и беспорядка. Иначе — пропадешь. Душа моя подражает цыганской, и буйству и гармонии ее вместе, и я пою тоже в каком-то хору, из которого не уйду».

30 марта

Сочиняю балет, почти ничего о трубадурах не нахожу у букинистов. Кухарка больна, сами всё делаем. Вечером — мама, тетя и Женя.

1 апреля

А. В. Руманов — совершенно растерзанный, с переменами в жизни; все очень хорошо. Два письма от Н. Н. Скворцовой и мой ответ с Николаевского вокзала.

5 апреля

Эти дни: «Гамлет» в Художественном театре (плохо). Письмо от Н. Н. Скворцовой, боюсь за нее. Вчера в «Тропинке» с мамой. Гибель Titanic'a, вчера обрадовавшая меня несказан-

но (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело.

6 апреля

Почти жарко днем, душно в квартире. В первый раз — легкое пальто и палка — особая страна. Ночью — тяжелые сны и думы. В 5 ч. дня приехали Терещенко с Ремизовым в автомобиле, ездили на Стрелку, потом Алексей Михайлович обедал, вечером пришел Женя, с которым мы говорили путано, но не трудно. «Моя правда», — говорит он, — без веры в Христа прежде и без Христа в сознании теперь, но правда моя — консервативная, я стою на месте. Вечером я проводил его до трамвая, воздух отрадно прохладен, звезды, тихо, и на сердце тише.

От Н. Н. Скворцовой письмо — тише. Все-таки боюсь за нее, опасно с ней.

9 апреля

Сегодня я получил 90 экземпляров «Снежной ночи». Обедал Д. В. Философов, рассказал все трудное положение их дел. Хорошо говорили.

10 апреля

Утром — В. П. Веригина — хорошая, милая, но актриса и болтушка. В 5 ч. приехал Терещенко, катал нас с Ремизовым по островам, потом обедали у нас. Люба повита к своим, а я отвез Алексея Михайловича домой, а сам приехал к Пясту, с которым проговорили до 3-го часу ночи — тяжело. Я устал страшно.

11 апреля

Сегодня весь день телефонные недоразумения с Терещенко, Глазунов не мог принять, назначил завтра. Вечером я пошел в тоске нить, но в ресторане сидел милый Сапунов. Так и проговорил с ним — было скучно и ему и мне. Он придет скоро обедать, хочет меня рисовать.

Какая тоска — почти до слез. Ночь — на широкой набережной Невы, около университета, чуть видный среди камней ребенок, мальчик. Мать («простая») взяла его на руки, он обхватил ручонками ее за шею — пугливо. Страшный, несчастный город, где ребенок теряется, сжимает горло слезами.

13 апреля

Протрезвление после вчерашнего пьянства. Поздно вечером пришел Пяст, опять необходимые и хорошие, слава богу, речи. Завтра он едет в Стокгольм, где Стриндберг, может быть, умирает (рак в желудке).

17 апреля

Эти дни — много книг, писем и разговоров. Терещенко, который с каждым разом мне больше нравится, Ремизов, Е. Е. Соловьева (приглаш<ала> на литературный вечер), А. Мазурова, у мамы — П. С. Соловьева и Латкин.

Наконец отвечаю Боре о «Трудах и днях».

Соображения попутные, (не из письма): утверждение Гумилева, что «слово должно значить только то, что оно значит», как утверждение — глупо, но понятно психологически, как бунт против Вяч. Иванова и даже как желание развязаться с его авторитетом и деспотизмом. В. Иванову свойственно миражами сверхискусства мешать искусству. «Символическая школа» — *мутная вода*. Связи quasi-реальные ведут к еще большему рас-

пылению. Когда мы («Новый путь», «Весы») боролись с умирающим, плоско-либеральным псевдореализмом, это дело было реальным, мы были под знаком Возрождения. Если мы станем бороться с неопределившимся и, может быть, своим (!) Гумилевым, мы попадем под знак вырождения. Для того чтобы принимать участие в «жизнетворчестве» (это суконное слово упоминается в слове от редакции «Трудов и дней»), надо воплотиться, показать свое печальное человеческое лицо, а не псевдо-лицо несуществующей школы. Мы — русские.

Письмо от Городецкого. Письма Боре, Миролюбову. Вечером — Руманов и живой с ним разговор о его делах человеческих сначала, а потом о газете (будущей), на которую он возлагает особые надежды.

18 апреля

Весь день дома, ночью простудился от форточки, в эти холода (ладожский лед) опять проклятая квартира стала нестерпима. Ноты от Гартевельда, письмо от Терещенки, который тоже простужен и не может сегодня ка-

таться с нами. Вечером жду маму. Она приехала с Францем.

21 апреля

Страшный насморк, охрип, едва читаю на вечере в Петровском училище. Посматривал на Н. А. Морозова — странный. Много милого, кой-что неприятное, в общем — ни к чему. Письма, люди.

22 апреля

Днем — Гюнтер. Вечером — Женя и Кузьмин-Караваев. Я измучен.

23 апреля

Днем у мамы. Вечером — Княжнин, до поздней ночи, много хорошего.

25 апреля

Обедал и весь вечер провел у меня Б. А. Садовской.

26 апреля

Утром пришла Ангелина, потом — ее мать. С Ангелиной мне было хорошо. Потом при-

шла мама, обедала — хорошо.

1 мая

Много людей, писем и выпитого вина за эти дни. На днях у мамы — вечер с Поликсеной Сергеевной, которая собирается в Шахматове, и с Натальей Ивановной Манасеиной. — Вчера мама обедала, потом приехали М. И. Терещенко и А. М. Ремизов. Катались на Стрелку и говорили о театральной школе, пантомиме, Станиславском. Потом Терещенко привез нас домой, Алексей Михайлович рассказывал нам свой прекрасный балет. Вечером, мама еще не ушла, — пришел Пяст, приехавший из Стокгольма, привез мне портрет Стриндберга и подробные рассказы о его дочерях и зятях.

Мысли печальные, все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны, хуже времени нет. Боязнь за Женю.

Все еще холодно, есть лед на Неве, в Сестрорецком курорте слабые почки на сирени, в Петербурге трава пошла сильно только вчера, сегодня опять — холодный и мокрый туман.

3 мая

1-го мая (по русскому стилю) в 4 часа 30 минут дня Август Стриндберг скончался.

В этот день я весь день работал, а вечером был в цирке на борьбе. Шел проливной дождь — весь день. В городе происходили рабочие демонстрации.

Вчера — веселый день настоящая весна, мое гуляние. Пришел первый номер «Заветов» (уже конфискован).

Сегодня утром пришел Пяст, читал свою стокгольмскую статью. После завтрака пришел Женя. К 4-м часам должен был быть у Терещенки с Глазуновым, но Глазунов в последнюю минуту опять отменил.

В 5-м часу приехали Терещенко и Ремизов, отвезли меня к Терещенке, там сидели мы, я вяло и нудно, как почти все, что теперь делаю и чувствую, изложил канву своего балета. Терещенко дал несколько хороших советов: вместо «злодея» должен быть умный и смешной человек, который не «отсюда», он, родившийся на юге, ненавидит его вечного праздника и молодости и красоты *clietelaine*[56] и связан с северным рыцарем нитями «друидическими» (мое)... (?)

Clotelaine слушает возникающую постепенно в ее памяти любимую ноту рыцаря, которого она ждет и зовет, и которая звучит полностью только с его прибытием...

После тяжелого впечатления (но милый и хороший М. И. Терещенко, тяжесть лежит во мне) — я проводил А. М. Ремизова домой и все в том же автомобиле, пышном и неудобном, приехал с Таврической обедать к маме. Провели вечер все вместе с тетей и с Феролем, вернулись поздно домой, озябли, устали, жить трудно. Днем было жарко, а ночь опять холодная.

Люба учит, что теперь надо работать, «корпеть», уже ничто не дастся «даром», как давалось прежде. Правда, попробую, попытаюсь; А. М. Ремизов такой желтый, замученный. И все так. Маме тяжело, тетя усталая, всем трудно. Пройдет, пройдет (ли) это время. Все несчастны — и бедные и богатые. Беллетристика «Заветов» посвящена описаниям мучений человека — многообразных.

4 мая

Утром — большое письмо от Бори (о Штейн-

нере). Днем — «Сог ardens» от В. Иванова с надписью в стихах. Обедал И. А. Новиков — милые речи.

10 мая

Вчера снес я в «Современник» статью о Стриндберге, которую писал эти дни, и стихотворение. Садовской познакомил с Ляцким. Непривычка к людям, мелкие неприятности, впрочем очень мелкие. Пустыня редакции. Я начал было говорить Ляцкому вещи, явно обличающие то, что я спутал его с Лемке! По существу, ведь это не очень несправедливо. На моем упоминании о журнале «Книга», когда я уже почувствовал крайнюю неловкость (и он тоже... а у меня зашел ум за разум...), к счастью моему, секретарь отвлек его деловым разговором.

Ищу безуспешно квартиру. Бываю у мамы. Пью. Маленькая большей частью отчуждена от меня своим театром, массажисткой, присяжными поверенными и кредиторами своего брата.

Много событий эту неделю. Ездили на автомобиле с мамой и Францем в день «корсо»

на Елагином острове. Обедали у Аничковых с Ремизовым. Аничков дал мне много полезных указаний и книг. Нашли квартиру. Люба уезжает на днях — в Териоки.

Этот отравившийся — маленький актер (*Боровский*) из Любиной труппы.

Работается лучше (опера, Стриндберг). Сегодня жду Пяста. Жары сменились свежестью, черемуха цветет. С Пястом — очень хороший вечер. Сначала — о Териокском театре, где он будет принимать участие, о том, о сем. После чаю — чтение Бориного письма — о Штейнере.

18 мая

День упадка сил. Трудно приняться за работу. Вечером была у меня Ангелина, оба мы устали, ночью я проводил ее пешком до дому: серо-синяя ночь после дождя.

Днем приходил Мгебров, долго мы с ним говорили, а обедал я у Философова, сначала было хорошо, а потом мы провели длинный и тягостный вечер, бродя по Троицкому мосту и прочим пустыням и не зная, о чем говорить.

21 мая

Обедали у мамы с Женей и Т. Н. Гипшиус. Прислуги у нас опять нет. Новое письмо от Бори (о Докторе — с большой буквы).

22 мая

Ужас после более или менее удачной работы: прислуга. Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно ужасное. Лицом — девка как девка, и вдруг — гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с *неизвестными* низшими формами (в мужиках это бывает вообще, вот почему в Шахматове тоже не могу ехать). Можно снести всякий сифилис в человеческой форме; *нельзя* снести такого, что я сейчас видел, так же как, например, генерала с исключительно жирным затылком (Коноплянников). То и другое — одинаковое вырождение, внушающее страх — тем, что человеческое связано с *неизвестным*.

Жена моя, актриса, этого не понимает и не хочет знать. В маминой прислуге есть тоже нечто ужасное.

Придется сегодня где-нибудь есть, что, увы,

сопровождается у меня пьянством.

Так, совершенно последовательно, мстит за себя нарождающаяся демократия: или — неприступные цены, воровство, наглость, безделье; или — забитые существа неизвестных пород. Середины все меньше, вопрос о «прислуге» «обостряется», т. е. прислуги не будет просто, и чем больше у нас потребностей, тем больше их удовлетворять придется... самим.

Мои «эгоистические» наблюдения. Да, я очень «занят собой». Ничего не поделаете.

Найти выход из западни сейчас. По-видимому, покинуть квартиру, которая в течение двух лет постепенно заселялась существами, сначала — клопами и тараканами, потом — этим.

28 мая

Сегодня ночью наконец, накануне отъезда Любы, несказанный сон, в котором в первый раз связаны Люба и мама. Сон хватания за убегающую жизнь, боязнь жизни вообще, мучения и унижения последних дней, страшная тяжесть, но за ней — несказанное и великое.

Почти нельзя описать: Франц выписывает

из-за границы какого-то «запрещенного» пана, и мы с мамой (или с Любой?) везем его ночью по трясучим проселкам куда-то сюда. Впереди нас на низких санках сидит не то сам этот пан, не то возница, старенький старичок, еле везет, попадает во все ухабы и вывихивает нервы, так что я бью его палкой; после этого сидящая рядом со мной (не то Люба, не то мама) ударяет его тоже палкой по голове, так что он пригибается, а я кричу с иступлением отчаянья и с восторгом жалости: «Не смей бить старика!» Потом мы приезжаем к какому-то огорку, выходит Франц и что-то кричит, чего пан должен слушаться.

Сон, сплетенный с вихрем каких-то других, посторонних; наиболее ясно только то, что я написал: жалость и юность — обе раздирающие. Ночь, возок, пустыня, «страшно» (потому что пусто), и со мной — мать и жена: в одной.

После нескольких дней бесприслужья — какая-то девчонка, умеющая сносно готовить, будущая горничная Мережковских (от Таты).

Вчера вечером мы вчетвером (Люба, мама, Франц и я) — в «Аквариуме».

Люба все эти дни носилась и хлопотала.

Сегодня бестактная заметка в «Речи» о Териокском предприятии, где пропущены Веригина, Мгебров и др. «настоящие» актеры, а упомянуты Мейерхольд, Кульбин, Пронин, я (!) и Люба... Кто давал заметку? — Любе она неприятна. И с какой стати упоминать ее, ничего еще не сделавшую? Да еще в качестве «жены поэта».

— ...Переменилось много в духе предприятия, как мне кажется. Вначале они хотели большого идейного дела, учиться и т. д. Но не знали, были впотьмах, бродили ощупью.

Понемногу стали присоединяться предприимчивые модернисты, и, как *всюду теперь*, оказались и талантливymi и находчивymi, быстро наложили свою руку и... вместо **БОЛЬШОГО** дела, *традиционного*, на которое никто не способен, возникло талантливое декадентское **МАЛЕНЬКОЕ** дело. Тут нашлись и руки и пафос. *Речи* были о Шекспире и идеях, *дело* пошло прежде всего о мейерхольдовских пантомимах, Кузмин с Сапуновым сватают Кроммелинков и т. д., - до чего дойдет, посмотрим, не хочу осуждать сразу.

К вечеру. В 4.30 маленькая уехала. Я с великой тяжестью провожал ее на вокзал (тут же — Мейерхольд и А. П. Иванов), потому что перед отъездом было невыносимо — оба мы «нервные». Смотрел, пока поезд не повернул, и маленькая смотрела.

С вокзала поехал к маме обедать, там обедал Женя, потом пришел Е. О. Романовский. В 10-м часу я ушел, в Мойке баграми шарили утопившегося, так и не нашли, бросили, городской сказал: сам всплывет.

Печальное, печальное возвращение домой. Маленький белый такс с красными глазами на столе грустит отчаянно. Боюсь жизни, улицы, всего, страшно остаться одному, а еще и мама уедет.

30 мая

Вчера — работал небезуспешно, обедал у мамы, простился с ней (тягостно, тягостно). Сегодня не буду провожать ее на вокзал,[57] вечером поеду с Пястом в Царское Село — кататься с Женей втроем на велосипеде.[58]

Что я литературного делал и писал до июня 1912 года (кроме мелких стихов):

1) Автобиография Венгерову — не дописано (в январе).

2) Предисловие к дневнику Соколовой (в январе) — не напечатано (2 экземпляра на пишущей машине — 1 экземпляр у Руманова). Сюда же относятся наброски впечатлений от самой Соколовой.

3) «От Ибсена к Стриндбергу» (апрель). — «Труды и дни», № 2 (май).

4) «Памяти Стриндберга» (май) — «Современник», № 5 (май).

5) Опера (сначала — балет) — апрель, май и т. д.

6) Корректуры и примечания к «Снежной ночи» (февраль, март).

7) Составление книжечек детских стихов для Сытина.

Что должно быть сделано:

Опера (Балет?)

Поэма!..

Стриндберг — для «Трудов и дней» (к августу).

Новое издание «Театра» (с «Песней Судьбы»).

НЯ. Новая петербургская газета (Сытина).

Судьба «Действа о Теофиле»...

План (давнишний): Грибоедов (моя работа о нем — у Венгерова. Заметки в записной книжке).

1 июня

Вчера — письмо от маленькой и работа. Сегодня письмо от мамы (с Подсолнечной), некоторая работа. Днем Руманов (о детских книжках, о Мережковских, о катании «Биржевых ведомостей» «по Сене», о Ясинском).

2 июня

Вечером у Ремизова — хорошо.

3 июня

Весь день составлял детские книжки для Сытина. К вечеру поехал на открытие спектаклей в Териоках. Оно, оказывается, опять отложено. Их дача, парк и море. Богема. Репетиция. Много хорошего. Посмотрим. Маленькую привез я с собой.

4 июня

Маленькая опять поехала.

Устраивая (стараясь...) дела А. М. Ремизова, которому нужны эти несчастные 600 рублей на *лечение и отдых*, притом *заработанные*, начинаю злиться.

Руманов — я уже записываю это — систематически надует: и Женю, и Пяста, теперь — Ремизова. Когда доходит до денег, он, кажется, нестерпим. Или он ничего не может, а только хвастается? Купчина Сытин, отваливающий 50 000 в год бездарному мерзавцу Дорошевичу, *систематически* задерживает сотни, а то и десятки рублей подлинным людям, которые работают и которым нужно *жить* — просто. Такова картина. Или Руманов врет все и действительно только на службе у купца, а повлиять на дурака и жилу не может?

Пишу Руманову, *упрашиваю* его.

Вечером — в Зоологическом саду — борьба.

5 июня

Письмо хорошее от мамы. — Пришел Городецкий, которому я переписал три векселя. Завтра он уезжает с женой в Италию. Некоторая недоуменность чувствуется между нами. — Весь день работал (1-е действие).

6 и 7 июня

Утром 6-го работал хорошо (кончил вчерне 1-е действие). Потом — закатился, встреча с Л. Андреевым, Сапуновым — и ужасно проведенные сутки. 7-го вечером — Пяст и Ивойлов (пришли).

8 июня

Все еще Katzenjammer. Работал туго. После обеда пришел Руманов, с которым был тяжелый разговор о положении А. М. Ремизова. Он обещал... Не знаю, что из этого выйдет. — Вечером я пошел навестить Сапунова, с ним посидели на поплавке, потом пришли я пили у меня чай.

11 июня

Я все еще не могу вновь приняться за свою работу — единственное личное, что осталось для меня в жизни, так как ужасы жизни преследуют меня пятый день — с той злополучной среды (6 июня). Оправлюсь — одна надежда. Пока же — боюсь проклятой жизни, отворачиваю от нее глаза.

В субботу моя милая играла в первый раз: в пантомиме я принял за нее другую, а в интермедии Сервантеса она была красива, легко держалась на сцене, только переигрывала от волнения. Вся поездка была тяжела, почти все люди, кроме Пяста, были более или менее подозрительны ко мне.

После спектакля, от которого мне, в общем, было тяжело, мы с моей милой прошли немного по туманному берегу моря (над ним висел красный кусок луны). Потом опять я стал одинок, и стало мне опять не переварить этой пакости, налезшей на меня.

Сегодня был сильный дождь, я разбираю письма, вдруг приехала моя милая, было так хорошо. Пришел Франц, посидел немного. Я милую проводил на вокзал, до слез люблю ее.

Может быть, пройдет скоро эта мерзостная, вонючая полоса жизни, придет другая. Боюсь жизни.

12 июня

Сегодня — одинокий, душный день, налаживание работы, вечерние поиски простокваши. Письмо от мамы, вечером не застал меня

Пяст.

13 июня

Работа не идет. Днем шляюсь — зной, вонь, тоска. Город провонял. Письмо от Бори — спокойное — из Франции. Вечером — у Пяста, где — Мандельштам.

14 июня

Письма от А. М. Ремизова (с портретом Стриндберга), который сегодня уезжает, и от Верховского, который скоро приезжает. Номер «Аполлона» (5); письмо от Ангелины. Днем — в духоте квартиры, полной тараканов, без дела.

Обедают у меня Женя и Александр Павлович. Ночью отношу на вокзал письмо милой.

Меня звали по телефону в Териоки Кузмин, Сапунов и К°, желающие устраивать в Петров день «Карнавал». Все идет своим путем. Скоро все серьезное будет затерто, да и состоится ли еще? Публика способствует этому весьма; за пантомимы выручили 200 рублей, а за Гольдони... 30! Я не возмущаюсь этим, все люди должны делать то, что им

предназначено; меня заботит только, как атмосфера, в которой мне нечего делать, отразится на моей милой.

Ночью (почти все время скверно сплю) ясно почувствовал, что если бы на свете не было жены и матери, — мне бы нечего делать здесь.

15 июня

Днем работал. Около обеда пришел Кожебаткин и принес ужасную весть: вчера ночью Сапунов утонул в Териоках — перевернулась лодка.

16 июня

Получил от милой описание гибели Николая Николаевича <Сапунова>. Поеду в Териоки.

Городецкий, опоздавший прислать вексель в банк, заставил меня даром прошляться на Невский — утро потеряно, но все обошлось благополучно.

Решив, что день пропал все равно, я поехал на квартиру, откуда эти непорядочные люди, по-видимому, не увезут мебели к сроку,

и еще придется портить много крови и на этом. Под тяжелым впечатлением вновь наваливающейся пакости поехал в Териоки. Маленькая моя играла светскую старуху в очень пошлой комедии Уайльда; спектакль, в котором чувствовалась работа, хотя и очень короткая, был весь опять ни к чему. Измучили окружающие люди, вечно спрашивающие о чем-то, когда я хотел бы видеть мою милую один и чтобы она не знала, что я на нее смотрю. После спектакля мы опять прошли чуть-чуть по берегу моря, в котором лежит тело Сапунова, окрестили друг друга. До Петербурга я ехал с Голубевым, который говорил, что не верит в театр и собирается бросить его. Как многие, — в тупике. — Я устал от всего этого очень.

17 июня

Письма от Руманова и от Верховского, который приехал. Надо бы сократить количество людей. Я совершенно измучен. — И сейчас же я сокращаю, рассылая письма с откладываниями, и т. д.

18 июня

Утром налаживал квартирные дела. Отдых. Вчера бесконечно бродил в Екатеринингофе, потом плелся по Летнему саду изможденный и вдруг почувствовал, как глаза заблестели и затуманились от этих слов:

*Зажим был так сладостно
сужен,
Что пурпур дремоты поблек, —
Я розовых, узких жемчужин
Губами узнал холодок.*

*О, сестры, о, нежные десять,
Две ласково-дружных семьи,
Вас пологом ночи завесить
Так рады желанья мои...*

*Мои — вы, о дальние руки,
Ваш сладостно сильный зажим
Я выносил в холоде скуки,
Я счастьем овеял чужим.*

19 июня

Я болен, в сущности, полная неуравновешенность физическая, нервы совершенно расшатаны. Встал рано, бодрый, ждать милую, утром гулял, потом вернулся и, по мере

того как проводили часы напрасного ожидания, терял силы и последнюю способность писать. Наконец тяжелый сон, звонок, просыпаюсь, — вместо милой — отвратительная записка от ее несчастного брата. После обеда плетусь в Зоологический сад, посмотрев разных миленьких зверей, начинаю слушать совершенно устаревшего «Орфея в аду» — ужасная пошлость. Не тут-то было — подсаживается пьяненький армейский полковник, вероятно добрый, бедный, нищий и одинокий. И сейчас же в пьяненькой речи его — недоверие, презрение к штрюку («да вы мущина или переодетая женщина», «хорошо быть богатым человеком», «если бы у меня деньги были, я бы всех этих баб...», «пресыщенный вы человек» и т. д. и т. д.) — т. е. *послан еще преследователь*. В антракте вышел я и *потихоньку ушел* из сада, не дослушав, — и знак был: уходи, доброго не будет, и потянуло, потянуло домой... Действительно, дома на столе телеграмма милой: «*Приеду сегодня последним поездом*», и нежное, нежное письмо бедного Б. А. Садовского, уезжающего лечиться на Кавказ. — «И вот я жив и говорю с тобой», друг

мой, бумага.

Полковник, по-старинному, прав, но полковников миллионы на свете, а я *почти* один; что же мне делать, как не бежать потихоньку в мой тихий угол, если он есть у меня; а еще есть пока. *Только здесь и отсюда* я могу что-нибудь *сделать*. Не так ли?

Тебя ловят, будь чутким, будь своим сторожем, не пей, счастливый день придет.

Ночь белеет, сейчас иду на вокзал встретить милую. Вдруг вижу с балкона: оборванец идет, крадется, хочет явно, чтобы никто не увидал, и все наклоняется к земле. Вдруг припал к какой-то выбоине, кажется, поднял крышку от сточной ямы, *выпил воды*, утерся... и пошел осторожно дальше. *Человек*.

Конечно, напрасно я радовался заранее. Тяжело и неопределенно с моей милой. Проводил ее сегодня, опять она поехала. Вечером в тоске встретил Л. П. Иванова, затащил его пить чай, он помог мне скоротать сегодняшней вечер, который не знаю чем бы кончился. Господь с тобой, моя милая. Завтра попробую работать.

23 июня

Вчера вечером тихо гуляли с Пястом. Необычайный, настоящий запах сена между Удельной и Коломягами. Сегодня утром — немногочисленная и трогательная панихида по Сапунове — в *том самом* темном углу Исаакиевского собора. Оттуда — я на квартире, где ремонт идет, и сволочь, жившая там, выселена. Потом зашли к Руманову (может быть, последний раз, на Морской, если он сделает то, что хочет делать), он отвез меня на крышу Европейской гостиницы и угостил завтраком. Сытин уже печатает мои детские книжки. — У меня уже записаны вчерне два действия (три картины), остается одно последнее, мелочи, песни, имена и т. п.

Сегодня — день пропачий для работы. Утром — письмо от милой. В заключение дня я напился.

24 июня

Вчера милая не играла, а сегодня играет главную роль в пьесе Шоу («Доходы мистрис Уоррен»), смотреть не советует и я не поеду.

26 июня

В моей жизни все время происходит что-то бесконечно тяжелое. Люба опять обманывает меня. На основании моего письма, написанного 23-го, и на основании ее слов я мог ждать сегодня или ее, или телеграмму о том, когда она приедет. И вот — третий час, день потерян, все утро — напряженное ожидание и, значит, плохая подготовка для встречи. Может быть, сегодня она и не приедет совсем.

Бу приехала сейчас же. Покушала чаю, и мы осмотрели квартиру, выбрали обои, вечером, перед ее ванночкой, я читал ей свою оперу, ей понравилось. Она сказала, что это — не драма, а именно опера, для драмы — мозаично. Это верно. Меня ввел в заблуждение мой несчастный Бертран, в его характере есть нечто, переросшее оперу.

27 июня

Утром милая занималась делами, а вечером опять уехала, я проводил ее на вокзал. Писал Терещенке.

28 июня

Вечером — у Верховского, живущего у Каратыгина. Вечером туда пришел, сегодня неожиданно приехавший, А. М. Ремизов. Вслед за ним — Гершензон. Сидели тихо — все больные.

29 июня

К вечеру с Верховским поехали в Териоки. «Поклонение кресту». Милая не играла, вместе смотрели. Утомительный спор с Кульбиным у моря на лодке в тумане. Возвращались с Верховским и с Пястом. Игра (Мгеброва и Чекан), декорации — ширмы, занавес с разрезами, по нему — гирляндой кресты. Частью — хорошо.

Ночь на 3 июля

Проснулся на рассвете Прохлада и острота мыслей после дней пьяной болезни и жары. Купальный халат шевелит кровь.

В Териокском театре стоит говорить о трех актерах: Л. Д. Блок, Мгеброве и Чекан.

В моей жене есть задатки здоровой работы. Несколько неприятных черт в голосе, неумение держаться на сцене, натружен-

ность, иногда — хватание за искусство, судорожность, когда искусство требует, чтобы к нему подходили плавно и смело, бесстрашно обжигались его огнем. Все это может пройти. Несколько черт пленительных: как садится, как вертела лорнет, все тот же изгиб руки, какое-то прирожденное изящество нескольких движений, очаровательное произношение нескольких букв, недоговоренность. Хотел бы я видеть ее в большой роли.

Нет, все-таки я усталый и больной.

Мгебров и Чекан, одно и то же теперь. В Мгеброве — роковое, его судьба подстерегает. Крайний модернизм, вырождение, страшная худоба и неверность ног, бегают как каракатица. В монологе «Мое рождение было странно, я — *Эусебио Креста*» (произнес неправильно, как когда-то Коммиссаржевская, — запомнилось) — очень благородные ноты. Игра Мгеброва и очень красивые ноты в голосе Чекан — *о себе*. Они интересны оба, и оба, может быть, без будущего, — что останется им делать, когда молодое волнение пройдет. Чекан — обыкновеннее, как женщина. А такого сына, как Мгебров, обреченного, с ярким талантом,

который, может быть, никогда не разовьется, можно любить. Его мать ходит, злясь на всех, по-моему, и я это понимаю. В первом действии *Кальдерона* (!), где играли лучше всего, — Мгебров и Чекан подчеркивали свои отношения, ввели мотив танца апашей. Итак: Кальдерон 1) в переводе Бальмонта; 2) в исполнении модернистов; 3) с декорациями «более чем условными». И *ОДНАКО* — этот «католический мистицизм» *БЫЛ* выражен, как едва ли выразили бы его обыкновенные актеры.

Утро. Сейчас прочел об аресте Туманова.

Внезапно, когда я писал письмо маме, приехала милая, милая. Мы провели день свято, я проводил ее на вокзал; вечером пришел Пяст — и загуляли.

17 июля

Многое: Шахматове, Терещенко у меня, чтение оперы маме, тете и ему, Стриндберг в Териоках, купанье в Шуваловском озере с Пястом. Все описано в письмах к маме, повторять здесь не стоит.

18 августа

Возвращение в Петербург. События: 24 июля — переезд на Офицерскую. Пустая жизнь.

8 августа — в Шахматове.

13 августа — Подсолнечная, Москва.

14 августа — Москва — Шахматове, *встреча с милой — около Осиповки.*

17 августа — ровно с тем же поездом, с каким 9 лет назад, и в отдельном купэ мы с милой едем в Петербург.

21 августа

Приехала мама... Все следующие дни — мама, я обедаю у нее. Вечером Пяст (уже три раза.)

28 августа

Вечером Пяст.

29 августа

Вечером — Вася Гиппиус.

1 сентября

Днем мама и Женя.

2 сентября

Днем — Городецкий. Целый день — мама, обедаем с Францем, проба прислуги — пока неудачная.

4 сентября

Письма нет. Проба прислуги — удачная, поступила. Квартира.

5 сентября

Письма опять нет — телеграфирую... Возрастающее беспокойство. Срочная телеграмма. Отчаянье, растущее эти дни. Ответ на первую телеграмму.

6 сентября

Легче. Ответ на срочную телеграмму.

7 сентября

Утром Муся. Монтеры. Письмо

Н. Н. Скворцовой. Вечером — Клюев, мама, Женя. Клюев ночует.

8 сентября

Утро с Клюевым. Монтеры. Жду милую. Сегодня, может быть, свадьба Сережи Соловьева в Дедове.

9 сентября

Мы с милой обедали у мамы.

11 сентября

Днем — М. И. Терещенко с А. М. Ремизовым у меня. Вечером я с братьями Верховскими у А. М. Ремизова. Люба у своего учителя — Мейерхольда.

12–14 сентября

Дни бесконечного упадка сил. Чулков приходил и писал — не застал, и я к нему не пошел.

16 сентября

Люба все уходит из дому — часто.

17 сентября

Буськины именины. Ее поздравляют, дарят ей цветы и конфетки. Днем — два Кузьминых-Караваева, вечером — А. М. Ремизов, Же-

ня, Верховский.

18 сентября

В воздухе — война. «Пробная» мобилизация. Ночью — Мгебров и Чекан. Бесконечно тяжело. Буся у Мейерхольда — до 3-х часов ночи.

19 сентября

Пришла, выдав себя за незнакомую курсистку, желающую показать стихи, М. Аносова.

20 сентября

Ночью и днем готовится наводнение. У меня — студент со стихами, довольно милый. После него — вечером Вася Менделеев, с которым мы вдвоем сидели тихо и рассуждали. Буся в Александрийском театре с К. К. Кузьминым-Караваевым.

21 сентября

Следующие дни: Люба почти постоянно с Кузьминым-Караваевым. Приезд тети. Устаю сильно — ем, сплю, ничего по-прежнему не

делаю.

24 сентября

Первый Любин урок у Панченки.

25 сентября

Библиофилия начинает снедать меня. Сегодня я купил первые два полутома Andra Michel[^] (в переплетах), докупил Кальдеронд (т. III и т. II, который у меня летом изорвали актеры) и нашел у Маркса «Ранние годы моей жизни» Фета (оказывается, никто не спрашивает, и издание, которому уже 19 лет, не распродано). На лестнице у Маркса встретился с Кондурушкиным.

Люба опять проводит вечера с Кузьминым-Караваевым.

26 сентября

Бесконечная и унижительная тоска. Доктор Студенцов у мамы. «Разоблачения» относительно В. Менделеева. Вечером — Верховский, простились до Рождества.

27 сентября

Утром — тетья и мама (завтракали). Обедал Пяст, я его провожаю уютно на извозчике до него и до Тенишевского училища. Люба... Чашотка у Чулкова.

28 сентября

Библиофилия. Купил на Владимирской Ап. Григорьева за 8 руб., Державина 43-го года — четыре книги в двух переплетах, «Русскую народно-бытовую медицину» Попова (Тенишевское издание). У Балашова — Бердслея «Скорпиона», только что вышедшего. Там жаловались на Кожебаткина, называя его даже «жуликом». Я не получаю ни «Трудов и дней», давно вышедших (№ 3), ни гонорара за свои книги (до сих пор остается 350 руб.), которые, кажется, только и идут — из всех мусagetских изданий. От мусagetов вообще давно — никаких известий.

Милая моя опять ушла до поздней ночи, а у меня милый Женичка. Умер маленький Марк, сын Петра Павловича, сегодня его хоронили.

29 сентября

Днем — у мамы, восхищенной Чайковским в концерте Кусевицкого. — Шатание по пригородам. — Вечером зашел ко мне Сережа Городецкий, необыкновенно был мил, и я чувствовал на себе его любовь. Он был чем-то, кажется, взволнован.

30 сентября

Первый, пока еще не сильный, ручей мысли об опере (как кончить, несколько подробностей, возможность еще одного — предпоследнего — действия). Письма от В. Сытина и Брюсова. Вечером — в цирке. Люба все так же проводит дни и вечера.

1 октября

На vernissage выставки Кульбина, на который приглашены мы с Любой, пошла она. Вечером пошла чествовать Кульбина в «Бродячей собаке». Днем была еще на «футболе». Вечером — я сунулся к маме, но у нее, сказал швейцар, сестра Франца. В отчаянии полном я поплелся кругом квартала. Сыроватая ночь, на Мойке против Новой Голландии вытянул за руку (вместе с каким-то молодым челове-

ком) молодого матроса, который повис на парашюте, собираясь топить. Охал, потерял фуражку, проклинал какую-то «стерву». Во всяком случае, это мне чуть-чуть помогло. Утром и вечером — дописываю стихи. Днем купил у букиниста указатель к запискам Болотова, когда-то потерянный или украденный?) в переплетной Гаевского («Русская старина», X, 1873).

2 октября

Утром — заказал телефон (612-00). Днем — мама. Потом — А. И. Тиняков (Одинокий). Книга от Вл. Вас. Гиппиуса («Возвращение»). Письмо М. Аносовой.

3 октября

Сегодня я достал на Литейной первые издания Катулла и Тибулла — Фета.

4 октября

Люба вчера была в подвале «Бродячей собаки». Сегодня — в Александрийском театре (нет, не попала, — в кинематографе). — Я дополнил свою «Русскую историческую библио-

теку» номерами 4 и 5 (заграничное «Былое» 1900–1904 гг.). Купил большой латинский словарь. — Утром поражал меня Катулл, особенно то стихотворение, первую строку которого прочел мне когда-то Волошин, на Галерной, когда я был еще вовсе глуп.

*Super alta vectus Atys celeri rate
maria,
Phrygium nemus citato cupide pede
tetigit...[59]*

Вчера, ночью и утром — стыд за себя, за лень, за мое невежество в том числе. Еще не поздно изучать языки.

Вечером — у мамы, которая очень плохо себя чувствует; гонит кухарку. Пришел Женя.

Сербия и Болгария также начали войну с Турцией

5 октября

Люба в Михайловском театре («Двенадцатая ночь» Шекспира). Обедал и вечером — Пяст, после обеда пришли мама и Франц. Письма от *Метнера* и из «Летучей мыши».

Греция вступила в войну.

6 октября

Письмо от В. Сытина. Я купил французские книги у Семенова: Бальзак — три тома 31-го г., маленькую антологию французских прозаиков — Лемерра, Любе — три томика Кребилона и маленький учебник гимнастики для девочек.

7 октября

Обедаю у мамы с тетей. Кузьмин-Караваев уезжает, Люба провожает его. — К сожалению, еще нет. Люба с ним у Бонди. Люба просит написать ей монолог для произнесения на Судейкинском вечере в «Бродячей собаке» (игорный дом в Париже сто лет назад). Я задумал написать монолог женщины (безумной?), вспоминающей революцию. Она стыдит собравшихся. Ушел шататься, оставив маму, Франца и тетю в ожидании сегодня приезжающей к ним таксы, которая будет названа «Топкой».

8 октября

Я познакомился с Топкой. Ему — два с половиной месяца; гадит, обжора, любит мясо,

любит грызть все; Франц подарил ему резиновую кошку.

Послал В. Сытину детские стихи для альманаха. Кузьмин-Караваев уехал, милая пила вечером чай со мной.

Мама вчера сказала наконец О. А. Мазуровой, в чем болезнь Г. Блуменфельда, который лежит в своей скверной комнате и кашляет очень сильно. Следует разлучить его с Алей и отправить в больницу, лучше бы — в Москву.

9 октября

Люба ходит с китайским кольцом «на счастье» — с лягушонком. Пришла пора ей опять стать маленькой. Приходится заниматься Васинными делами. За обедом приходил Ваня.

Проводили телефон. Я занимался немного оперой.

Вечером поздно пришел Городецкий, принес «Гиперборей». На днях выпускает «Иву» в «Шиповнике» (Ляцкий — «Огни» — и ему напакостил). К декабрю думает выпустить третью книгу рассказов.

10 октября

Люба продолжает относиться ко мне дурно. Днем — у мамы, она больная и без прислуги. Там — тетя и Ольга Александровна Мазурова.

Разговоры по телефону. Вечером у Ремизова. Серафима Павловна, сестры Терещенко. Серафима Павловна видела в Мюнхене А. Белого. Она говорит, что он не изменился. Эллис ей неприятен. А. Белый враждебен Сабашниковой, которая живет при Штейнере как при старшем брате только, живет потому, что измучена жизнью, больше, чем потому, что — Штейнер...

11 октября

Утром — няня Соня. Днем немного занимался оперой. После обеда пришел М. И. Терещенко, сидел со мной два часа. Вот о чем мы говорили:

Он в отчаянии и сомневается в своих силах, думает, что все, что он делал до сих пор, — дилетантство. Прямо из университета попал в театр, а теперь, когда (в апреле) все это кончилось, чувствует, что начинается жизнь и надо делать наконец — что, не знает.

Приблизительно — так.

Были они с Ремизовым в Москве; о студии Станиславского: актерам (молодым по преимуществу) дается канва, сюжет, схема, которая все «уплотняется». Задавший схему (писатель, например) знает ее подробное развитие, но слова даются актерами. Пока — схема дана Немировичем-Данченко: из актерской жизни в меблированных комнатах (что им, предполагается, всего понятнее!). Также репетируют Мольера (!), предполагая незнание слов: подробно обрисовав характеры и положения, актерам предоставляют заполнить безмолвие словами; Станиславский говорит, что они уже почти приближаются к мольеровскому тексту (узнаю его, восторженный человек!). -Студия существует на средства Станиславского, и он там — главный. Терещенко предлагает мне поехать туда вместе в начало ноября — посмотреть.

Со студии перешли на общий разговор. Об искусстве и религии; Терещенко говорит, что никогда не был религиозным и все, что может, думает он, давать религия, дает ему искусство (два-три момента в жизни, преиму-

щественно — музыкальных). Я стал в ответ развивать свое *всегдашнее*: что в искусстве — *бесконечность*, неведомо «о чем», по ту сторону всего, но пустое, гибельное, может быть, *то* в религии — *конец*, ведомо о чем, полнота, спасение (говорил меньше, но все равно — схемой, потому поневоле лживо). И об искусстве: хочу ли я повторить или вернуть те минуты, когда искусство открывало передо мной бесконечность? Нет, не могу хотеть, если бы даже сумел вернуть. Того, что за этим, нельзя любить (Любить — с большой буквы).

Терещенко говорил о том, что искусство *уравнивает* людей (одно оно во всей мире), что оно дает радость или *нечто*, чего нельзя назвать даже радостью, что он не понимает людей, которые могут интересоваться, например, политикой, если они хоть когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство; и что он не понимает людей, которые после «Тристана» влюбляются. Со всем этим я, споря, не спорил, как часто это мне приходится делать; а именно: я спорил, потому что знал когда-то нечто большее, чем искусство, т. е. не бесконечность, а Конец, не миры, а Мир;

не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, *пал, изменил*, и теперь, действительно, «художник», живу не тем, что наполняет жизнь, а тем, что ее делает черной, страшной, что ее отталкивает. Не спорил еще потому, что я «пессимист», «как всеми признано», что там, где для меня отчаянье и ужас, для других — радость, а может быть — даже — Радость. Не знаю.

Уходя, Михаил Иванович дал мне срок три недели для окончания оперы.

Он не верит драматическому театру, не выносит актерского духа, первое слово со сцены в драме коробит его. Пришло, думает он, время *соединять*, а как — не знает. Едет в студию — учиться.

Все это оставило во мне чувство отрадное — весь разговор, также частности его (о «Ночных часах», о Ремизове), которых я здесь не записал.

Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разгово-

ров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет...

Мне, однако, в разговоре с Любой удалось, кажется, определить лучше, что я имею против модернистов.

Стержень, к которому прикрепляется все многообразие дел, образов, мыслей, завитушек, — должен быть; и должен он быть — вечным, неизменяемым при всех обстоятельствах. Я, например, располагаю в опере все, на что я способен, вокруг одного: судьбы, неудачника; по крайней мере в христианскую эпоху, которой мы современники, это величина постоянная. Если же я (или кто другой) буду располагать все многообразие своих образов вокруг Рока и Бога греческой трагедии, то я буду занят чем-то нереальным, если захочу это показать другим. Сам я, может быть (мало вероятно), могу проникнуть в *Αναγκη, Μοιρα* [60], Олимп, но я и останусь один, а вокруг меня будет по-прежнему бушевать равнодушная к богу эпоха.

О модернистах я боюсь, что у них *нет стержня*, а только — талантливые завитки вокруг пустоты. Люба хорошо возражает: вся-

кое предыдущее поколение видит в следующем циников, нигилистов, без стержня. То же было и с нами. Может быть, я не понимаю. Может быть, и у них есть «священное». Будущее покажет.

12 октября

Днем — опера. Перед обедом у мамы. И вечером — эти удивленные черные глаза и минута влюбленности. Известие о смерти И. А. Саца.

13 октября

Днем у меня — Георгий Иванов. Обедал у мамы с Любой и Женей. Женя сообщил о смерти Александра Сергеевича Андреева — через адресный стол правление дороги узнало, что он умер в марте.

Люба купила у старьевщика вазу — красно-розовую с белыми украшениями и фигурами, на дне — герб Голенищевой-Кутузовой (есть у Селиванова).

14 октября

Вчера на ночь чтение Апулея нагнало дур-

ную тревогу. Тяжелый сон. Сегодня — нервный день. Днем Аля Мазурова у Любы. Вечером у меня Вася Гипшиус.

15 октября

Утром Городецкий прислал «Иву» с письмом. Письмо от Сытина. Пришла О. М. Мейерхольд. Пяст, совсем расстроенный, рассказывает, что было с ним на Финляндском вокзале 7-го октября (секрет). Пошли с ним в почтамт, а потом — к Красному мосту — заказали мне куртку... Вечером я у мамы. «Италиянская комедия» от Вл. Н. Соловьева (он заходил и не застал).

16 октября

Ночью — острое чувство к моей милой, маленькой бедняжке. Не ходит в свой подвал, не видит своих, подозрительных для меня, товарищей — и уже бледнеет, опускается, долго залеживается в постельке по утрам. Ей скучно и трудно жить. Скучно со мной тоже. Я, занятый собой и своим, не умею «дать» ей ничего.

Утром — опера, набросал вчерне 1-й акт.

Перед обедом у мамы, у которой был доктор. Маме плохо. Долго лечить эту болезнь. Еще одна кухарка выгнана. Маленькая собака — непоседа. Боюсь, что будет неприятного характера.

Обедает тетя, которая «навещала» Гарри Блуменфельда, издерганного нервами. Этот модернизм в связи с мазуровским вырождением производит впечатление все более тяжелой путаницы.

Вечером я в кинематографе. Разговоры по телефону с Ремизовым и Терещенко. Письмо от М. Аносовой. Трудно, но надо ответить. Завтра — год, как я пишу систематически дневник. Не много приятного было в это время.

Милая моя спит, записываю ночью, воротясь. Спи, милая, голубушка, если бы я мог тебе помочь.

17 октября

Занятие оперой с тяжелым чувством — что-то не нравится, чего-то не хватает. Во всяком случае — кончать скорей, там будет видно.

В 4 часа приехали Терещенко и Ремизов, поехали кататься. Острова и Стрелка уже в мягком снегу, несказанное есть.

Секрет пока ото всех: издательство, которое устраивают сестры Терещенко. Нанята уже квартира на Пушкинской, деньги будут платить как лучшие издательства, издавать книги дешево, на английской бумаге. Русские, по возможности. Хотели купить «Шиповник», разоряющийся (главный пайщик застрелился), но слишком он пропитан свода, дымовско-аверченко-юмористическим.

Вечером мы с милой в цирке Чинизелли. Она повеселее. Устали, пьем вместе чай, воротясь.

Мертвый я, что ли?

18 октября

Опера. Днем — прогулка. Вечером — я в религиозно-философском собрании. Струве читал доклад Одинцова о Серене Киркегоре, написанный бездарно. У Киркегора есть интересные, хотя и слишком психологические и путанные места об «эстетиках» (мужеского рода). Потом возражали Мережковский (пре-

красное у него было лицо) и Карташев.

Зинаида Николаевна. Много народу — тетья, Каблуков, Пришвин, Княжнин, Сюннерберг.

Аггеев, Философов, Александра К Чеботаревская...

Сидели с Женичкой, который произвел скандал с моим шуточным письмом к нему, замешав в него Руманова. Поправил дело, но, кажется, боюсь, Руманов обиделся.

Мама была сегодня в концерте.

Моя маленькая сегодня, воротясь с чужих (Васиных) дел и с урока (у Панченки), простудилась, маленький жар, легла в постельку после обеда, сейчас (ночь) совсем мокрая лежит и дремлет, засыпает. Кормил ее виноградом.

Сегодня из сидевших за столом умных людей самый «позитивный» (Струве) говорил о «величайшем страдании», как о должном, так привычно и просто. Остальные даже не говорили — оно было написано у них на лицах.

19 октября

Утром и днем — бесчисленные дела: письма Бродского и Коммиссаржевского, посещение

ние брата Л. Андреева, устраивающего вечер памяти Серова. Днем — у мамы и у дантиста. Вечером у Пяста, его брат, мать. Маленькая весь день лежит, читает и пишет всяко.

20 октября

Туча дел, только не опера. Письмо Филоsofova, ответ Сытина. Утром — телефон с Сан-жарь, с А. М. Ремизовым. К завтраку пришла Веригина, которая бросает провинцию и переезжает в Петербург. Днем поехали поздравлять Клеопатру Михайловну Иванову и сидели там мы с Любой, мамой, тетей и Францем, пили чай, горела лампада. К обеду пришел Ивойлов, книжные разговоры. Он заметно влюблен. Потом — гулял. Воротясь, нашел письмо М. И. Терещенко, который пишет, что сегодня порвали с «Шиповником» и перешли к ним Ремизов и Сологуб. — Мне принесли новую домашнюю курточку.

21 октября

Ответы па письма, телефоны с А. М. Ремизовым и М. И. Терещенко. «Опера». Маленькая вальяжно и независимо сидит, пишет, чи-

тает и покрикивает в своей все еще небранной комнате. Все рассказывает мне разное про Кузьмина-Караваева (своего) с многозначительным видом. Тяжело маленькой, что она не играет нигде, если бы ей можно было помочь. Наняла еще одну прислугу — глухую.

22 октября

С раннего утра — занятие «оперой», от которой я начинаю сатанеть. Понемногу — злая тоска. У мамы, с Любой — все бесконечно тягостно. Вечером — цирк с Жаном и Дэзи, встреча там с Зоргенфреем, который хочет прийти.

Мама вчера была у Поликсены Сергеевны, которая, как ребенок, немного подпортилась, очевидно — от совместного житья с Зинаидой Николаевной летом.

Написала плохую поэму, которую Зинаида Николаевна хвалит. — Лиза Безобразова «сошла с ума», ее отвезли к Бари. — Сережа Соловьев с женой были здесь недавно — два дня — только у Безобразовых и у родни Всеволода.

От Брюсова из Москвы Иванов-Разумник привез полное согласие на издание его книг в

«Сирине».

23 октября

Работал. Телефоны с М. И. Терещенко, А. М. Ремизовым и Пястом. Пяст — о Кузьмине-Караваеве (Дмитрии), который вчера был у него и его очаровал...

Перед обедом пришла моя усталая мама, обедала, вечером мы вышли с ней вместе. Я пришел на концерт Илоны Дуриго, билет мне дал М. И. Терещенко, мы сидели с ним. Потом поехали к нему, приехали Бакст и А. М. Ремизов, сидели до второго часа, говорили об издательстве. Все было очень хорошо для меня.

Моя милая весь почти день занималась делами брата.

24 октября

День был какой-то восторженный — во мне, хотя мы не поехали кататься, как собирались, — Терещенко заболел. Много планов строил по телефону с Алексеем Михайловичем. Вечером пришел ненадолго Женя (принес в подарок «Мир искусства» 1901 года!), днем я искал архистратига Михаила для

Алексея Михайловича — лубочную картинку — около монастыря иоаннитов и в Апраксиной дворе. Заря была огромная, ясная, желтая, страшная. Вечером я пил чай у мамы. «Оперой» не занимался, боюсь, опоздаю. А милой тяжело, и она этого сказать и почувствовать как надо не умеет. Вечером пошла в польский театр, а потом в «Бродячую собаку», днем — причесывалась у парикмахера, некрасиво он ее причесал.

Планы мои относительно Пяста (переиздать «Ограду» с дополнениями, в альманах — стихи и неизданный Эдгар По, пусть пишет роман или отделает повесть), Жени (приспособить его к той части трехтомного издания икон Музея Александра III, где они будут описываться и толковаться, между прочим, «символически»), Верховского (все собрать в одну книгу), Городецкого (стихи в альманах), Княжнина (?).

Люба — влюблена ли? Колеблется ли? (думает мама). Или — тяжело без дела, без людей (Мейерхольд говорил кому-то, что он сердит на нее, зачем она не поступила до сих пор к Далькрозу; муж Веригиной на что-то, кажется-

ся, обижается). Прибавляют тяготы эти вечные грязные денежные дела — брата. Родных у нее нет. Может быть, только я один люблю мою милую, но не умею любить и не умею помочь ей. — Милая вернулась около 3-х часов ночи.

25 октября

Печальный день, споры с милой, первый монолог Бертрана, стихи для Сытина, бессмысленное шатанье вечером.

26 октября

Весь день — «опера». Поздравлять с именинами Философова мы с Ремизовым не пошли, хотя давно решили и обговорили, какой нести пирог. Стало тяжело. Вечером — бессмысленное шатанье.

Записка от мамы и от Ангелины. Телефоны с Пястом, Женей и Ремизовым.

Гг. Мгебров и Чекан желают повторять «Виновны — невиновны?» Стриндберга в Политехническом институте и зовут играть Любу, которая будет сообразоваться с Веригиной и спросится у Мейерхольда. Это передано че-

рез Пяста.

Философов, оказывается, звонил по телефону, пока я шлялся, и, кажется, обиделся.

27 октября

Утром и днем — новые соображения о «Рыцаре Грядущее». Днем — купил в новооткрытой Семеновым лавочке на 5-й линии, где встретил Бенуа, — огромные тома Павсания (латинские и греческие) и «*Simonis Maioli episcopi Vulturariensis dierum canicularum, tomi septem*» — латинские — обе XVII столетия (по 6 руб.). Кроме того — мелочей книжных. Вечером — письмо от М. Аносовой и от бедного Д. В. Философова, горькое, с упреками и укорами письмо, на которое отвечаю сейчас длинно и пошлю завтра вместе с цветами.

Моя милая утром снималась *только* для Кузьмина-Караваева. Перед этим была у парикмахера. Это будет редкий портрет (в одном экземпляре), но зато у меня есть реже и лучше.

Вечером за чаем я поднял (который раз) разговор о том, что положение неестественно и длить его — значит погружать себя в сон.

Ясно: «театр» в ее жизни стал придатком к той любви, которая развивается, я вижу, каждый день, будь она настоящая или временная; нельзя обманывать себя ей: уроки у Панченки и встречи в подвале «Бродячая собака» и прочих местах с людьми, может быть, милыми, но от которых — «ни шерсти, ни молока», не могут считаться «делом» и не могут наполнять жизнь. Дни проходят все-таки «о другом человеке»; когда ни войдешь к ней, она читает его письмо, или пишет ему, или сидит задумавшись. Надо, значит, теперь ехать в Житомир (!), а потом — видно будет... На этом я прикончил свою речь и ушел к себе, и милая пошла к себе, приняв, кажется, на этот раз мои слова к сведению.

Нам обоим будет хуже, если тянуть жизнь так, как она тянется сейчас. Туманность и неопределенность и кажущиеся отношения ее ко мне — хуже всего. Господь с тобой, милая.

Мучительнее всего — «внешнее» — что, как, куда, когда, провожать, прощаться, расставаться, надолго, ненадолго, извозчики, звонки, люди, багаж, дни до отъезда.

Или это и есть то настоящее *возмездие*, которое пришло и которое должно принять?

Ну что ж, записать черным по белому историю, вечно таимую внутри.

Ответ на мои никогда не прекращавшиеся преступления были: сначала А. Белый, которого я, *вероятно* ненавижу. Потом — гг. Чулков и какая-то уж совсем мелочь (А<услендер>), от которых меня как раз теперь тошнит. Потом — «хулиган из Тьмутаракани» — актеришка — главное. Теперь — не знаю кто.

28 октября

«Опера», цветы Философову, прогулка по Петербургской стороне, старым местам, где бесконечный уют, все маленькое от снега, и тишина такая, что и жизнь бы скончать. Все — под углом зрения того, что, может быть, расстанемся. Может быть, не навсегда... Днем у милой — Варвара Михайловна Сюннерберг, собирающая венок Мейерхольду. Вечером — у мамы, много о Поликсене Сергеевне. Поздно вечером — Пяст с лекции о «тихих приютах для измученных душ», читал какой-то Быков (В. П., кажется) — о пустынях и монашестве.

Пяст читал мне свои стихи о Лигейе и о Лигейе-Ровене; первое — с трудом я понял, в нем какое-то замороженное, не влекущее единство; второе — почему-то частью неприятно: напоминает Георгия Чулкова неприятной банальностью приема. Но оба — его, свои, близкие в возможности мне, если я воспроизведу в себе утраченное об Э. По. Теперь я слишком о другом, обмозговываю «Рыцаря-Грядущее». Я подробно рассказал Пясту всю «оперу», ему понравилось, говорит, что это только начало... Опять начало — чего?

Навещу милую тихонько, она спит. Моя маленькая спит, приветливо бормочет мне во сне.

29 октября

Поздно встал. Четвертый акт... Трогательный ответ от милого Д. В. Философова.

Моя милая утром занималась шубой, днем — у Панченки, вечером — у Мейерхольда, который говорит о «Песне Судьбы» в Александринке (!) и хочет меня видеть. — Все получает и пишет письма, ласкова со мной. За обедом — плакала, говорила о том, что там —

неблагополучно. Он — мальчик, «хороший» (22 года), чистый, «знает ее жизнь», «любит» ее. 7 ноября (ровно 10 лет!), вероятно, она поедет в Житомир, теперь пока думаем мы оба, что на время. Будущее будет еще видно.

Днем — телефоны с Женей и А. М. Ремизовым. С Сологубом «Сирин» переговоры прекратил, с Брюсовым, напротив, все идет хорошо, и на днях будет заключен контракт. Первого ноября, вероятно, «освящение» помещения «Сирин».

Моя милая вечером в белом купальном халатике, тихонькая, пила со мной чай.

На религиозно-философское собрание, где Женя должен был ругаться с Мережковским, я не пошел.

Маленькая перед сном посидела со мной.

30 октября

Четвертое действие весь день. Вечером — у мамы. Мама рассказывает о религиозно-философском собрании (ушла от непристойных пошлостей Адрианова и пр.) и о Поликсене Сергеевне, которая больна и у которой мама часто бывает. Доктор сказал ей сегодня, что

сердце очень легко расширяется, будет лечить от малокровия. Потом — тихая прогулка... над черной Невою среди огней Николаевского моста. Я стар.

Милая ласкова со мной.

Женичка говорил по телефону, что обижен, зачем я не пришел. Из-за оперы главным образом. Но, по существу, хочу суметь сказать ему, что он портит себя «писательством», его драгоценное место в жизни — не в том. Когда он пишет, — он свою гениальность превращает в бездарность.

Милая раненько легла спать, я принес ей пирожных.

31 октября

Утром, как надо, в срок, данный М. И. Терещенко, окончил «оперу», только песен (отдельных) еще нет. Сказал по телефону об этом А. М. Ремизову и М. И. Терещенко. Днем — гулял и у букиниста (около акробатки), досадно — не купил очень хорошего. Вечером — читал у мамы «оперу» при Любе и тете.

Милая днем у портних, а вечером — в подвале «Бродячей собаки».

2 ноября

Сегодня моя милая уехала в Житомир.

Произошло так много, что трудно записать при измученности. Вчера (1 ноября) М. И. Терещенко заехал за мной, мы поехали к Л. М. Ремизову, по дороге говорил о своем разговоре с Л. Андреевым (журнал, который хочет издавать Л. Андреев). Потом поехали кататься и ездили взад и вперед — на Пушкинскую 10, в «Сирин», где сидят Иванов-Разумник и секретарь, пахнет дымом и стоят немногие новые мебели, потом — к Кузнецову на улицу Гоголя — кормить Алексея Михайловича ветчиной. Потом отвезли его домой, потом меня Михаил Иванович отвез домой.

В это время <Люба> получила какое-то ужасно беспокоившее ее письмо от Кузьмина-Караваева, после мрачного послала телеграмму, на которую получила ответ сегодня днем (2-го). Вечером 1-го я даром ходил к букинисту у «Аквариума». Потом переплетчик принес книги и сам пришел пьяный, мы при ярком свете разбирали, было мрачно, неизвестно, жутко и ужасно. Промаялись до 4-го

часа ночи.

Сегодня (2-го) я днем зашел к маме, которой рассказал о милой. Меня выгнали из дому полотеры. К обеду пришла милая, сделав разные дела с портнихами и купив билеты, — и уехала в седьмом часу на вокзал. Говорит — на неделю — 10 дней.

В начале 8-го ко мне приехал М. И. Терещенко, сидели мы до 11-го часа. Я читал ему «оперу», потом — стихи. Он хвалил, но *очищающего чувства* у меня нет. Говорит — дописать песни, диалоги, которыми и я недоволен, предоставить «Студии» Станиславского, прочесть пьесу Станиславскому, потом — думать о музыке к ней. Конец похож на конец «Курвенала», чего я не знал (не читал и не слышал Вагнера). Не нравится ему (Терещенке) то, что Бертран плачет, увидав, что Гатан — старик.

Буду делать.

Милая сейчас едет, приедет завтра вечером. Обещала телеграфировать. Господь с тобой.

3 ноября

Утром приходила мама. Усталый — весь день я гулял: Лесной, Новая Деревня, где резкий и чистый морозный воздух, и в нем как-то особенно громко раздается пропеллер какого-то фармана. Потом — у букиниста (в переулке акробатки) наверстал упущенное с лихвой. Обедал у мамы с тетей, вечером туда пришел Женя, с которым был длинный разговор и спор. Тяжелый и ненужный.

5 ноября

Днем разбор книг и кой-что (via Tolosana и т. п.). Обедал у мамы с тетей и Феролем — тяжело и тоскливо. Вечером — кинематограф с «миньятюрой» на Петербургской стороне. Только ночью, воротясь, нашел телеграмму: «Доехала благополучно останавливалась Бердичеве где меня встретили Люба». Люба — Люба — Люба. Господь с тобой.

А. М. Ремизов передал по телефону, что Терещенко нравится моя пьеса.

Любанька, господь с тобой.

7-го ноября вечером меня «с супругой» зовут в «Аполлон» слушать чтение стихов «Цеха поэтов».

7-го ноября этого года — ровно десять лет с тех пор. Тогда у меня была в кармане записка.

7 ноября

Два дня прошли *печально*. Вчера вечером позвонил ко мне М. И. Терещенко и приехал. Сидели, говорили, милый. Говорил о разговоре с Л. Андреевым — отказался окончательно субсидировать его журнал («Шиповник»). Андреев поминал обо мне с каким-то особым волнением, говорил, что я стою для него — совершенно отдельно, говорил наизусть мои стихи (матроса, незнакомку), говорил о нелепых отношениях, которые создались, о летней встрече (которая для меня совпала, как всегда, с одним из ужаснейших вечеров моей жизни: Сапунов, месяц, «Аквариум»).

Что меня отваживает от Андреева: 1) боюсь его, потому что он не человек, не личность, а сплав очень мне близких ужасов мистического порядка, 2) эта связь нечеловеческая (через «Жизнь Человека» — *не* человека) ничем внешним *не* оправдывается, никакая духовная культура не роднит, не поднимает. Андреев — один («одно»), а не в *соборе* культуры.

М. И. Терещенко говорил о своем детстве, о сестрах, о том, что он закрывает некоторые дверцы с тем, чтобы никогда не отпираться; если отпереть — только одно остается — «спиваться». Средство не отпираться (закрывать глаза) — много дела, не оставлять свободных минут в жизни, занять ее всю своими и чужими делами.[61]

Об эгоизме — своем и моем («все о себе» — то угрызение, с которым я вчера проснулся утром!). О том, что таких много («эгоистов» — все возвращающихся к себе, несмотря...); да, да, так, так.

О России: проведя за границей 11 лет (если не вру, — 11) и не сумев войти всем сердцем ни в один из интересов «Европы» (кроме специальной области — *искусства*), он попал здесь в студенческую среду в Петербургский университет.

В Лейпциге — студенты как школьники, их муштруют, делают выговоры за громкий разговор; но на экзамене — обратно, равный с равным.

У нас — наоборот: в коридоре студент профессора «хлопает по животу», а на экзамене

не — как школьник, трусит, заискивает. *Толее* — и еврей. В результате — 4 немецких студента с первого экзамена пошли первыми, так что их выделили и спрашивали отдельно (Терещенко кончил первым), а 400 их русских однокурсников — все были плохи.

Эти первые в России впечатления (университетской жизни) отвадили Терещенко от России, сразу заставили усумниться в «способностях русского народа» (разговор наш зашел по поводу «обвинительного акта» Боброва — у Ремизова и разговора с Л. Андреевым, который хвастался: «Придут, бывало, семь пьяных приятелей в публичный дом, и вдруг откуда ни возьмись — разговор на самую душевную и серьезную тему»). Я, говорит Терещенко, предпочитаю славянофильство. Всего противнее и дальше — «интеллигентство» (эпигонское — КЯ). Старообрядцы, Москва, П. Рябушинский заставили Терещенко верить в скрытые силы русского народа.

О стихах. Брюсов, говорит, «не поэт» (первое впечатление от «Зеркала теней»). Бальмонта не знает. Вяч. Иванова не знает.

При этом — милое это лицо. М. И. Терещенко

ко, для которого «мир внутри него», — взрывает во мне ключи, которые подтверждают мне, что есть мировые связи, большие, чем я. В нем спит религия.

Все это я пишу, а каково близкое? Все время пронзает мысль о том, где, как она. В ней — моя связь с миром, утверждение несказанности мира. Если есть несказанное, — я согласен на многое, на все. Если нет, прервется, обманет, забудется, — нет, я «не согласен», «почтительнейше возвращаю билет».

Сегодня вечером — десятая годовщина.

Вечером: и днем и вечером — восторг какой-то — «отчаянный», не пишется, мокрый, белый снег ласкает лицо, брожу, рыщу. Наконец, когда заперся после чаю в кабинете и переписывал стихи, — телеграмма: «Помню что седьмое пробуду больше недели господ с тобой любя».

8 ноября

День языка — двенадцать часов подряд. Мама и тетя завтракают, Ивойлов обедает, вечером — у мамы — Ася Лозинская с матерью и мужем. Измученность.

9 ноября

Утро. В газете — Мережковские продолжают высказываться о пьесе Сологуба на Александринке. Статья Дмитрия Сергеевича — большой силы.

Вчера с мамой и тетей — *бездейственный* разговор — о России, интеллигенции и пр. — так, что вдруг, о ужас, «начинают быть слышны голоса» (это и убийственно, картон, самое ужасное).

Княжнин. Интеллигентская «совесть». «Да, я эгоист». Аничков не платит денег, но «честный человек». Разоблачения: Ремизов и Пяст будто против него при ссоре с Аничковым — за «сильного» Аничкова. Щеголевское издание Пестеля... Неверие в Терещенку. Затравлен, запуган. Глаза — косят, алые. Тревожит меня — и хорошо, и плохо.

М-те Бражникова — ужасно грязная полька...

Боже мой!

Если бы Люба когда-нибудь в жизни могла мне сопутствовать, делить со мной эту сложную и богатую жизнь, входить в ее интересы.

Что она теперь, где, — за тридевять земель. Мучит, разрывает, зря все это. Тот мальчишка ничего еще не понимает, если даже способен что-нибудь понимать.

Василий Менделеев вчера шепелявил по телефону, сегодня прислал письмо для пересылки ей, а я не знаю ее адреса даже.

Пишу длинно Ивойлову и отвечаю коротко и ясно г. Бенштейну. — Днем Пяст звонил по телефону, у него что-то важное случилось — несчастье — жена, завтра будет у меня обедать. Потом — Женя говорил, хотел вечером прийти с Ге, отложили до будущей недели. Потом — я понял окончательно, что Рыцарь-Грядущее должен быть переделан. — Пока я обедал, приехали Терещенко и Ремизов, мы катались — покупали в Гостином дворе подставку для лампадки (Алексею Михайловичу), потом — на Стрелку. Потом меня отвезли домой, но я опять ушел.

Милая, когда ты приедешь, какая будешь, как жизнь пойдет? Господь с тобой.

10 ноября

Утром зашла мама. Ей — развитие нового

типа Рыцаря-Грядущее. Гулянье по островам. Талый восторг. Обедают В. А. Пяст, рассказал сначала об истории с женой, хочет брать детей, кажется, это надо. Потом — долгий разговор о «важном».

Ее комнаты пустые — каждый вечер захожу туда. Холодно, но остался запах.

11 ноября

Обдумывал Рыцаря, отвечал на письма. Думал идти к Мережковским, но, позвонив по телефону Философову, узнал, что сегодня нельзя, у них какие-то русскословные дела — Дорошевич и Благов. Поговорили с Дмитрием Владимировичем. Потом — с А. М. Ремизовым о всяких сирийских делах — больше. Нечего делать — мы оба волей-неволей (пожалуй, А. М. Ремизов — и волей) — чуть-чуть редакторы... Кстати, вчера я читал «Иву» Городецкого, увы, она совсем не то, что с первого взгляда: нет работы, все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят самоценно — большая же часть оставляет равнодушие и скуку. — Обедал у мамы с те-

тей и Францем, который очень печальный и жалкий, думает об отставке. Вечером пошел в «Кривое зеркало», где видел удивительно талантливые пошлости и кощунства г. Евреинова. Ярчайший пример того, как может быть вреден талант. Ничем не прикрытый цинизм какой-то голой души.

Печальное возвращение домой — мокро, женщины возвращаются из театров похорошевшие и возбужденные, цыганская нота. Зайду в ее пустые комнаты. Милая, господь с тобой.

12 ноября

Ночь и день необычайны. Всю ночь кошмары, в которых она — главное. Утро, полное сложных идей, вдруг — ее письмо. Мой ответ. Я посылаю его заказным в почтамте, потом ставлю свечу Корсунской божией матери в Исаакиевском соборе, где все такая же тьма, как тогда. «Стриндберговские» препятствия на пути — ясные, очевидные. Все преодолены. После собора стало легче.

Вечером религиозно-философское собрание, Кондурушкин об Илиодоре. Наблюдения.

Чай пьем у мамы, Франц, усталый и печальный, говорит — война: австрийцы мобилизовали 8 пограничных корпусов.

Все, что произошло за пестрый день, — несоизмеримо с ее письмом и моим ответом.

Господь, сохрани тебя и меня во Имя Несказанное.

13 ноября

Сбитый с толку день. Электричество не слушается. С 4-х часов обедает, до 10-го — Борис Александрович Садовской, значительный, четкий, странный и несчастный.

Вечером — зашел к тете, где мама и В. А. Билибина. Потом...

Господи, неужели опять будут кошмары ночью. Несказанная нежность к тебе.

15 ноября

Вчерашний день — полный. Утром пишу некролог Бравича, за которым присылают из газеты «Театр». Потом — брожу с нервами, напряженными и замученными. В воздухе что-то происходит. Вечером у меня: Женя и Ге (Ге — лучше, но основание все то же: безво-

лие, между двух стульев, милый, честный), Пяст (у него ничего нового), Скалдин (полтора года не видались; совершенно переменялся. Теперь это — зрелый человек, кующий жизнь. Будет — крупная фигура. Рассказ подробный о событиях в жизни Вяч. Иванова, связь его с его «семьей». Об А. Белом. Выходит книга Вяч. Иванова, посвященная мне. О Кузmine — болен, доживает последние годы. О политике, о новой газете — Недоброво, Протопопов, Сытин). — На минуту зашел Н. И. Кульбин — сказать, что он закончил рисунок занавеса для моей милой. Пока все они у меня — телеграмма от нее: «Получила письмо понимаю приеду девятнадцатого Люба».

Скалдин сидел до 4-х часов ночи. Сегодня утром — мама. Комплекты старой «Тропинки», которой остался один номер жизни. Ответ от Ахрамовича. Письмо от Д. В. Философова с предложением идти завтра на «Заложников жизни». Но я лучше проведу свое рождение тихо — у мамы, с Женей, а сверх того — работа моя («опера») заброшена в течение этих богатых впечатлениями дней. Милая придет, как-то?

Днем пришел секретарь хора курсов Певцовой — от Панченки — узнать, что Люба будет читать 1 декабря за Нарвской заставой. Я просил поставить на афишу «стихотворение Майкова» и дал номер телефона, он позвонит — узнать подробнее, поставит ее во втором отделении, пришлет мотор.

По телефону — с А. М. Ремизовым — о судьбе Садовского. Письмо от Садовского. Долго говорил по телефону Ивойлов, которого я, верно, действительно не понял тогда. Сквозь чужое и трудное для меня я слышу все-таки его высокую ноту. Позвонил Терещенко, познал завтра на молебен в «Сирин». Я написал Боре письмо в Мюнхен с просьбой прислать роман в «Сирин». Измучился, устал. Сажу вечер дома, сейчас зайду в ее пустые комнаты и лягу спать. Ждать ее — еще целая вечность. Господь с тобой, милая.

16 ноября

Лучше дня не описывать. — Освящение к вечеру книгоиздательства «Сирин».

17 ноября

Кое-как работал. Много всяких писем. За-шел к маме, потом бродил.

Ночью встретил Пяста, с которым доволь-но мрачно сидели у Переца и ели. Потом...

Письмо от С. Городецкого и ответ ему: на-счет «Сирина».

18 ноября

Завтракал у мамы — с Францем и Топой. Гулял — Гаваньское поле, вдали на фоне не то залива, не то тумана — петербургская pineta. [62]

Несказанное.

Потом купил ей цветов. Дома, обдумываю заново пьесу, кое-что новое есть. Дважды раз-говор с А. М. Ремизовым по телефону — на-счет газеты Тырковой. Хорошее дело, которое некоторым образом может стать в связь с «Сирином».

Вечером — телеграмма из Вильны: «Дома завтра девять утра Люба». Едет милая теперь. Волнуюсь. В ее комнатах сегодня топили, те-перь — слабый запах лилий.

20 ноября

Милая моя вчера утром в 9 часов, когда еще темно, приехала. Несколько разговоров в течение дня. Несравненная.

Сегодня днем, пока милая ходила за своей новой шубкой, пришли мама и тетя. С. С. Петров (бывший Грааль-Арельский). *Ге* обедал. Вечером — гулянье — темная Петербургская сторона, несказанное, потом с милой пили чай.

Телефон с Пястом (поэма в альманахе «Сирина», газета), с А. П. Ивановым (заведовать художественным отделом в газете. Сообщил, что Е. Гуро — при смерти), с А. М. Ремизовым — текущие дела («Сирин», газета).

Пьесу *всю* переделать, разбить единство места, отчего станет напряженнее действие и естественнее — отдельные сцены. Начал план. Очень улыбается, но много работы, срок придется еще оттянуть — опять.

Милая занималась книжками с гравюрами, сейчас тихонько ложится в постельку.

Мама — печальная, грустная, ей тяжело.

Господь с тобой, мама.

21 ноября

Утром Люба подала мне мысль: Бертран кончает тем, что строит капеллу Святой Розы. Обдумав мучительно это положение, я пришел к заключению, что не имею права говорить о мистической Розе, что явствует из того простого факта, что я не имею достаточной духовной силы для того, чтобы разобраться в спутанных «для красы» только, только художественно, символах Розы и Креста. *Конец* судьбы Бертрана я продолжаю не знать, и пишу об этом Терещенке.

Весь день просидел Городецкий и слушал очень внимательно все, что я говорил ему о его стихах, о Гумилеве, о цехе, о тысяче мелочей. А я говорил откровенно, бранясь и не принимая всерьез то, что ему кажется серьезным и важным делом.

22 ноября

Утром — соображения насчет газеты, разговор с А. М. Ремизовым, которым постановлено: в субботу у А. В. Тырковой — соберемся: мы с ним, Садовской (литературный отдел; приезжает из Москвы, вызванный нами), Пяст («публицист с холодным эстетическим

уклоном»), А. П. Иванов (художественный отдел), Н. П. Ге (библиография), Княжнин (сегодня мне ответ от него большой; очень он честный). В театральные отделы выдвигаем мы с Любой — В. Н. Соловьева.

От Фаддеева из Москвы получены книги: Балабановой, Кульчицкого; «Гюллистан» и стихотворения К. Павловой.

Усталость. Днем пошел погулять, но, конечно, затащился к букинисту и купил книг (много и дешево). Воротясь, застал Ангелину, обедали, потом я уломал ее пойти на религиозное собрание. Она была там мила, внимательна, ее поразило все, она рада. Может быть, это принесет ей новое.

Доклад читал Никольский (профессор), доказывая (или ставя вопрос): мрачная сущность православия, которое до (приблизительно) основания Киево-Печерской лавры было *иное* (Владимир Святой и др.), возникла из дуализма богомилов с их учением о Сатане, о том, что мир либо создан, либо проникнут злым началом (отсюда аскетизм). Возражали особенно хорошо: Мережковский (о том, что *только* исторический метод ведет к

мертвечине, а необходимо применять «историко-психо логический», хотя бы в Ренановском объеме), Женя (очень понравился Англине), Карташев (длинная и блестящая речь с закрытыми (буквально) глазами; особенно поразило меня то место, где он говорил о том, что когда все споры и противоречия будут поставлены на истинную почву и доведены до конца, только и возникнет не евангельское, а неизвестное, *больше евангельского*, религия Иисуса Христа).

Мама, тетя. Масса знакомых. Разговоры с Алексеем Михайловичем и Тырковой о том, что соберемся в субботу у нее. Пяст — измученный. Зинаида Николаевна очаровательная и кривлялась, сердилась, зачем я не иду.

У милой — поверенный брата, брат, шубка. Поздно встала, теперь уютненько спит.

24 ноября

Вчера писал докладную записку Тырковой по поводу газеты («Искусство и газета»). Обещала Александра Н. Чеботаревская, пришедшая *внешним* образом с просьбой дать ей мою автобиографию и библиографию, а *внутрен-*

не, я думаю, в связи с В. И. Ивановым (хотя об этом мало говорилось). — Совецание с А. М. Ремизовым о газете и «Сирине». — Буренин разнес меня за «Шаги командора». Вечером... тоска.

Сегодня: «Сатирикон» упорно печатает мое имя среди имен сотрудников, а у меня не было там стихов с 1907 года. Вчера Ахрамович по поручению Метнера очень скоро ответил мне с разрешением переходить в «Сирин». Кожебаткин устранен от «Мусагета» окончательно. Сегодня прислали из магазина Сытина предложение подписать условие и получить деньги за книжки и альманах (детское). Подписал и получил. Телефоны от А. П. Иванова, Пяста, Терещенки, Садовского. Переговоры с А. М. Ремизовым. Ответ Ахрамовичу. Книга рассказов от И. А. Новикова.

Письмо от Н. Н. Скворцовой — о смерти.

У милой — опять жар, простудилась. Купил ей пирожных у Кестнера и фруктов у Квинта-Сенкевича. Уют городского мрака. Страшная девочка на улице. Ал. Н. Чеботаревская прислала стихи Ал. Сидорова. С 11 часов вечера — у Ар. Вл. Тырковой — редакционное

заседание «Русской молвы», которая начнет выходить с. Присутствуют А. В. Тыркова, англичанин, проф. Адрианов, мы с Ремизовым и приглашенные нами — А. П. Иванов, Вл. Н. Княжнин, Вл. А. Пяст, Н. П. Ге и Б. А. Садовской. Я читаю свою докладную записку об отношении искусства к газете и превращаюсь в какого-то лидера. Следующее собрание — через неделю. Мою статью хотят сделать определяющей отношение газеты к искусству. А. П. Иванов, занятый Рерихом и службой, просит пока только иметь его в виду. Вл. Княжнин предлагает публицистические статьи (например, в связи с докладом Кондурушкина об Илиодоре), матерьялы по истории русской литературы, библиографические статьи, стихи и рассказы. Вл. Пяст, деля себя надвое и говоря, что не умеет связать две полосы своих интересов и стремлений, предлагает говорить и на «заказанную» тему и «sub specie aeternitatis», [63] в духе моей «декларации». Н. П. Ге предлагает себя в помощники А. П. Иванову по вопросам искусства, библиографию, статьи по философским вопросам. Б. А. Садовской будет иметь специальный разговор с А.

В. Тырковой, говорил мало. В следующий раз все мы должны уже представить матерьял.

25 ноября

Приглашение читать в Ярославль... я откажусь.

Совещание с А. М. Ремизовым, который хвалит мое вчерашнее выступление. Весь день провел у Мережковских. В пышной и уютной новой квартире, все они милые, одинокие, печальные, холостые.

Вечером собирался к маме, но не пошел, увидав идущего туда Ад. Ф. Кублицкого. Маленькая в постельке. Корректурa двух книжек и альманаха для детей от Сытина.

26 ноября

Утром зашла мама, мы опять перебились друг друга — было тяжело. — У Любы была ее сестра. Около 3-х приехал М. И. Терещенко, мы с ним поехали в «Сирин», где были его сестры и А. М. Ремизов, подаривший мне родословие Романовых и альбом оттисков деревянных досок — редкости из Костромы.

Разговоры были о Штейнере и А. Белом, о

«шарлатанстве», которого боится Михаил Иванович, а в «Сирине» — о «Бродячей собаке» (я горячо убеждал не ходить и не поощрять), о том, как в России не умеют веселиться. Старшая сестра не любит Достоевского, а младшая — все молчит, и у нее — хорошее лицо. А. М. Ремизов чувствовал себя очень гадко, по-видимому, он устал. — По дороге туда и назад мы с Михаилом Ивановичем обговорили все-таки много беспокоивших меня сирийских дел — об А. Белом, Пясте, Городецком и обо мне.

А. В. Тыркова звонила и предлагала, чтобы мы и Алексей Михайлович стояли за Садовским и отвечали за него и учили его. Я согласился. Алексей Михайлович начинает тяготиться газетой, может быть — от усталости.

Вечером я пошел в мой цирк, потом тихо пили чай с маленькой, которая занималась разысканиями в книжках стихов — для чтения на вечере.

27 ноября

Лао-тзы: «Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек рождается, он слаб и гибок; когда

он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит» (эпиграф к «Скомороху Памфалону» Лескова). Желтокровие.

Утром — мечты и планы, чем может стать «Сирин», как он может перевернуть все книжное дело в России, как надо заинтересовать Терещенку. Переговоры с А. В. Тырковой (она дала Садовскому жалованье — 200 руб.) и А. М. Ремизовым.

Днем пришел Арк. Павл. Зонов. Много о чем говорили. Он советовался со мной о репертуаре для нового народного театра (с января — Общество народных университетов). Обедал.

Вечером мы с милой на «Заложниках жизни».

Браниться не хочется, скорее — напротив. Но все-таки Сологуб изменил самому себе, запутался в собственной биографии. Та, которая здесь зовется Мечтой и Лилит, — в лучшие времена была для Сологуба смертью-уте-

шительницей, и все было тогда для него — верно и стройно. Та же, которая здесь полу-милая жизнь, — была прежде «бабищей дебелой и безобразной». Женившись и обрившись, Сологуб разучился по-сологубовски любить Смерть и ненавидеть Жизнь. Однако (хотя все, вследствие этого «кадетства», неверно) пьеса не оскорбительна, она — бледная, невинная (неправду говорили о цинизме), печальная, первый акт — очень хороший, волнует. Говорят, ему самому на первом представлении захотелось над ним плакать.

28 ноября

День усталости. Переговоры с А. М. Ремизовым, Пястом, Л. Я. Гуревич В. Н. Соловьевым. У мамы на минуту вечером...

29–30 ноября

Жар, десяток телефонов, книжная тоска. Вчера — обедала В. П. Веригина, а вечером Женя, с которым мы пили чай у мамы, у которой сделался небольшой припадок (сердечные нервы). Вечером у нее была Поликсена Сергеевна.

1 декабря

Нет, в теперешнем моем состоянии (жестокость, угловатость, взрослость, болезнь) я не умею и я не имею права говорить *больше*, чем о человеческом. Моя тема — совсем не «Крест и Роза», — этим я не овладею. Пусть будет — судьба человеческая, неудачника, и, если я сумею «умалиться» перед искусством, может мелькнуть кому-нибудь сквозь мою тему — большее. То есть: моя строгость к самому себе и «скромность» изо всех сил могут помочь пьесе — стать произведением искусства, а произведение искусства есть существо движущееся, а не покоящийся труп.

Удивительно: Городецкий, пытающийся пророчить о Руси какой-то и самохвал (влияние Вяч. Иванова), все разучивается быть художником, ему все реже, увы, удастся закрепить образ, просто. Напротив, Садовской, скромно остающейся стихослагателем, тем самым оказывается иногда больше самого себя. Так искусство само за себя мстит и само награждает.

Пишу Метнеру. Четыре телефонных разго-

вора с А. М. Ремизовым. Пришел В. Э. Мейерхольд, обедал, хочет ставить «Песню Судьбы» на Александринке. Вопрос для меня... Телефон с мамой и Городецким. Письма.

Пора выгораживать время для *своей* работы, выгораживаясь из мелких дел. Сегодня не мог добиться М. И. Терещенко, занятого своими делами, надеюсь на завтра.

Мейерхольд: он говорил много, сказал много значительного, но все сидит в нем этот «применяющийся» человек, как говорит А. М. Ремизов. — Мейерхольд говорил: я любил *быт*, но иначе подойду к нему, чем Станиславский; я ближе Станиславскому, чем был в период театра Коммиссаржевской (до этого я его договорил). — Развил длинную теорию о том, что его мировоззрение, в котором есть много от Гофмана, от «Балаганчика», от Матерлинка, — смешали с его техническими приемами режиссера (кукольность), доказывая, что он ближе к Пушкину, т. е. человечности, чем я и многие думают. Это смешение вызвано тем, что в период театра Коммиссаржевской ему пришлось поставить целый ряд пьес, в которых подчеркивается кукольность.

Театр, — говорит Мейерхольд, — есть игра масок; «игра лиц», как возразил я, или «переживание», как назвал то же самое он, — есть, по существу, то же самое, это только — спор о словах.

Утверждая последнее, Мейерхольд еще раз подтвердил, что ему не важны слова. Я понимаю это, он во многом прав. Но, думаю я, за словами стоят мнения, за мнениями — устремление ума — устремление сердца, а сердце — человечье. Таким образом, для меня остается неразрешимым вопрос о двух правдах — Станиславского и Мейерхольда («я — ученик Станиславского», — сказал Мейерхольд, между прочим).

Александринка, — говорит Мейерхольд, — творение Росси, должно вернуться к духу 30-х годов, Мочалова. Теперешние актеры (он не знает, как они живут) далеки от этого. Сам он — гастролер, свободный в выборе пьес, сроках постановок, выборе художника.

«Песня Судьбы», говорит он (прошло уже почти четыре года, — он не перечитывал), ему представляется, запомнилась, он чувствует, что из того впечатления, которое у него

осталось, в нем может вырасти нечто свое, только я должен предоставить ему много свободы.

После его ухода я стал все больше думать, как же я отношусь теперь к этой «Песне Судьбы», прошедшей столько этапов и извне и во мне.

1908 год: я читал многим, мечтал о Волоховой — Фаине, думала и она об этом. Станиславский страшно хвалил, велел переделать две картины, и я переделал в то же лето в одну (здесь родилось «Куликово поле» — в Шахматове).

Немирович-Данченко хвалил также неумеренно, но на свой, пошловатый лад.

Когда я отослал рукопись, Художественный театр долго молчал. Наконец Станиславский прислал длинное письмо о том, что пьесе нельзя и не надо ставить. Я поверил этому, иначе — это поставило для меня точку, потому что сам я, отходя от пьесы, разочаровался в ней.

Весной 1909 года, перед отъездом в Италию, она была погребена в IX альманахе «Шиповника» под музыку выговоров Копельма-

на... разговоров с Л. Андреевым (и он, помнится, предлагал ставить пьесу). После Италии было лето, когда мысль и жизнь были порабощены и сжаты Италией, потом — черная осень, цынга с лихорадкой и юбилеем каким-то Маковского, дочулковыванье жизни, потом — смерть отца, наследство — и незаметное сжиганье жизни, приведшее в позднюю осень, в дни толстовской кончины, на тихую и далекую Монетную, занесенную чистым снегом. «Мусaget», безлюдье, бескорыстие и долготы мыслей, Пяст. К этому времени (1910 г.) — я решительно уже считал «Песню Судьбы» — дурацкой пьесой, и считал ее таковой до последних месяцев, когда стал ее перечитывать, имея в виду переиздание своего «Театра» (сначала в «Альционе», теперь — в «Сирине»). Перечитывая, опять волновался многим в ней.

Буду пытаться выбросить оттуда (и для печати и для возможной сцены) все пошрое, все глупое, также то леонид-андреевское, что из нее торчит. Посмотрим, что останется тогда от этого глуповатого Германа. Между прочим — НЯ: *Мережковские* всегда более или ме-

нее сочувствовали пьесе.

Сквозь все это — сквозь весь день — недо-
могание с моей милой, она не слушает, не
слышит, не может и не хочет помочь, думает-
ся кажется, не обо мне, но о моем, не о На-
шем.

2 декабря

Весь день вилась, увивалась тоска, бродил
по пушистому снегу, обедал у мамы в глубо-
кой тоске (архитектор Алексей Н. Бекетов, Ма-
зурова Ольга Алексеевна). К вечеру, когда
явился домой, выяснилось.

Она опять получила письмо, была расстро-
ена. Господин Кузьмин пьет без нее. После
длинного разговора — ясно ей: ей нужно
уехать в Житомир без срока, «последняя
влюбленность», чтобы я отпустил по-хороше-
му. После общего разговора я выпросил част-
ности. В конце этой недели она, вероятно, по-
едет, милая.

3 декабря

Днем — масса телефонов, — сквозь писа-
нье статьи к газетному вечеру. Воздух прон-

зительный, хоть кричи. У мамы был припадок вчера, когда я ушел. Может быть, грудная жаба.

Зонову — «Кармозина» (мама, тетя). Пяст — о себе и о политике. Женя — о библиотеке Сахарова. Тыркова — о сегодняшнем вечере, о ком бы писать. С Терещенко — о балете для газеты. С А. М. Ремизовым о том, что Терещенко огорчился, узнав, что я отложил пьесу.

Ее нет дома. Прислуга — в больницу.

Весь вечер — заседание в газете «Русская молва». Много народу, чтение статей, впечатление тяжелое, неясное и жесткое.

Мама больна, милая может уехать.

4 декабря

Свидание и разговор с *М. И. Терещенко*, которыми я волновался, были очень приятны и принесли много хорошего. Милое письмо от Пяста.

У мамы весь день — боль. Вечером к ней зашла Люба и облегчила ее боль.

5 декабря

Отдых, ответы на письма, маме полегче, я у нее днем, у нее О. А. Мазурова, которая завела несчастный и истерический разговор о своих детях и почему они маме не нравятся... Вечером — гуляю. Маленькая была днем у дантиста и купила себе каких-то гадких театральных книжек.

6 декабря

Я хотел думать о пьесе и быть собою. Г-жа Тыркова вызвонила меня, заставляет сокращать эту несчастную газетную статью. История статьи по крайней мере чрезвычайно поучительна и *позорна*. Все, что касается журналистов... должно быть исключено. Оставлено должно быть высокопарное рассуждение об искусстве, и это, как говорится в чрезвычайно любезном письме, *нужно газете*. Подумаю, посоветуюсь с А. М. Ремизовым.

Днем пришел милый Женичка. Завтра его рождение — 33 года. О библиотеке Сахарова — какие поразительные вещи!

Вечером — и вчера и сегодня — уличные «миниатюры» с кинематографом, — живее многого театрального.

7 декабря

Расстройство нервов, полотеры. Ответ от Бори наконец — длинный, о романе и о «Путевых заметках». Письма. У мамы был доктор Грибоедов. Вечером мы с Любой в «Кривом зеркале», которое расстроило нас обоих.

У букиниста в Александровском рынке купил 50 книг по 20 коп. (в том числе — сороковых годов — русские).

8 декабря

Утром думал о пьесе, днем обсуждал ее с мамой и тетей. Письмо от Метнера. Маленькая — вечером у Веригиной. На религиозно-философское собрание *не* пошел.

Писать отказы гг. Аверченке, Ляцкому и Бенштейну (А. М. Ремизов).

9 декабря

В «Русском слове» — объявление о выходе моих детских книжек. В «Русской молве» (№ 1) мое стихотворение и моя искалеченная статья. «Тропинка» — последний (и вообще последний) номер — с моими стихами. Днем

приходил художник — рисовал меня очень плохо (для «Новой студии» — журнальчика). Длинный разговор по телефону с З. Н. Гиппиус. Журнал «Маски» — № 2. После всего этого — конечно, нервы, пора кончать день, а дня — не было.

Милая опять думает об отъезде, нежна со мной, уютненькая, миленькая, в красном капоте... Полк готовится к войне.

Вчера и сегодня — новый план «Креста и Розы».

Родственники милой — мошенники, тянут с нее деньги, а сами — не платят.

10 декабря

Пишу 1-е действие (третья редакция). Милая на репетиции «Евгения Онегина» («Музыкальная драма», позвала ее Шура Никитина, которая служит секретаршей в журнальчике «Новая студия», а муж ее — Бихтер — дирижирует в этой опере).

Пока я шлялся вечером, у милой был Женичка. Рассказывал, между прочим, о «побоище» между Мережковским и Струве на последнем религиозно-философском собрании.

11 декабря

У меня днем — А. И. Тиняков, потом я — в «Сирине» с Ремизовым и Ивановым-Разумником. Милую не вижу целый день — у нее бесконечные дела, касающиеся братьев, которым все еще не видно конца. Обедал я у мамы, вечером с ней — в «миньятюре».

12 декабря

Утро — зря. Днем — в «Тропинке». Люблю Поликсену Сергеевну, чувствую Наталью Ивановну, но остальные... Очень устал нервно, уснул вечером как-то по-особенному. Просыпаюсь: вместо снега — опять дождь. Приехал к Терещенко в 11-м часу, сидели до 3-го с ним и с сестрами (говорили о моей пьесе, о Боре и о Штейнере). Не пошел — ни сопровождать всем им в покупке библиотеки Сахарова (редкая, но немного специальная, говорит М. И. Терещенко), ни к З. Н. Гиппиус, которая звала меня помогать проводить время с Вл. Гиппиусом.

14 декабря

Вчера утром милая сказала мне, что уезжает сегодня.

Третьего дня вечером у мамы был припадок, и вчера ей было очень скверно. Я был у нее вчера днем. Потом — покупки под дождем, Морская. Вечером — пришел к нам Ник. Ив. Кульбин, принес нам цветов, очень хороших. Мы долго сидели и говорили. Я не чувствую к нему полного доверия, но многое из того, что он говорил, было очень верно и очень мне нужно. Он рассказал историю Давида Бурлюка; говорил о художественной гигиене, о том, что художнику надо знать чужие отрасли искусства, естественные науки, нельзя засиживаться. От засиживанья в своем месте, на которое посажен «призванный», приходит «собачья старость». Рекомендовал к аристократизму прибавить «дворянжки». Тщетно восстанавливал в моем мнении «Бродячую собаку», кой-что я принимаю, но в общем — мнение мое непоколебимо.

Затягивание истории с Ляцким и «Современником», еще одно письмо к г. Ляцкому. Пяст звонил, с ним что-то тяжелое. На днях он говорил по телефону, что надо прежде всего

«сделать главное» (это — о детях и жене). Просит позвать его, когда у меня будет Женичка.

Сегодня с утра милая укладывается. Зашла к маме, посидела, но не застала ее дома. Без четверти в пять часов милая уехала на Варшавский вокзал, заранее, из-за билета. На лестнице сказала мне: «Я приеду скоро».

Вечером мы с Терещенкой и его сестрами и А. М. Ремизовым были на первом представлении «Профессора Сторицына» Андреева. Успех пьесы. При всем, что об Андрееве известно, в пьесе, особенно в третьем акте, есть *настоящее*.

Милая моя, ты едешь теперь. Господь с тобой, возвращайся ко мне.

15 декабря

Кое-что пьеса, вдохновение «вообще». У мамы. Вечером... цирк (звери Дурова). Что сейчас милая?

16 декабря

Утром, пока писал первое действие, телеграмма от милой: «Доехала благополучно, господь с тобой, Люба».

Потом — Ангелина звонила по телефону, взволнована, просит пока не посылать повестки на религиозно-философские собрания, что-то у них дается, мамаша ее, вероятно, ее преследует серьезно. Не могу представить себе, как в действительности происходит. На предложение Ангелины прийти к ним, и письменное и устное, хотя всегда с оговорками, — я твердо молчу, сознательно. В следующий раз надо будет сказать ясно. Все еще не знаю, прав ли я.

Еще по телефону — с Тырковой, просила стихов и приглашала к себе в деревню.

Планы, планы. — Величайшая тема нашего времени — «Чортова кукла».

Телефон с Мережковскими — долгий. Сначала с Дмитрием Сергеевичем — он просит написать 20–30 строк о смерти Александра («я, — говорит, — эту главу люблю»). Потом с Зинаидой Николаевной — о «Чортовой кукле», о «Профессоре Сторицыне», о журналах, о Вл. Гишпиусе. Потом — с Д. В. Философовым: он будет полемизировать со мной в «Речи» по поводу «эстетики» «Русской молвы». Советует прочесть письма Суворина к Розанову (издал

в «Новом времени» Розанов).

Обедал у мамы. Вечером — большое письмо (двойное) от Бори из Берлина.

Много мелких дел еще предстоит.

Моя милая, господь с тобой, приезжай поскорее.

17 декабря

Тягостное утро, одиноко, тоскливо, ничего не выходит. Холодные телефоны.[64] Днем — у мамы. Поехали с ней в таксомоторе к Ивановым. Праздновали именины Женички (вместо 13-го), обедали и весь вечер были. Было очень хорошо. Сестры Дюковы, братья с женами. Женина Вера очень хорошеет, красивая.

Терещенко сегодня в Москве — говорит с Метнером?

Милая, господь с тобой.

18 декабря

«Безделье». Утром — альманах от Сытина и возражение мне Философова. Мама завтракала, не была у меня с болезни... Вечером от 6 до 1 часу ночи — Н. П. Ге, я читал ему поэму, ко-

тору не открывал с Верховского, ему и мне понравилось, особенно — об отце и вступлении. Война — хуже.

Милая моя, господь с тобой.

19 декабря

День начался значительнее многих. Мы тут болтаем и углубляемся в «дела». А рядом — у глухой прачки Дуни болит голова, болят живот и почки. Воспользовавшись отсутствием «видной» прислуги, она рассказала мне об этом. Я мог только прокричать ей в ухо, что, «когда барыня приедет, мы ее отпустим отдохнуть и полечиться». Надо, чтобы такое напоминало о месте, на котором стоишь, и надо, чтобы иногда открывались глаза на «жизнь» в этом ее, настоящем смысле; такой хлыст нам, богатым, необходим.

Утром — после этого — ответ Философову, прерванный на самом интересном месте. Иду в «Сирин» (М. И. Терещенко, А. М. Ремизов, Пелагея Ивановна, Елизавета Ивановна, Иванов-Разумник, Сергей Яковлевич, художник Чехонин...). Разговоры и болтовня. П. Е. Щеголев убеждает по телефону вернуться в «Совре-

менник» (в «Сирине»).

Обедал у мамы, — вечером у нее тетя и В. М. Латкин. К 10-ти вечера иду к М. И. Терещенко (там А. М. Ремизов, Нерадовский, Иванов-Разумник). Накопились мельчайшие делишки...

Милая, господь с тобой.

20 декабря

День изнервляющий: рассылка стихов к Рождеству, ответ Философову для «Русской молвы». М. И. Терещенко с сестрами уезжает за границу, на виллу матери «Mariposa» (Cannes, A. M.). До 10 января я должен ему телеграфировать туда о том, что пьеса — кончена!.. Иначе — скандал. Около 25-го января здесь будет Метнер, и будет разговор по поводу Андрея Белого и меня — в «Сирине».

Вечером — доклад Философова в религиозно-философском собрании. Я не пойду туда, я почти уже болен от злости, от нервов, от того, что меня заваливают всякой дрянью, мешая мне делать то, что я должен сделать.

21 декабря

Неделя, как милая уехала.

Изнеможение, кое-что о пьесе, кое-какие дела. Вечером Женя и Пяст — о моей пьесе, о важном, после Пяст о своей семье. От Мейерхольда — книга о театре.

Милая, милая, господь с тобой.

22 декабря

Утром — кой-что о пьесе, за завтраком — мама, обедал у мамы, вечером... — Без меня принесли книги от переплетчика, «Золотое руно» встало в 50 рублей (5 томов по 6 р. и 4 по 5).

От милой так и нет писем.

23 декабря

В «Русской молве» — мой ответ Философову. Разговор с А. М. Ремизовым и З. Н. Гиппиус — по телефону (З. Н. довольна ответом). От мамы, у которой обедал и вечером с тетей, — телефон с Д. С. Мережковским. Страшно хвалит меня за статью, говорит, что она хорошо написана, что у меня есть «критический стиль». Ясность. Был у Теляковского и рекомендовал ему в пятые (вновь учрежденные)

члены литературно-театрального комитета в Петербурге (Александровский театр — Ме-режковский, Котляревский, Батюшков, Морозов)... меня! Убеждает, что дело хоть и маленькое, — общественное и надо согласиться...

Буду думать. Или, скорее, не буду думать, вероятно, все будут против меня, дай бог, не хочется очень: еженедельные заседания!

От милой нет известий. Господь с тобой, моя милая.

24 декабря. Сочельник

Утром я посылаю милой телеграмму с уведомлением по телеграфу о вручении телеграммы и получаю на почте свои сытинские книжки. Тоска, тягость, «чорт перед заутренней». Надев новую визитку из английского магазина, иду в «Сирин» (Иванов-Разумник и А. М. Ремизов), оттуда едем с А. М. Ремизовым к нему, Серафима Павловна поит меня чаем и кормит ветчиной. Они поехали вдвоем в Казанский собор, а я один — к маме на елку. Подарки, Топушка, маме плохо. Возвращаюсь ночью, нахожу телеграмму (отправлена 6.20):

«двадцет четвертого любви блок вручен 6 ча д». Может быть, милая сама ответила еще сегодня.

<25 декабря.> *Рождество*

Утром — телеграмма от милой: «Здорова, писала, не беспокойся, господь с тобою».

О пьесе кое-что.

Пришел Владимир Алексеевич, взволнованный. По всей вероятности, на днях будет предпринято нами с доктором (Семека с Удельной) путешествие в Куоккалу. Нонна Александровна, вероятно, по-настоящему больна, ее надо увезти в больницу, а детей — поместить отдельно. Бедный и милый Владимир Алексеевич — взволнован совсем, расстроен. Действовать так или иначе — пора. Я дал ему денег.

Усталость. Вялость. Обедал у мамы (тетя, Франц). Маме отчаянно скверно. Душно. Потом — гуляю. Вернувшись к чаю, нахожу *письмо от милой* — усталое.

К Новому году она думает приехать.

«Налетели» «Труды и дни» с А. Белым, Вяч. Ивановым... Влюбленное письмо от Аносо-

вой. Мама, узнав, что еду в Куоккалу, пришла в ужас, был припадок. Говорит (по телефону), что *нельзя* ехать, *нельзя* вмешиваться в дела мужа и жены, у нее — предчувствие. Верно, права, и я согласился от вялости и усталости. Завтра поговорю с ним.

Муть на сердце. Милая, скорее приезжай. Господь с тобой.

Ночью — пьеса. Написал новый конец. — Господь с тобой, милая.

26 декабря

Ехать в Финляндию не пришлось, сама жизнь вступилась. Днем у меня мама. Кажется, вся пьеса ясно встала предо мной.

27 декабря

Утром — две новых сцены для «Розы и Креста».

Тьма телефонов (А. М. Ремизов, Верховский...).

На собрание «Русской молвы» сегодня не иду. Д. С. Мережковский передал по телефону, что Котляревский также рекомендовал меня Теляковскому, что может случиться, что я по-

паду в число четырех членов (Котляревский уйдет).

Послезавтра пойду к Мережковским. Сегодня «Шиповники» обсуждают с Зинаидой Николаевной собрание ее сочинений. Пишу письма.

Днем — зашел Пяст; *мама была совершенно права*. Ясно — и из его слов теперь, — что: Нонна Александровна совершенно другой человек без него, их сочетание создает, очевидно, настоящую душевную болезнь (две истерии). Ему, вероятно, надо совсем отойти. А детям, вероятно, лучше все-таки с ней, чем с ним.

Усталый, «гордый», «неприятный», — такой он теперь часто. Трудно ему жить бесконечно. Милый.

Обедаю у мамы. Вечером у нее Женя, потом...

Телеграфирую милой. Господь с тобой, милая.

28 декабря

Утром писал я пьесу.

Разговор с мамой и А. М. Ремизовым по те-

лефону. Днем купил у букиниста (Семенова) — «Исторические галереи Версаля» (40-е годы -9 томов в 10-ти переплетах) за 7 руб. и 2 тома Грановского — за 2 руб. После обеда зашел к тете, где сидели с мамой.

Телеграмма от Мих. Ив. Терещенко — очень хвалит мою статью (ответ Философову). Книга от Heiseler'a (а недавно — от Вальтера), к стыду своему, и прочесть их не умею.

Прислуга Дуня больна, вчера возили в больницу, позову доктора.

Вечером телеграмма, от милой: «Выезжаю двадцать девятого, приеду тридцать первого утром. Господь с тобой».

Господь с тобой, милая, жду тебя.

29 декабря

Сегодня день рождения моей милой. Ей принесли цветочки, сирень, гиацинты, я вчера заказал. Но беленькие заячьи уши к вечеру уже завяли.

Дописывал стихи вяло, потому что к 6-му часу пошел к Мережковским. Им очень скверно. Зинаида Николаевна совсем слаба и больна. Дмитрий Сергеевич о комитете. Если он

уйдет, то и я с ним (если — *буде* — меня вздумают назначить) (дело уже доходит до министра двора, Теляковский согласен). В январе Мережковские уезжают за границу.

Собственно, важный был разговор, хоть и вялый. За обедом — так болтали. Но последнее слово, которое сказал мне Философов, было, что все должно сделаться, как я говорю («без педагогики» сказать все), но делается это не словесно, а *жизненно*, и не надо думать — как. Знаков к тому много.

В 10-м часу поехали мы с Философовым к Ремизовым, там елка горела, пили чай и наливку, были Верховский, Одинокий и Ф. И. Щеколдин. Устал я под конец страшно, ушел, попал в трамвай, встретившись в нем с Л. Я. Гуревич. Едет с дочкой, совсем больная.

Без меня что-то заходил Мейерхольд.

Завтра буду *писать*.

Милая, я надеюсь, выехала. Господь с тобой, господь с тобой, господь с тобой.

30 декабря

Люба сегодня едет.

Устал бесконечно, скверно сплю. Телефо-

ны: Мейерхольд — приглашает Теляковский к себе 1-го января в 5 часов дня. («Песни Судьбы», новая пьеса (!), комитет). Мама (вчера была на «Профессоре Сторицыне» — в ужасе), Ю. Верховский, Аничков (письмо от m-те Аничковой, 1-го января зовет нас с Любой к себе на сеанс медиума Яна Гузика).

Бездельничаю от всех этих телефонов.

За обедом — телеграмма от милой: «Дома завтра час дня. Люба».

Вечером — гулял, пил чай у мамы — Франц, тетя, Е. О. Романовский...

Милая, жду тебя завтра, господь с тобой.

31 декабря

Утром — я еще не встал — пришел А. Я. Цинговатов, учитель гимназии в Ростове н/Д. — «поклонник», читать свои стихи. Я его спровадил.

Пока гулял, приехала милая, растерянная с дороги. Умывается.

Письма: от Аносовой — стихи, от Скворцовой — поздравление с Новым годом...

Разговоры по телефону с А. М. Ремизовым и Аничковым.

Вечером пойдем к маме — встречать Новый год.

*Ты всё, что сердцу мило,
С чем я сжился умом;
Ты мне любовь и сила;
— Спи безмятежным сном.*

*Ты мне любовь и сила,
И свет в пути моем;
Всё, что мне жизнь сулила;
— Спи безмятежным сном.*

*Всё, что мне жизнь сулила
Напрасно с каждым днем:
Весь бред молодого пыла;
— Спи безмятежным сном.*

*Судьба осуществила
Всё в образе одном,
Одно горит светило;
— Спи безмятежным сном.*

(К. Павлова)

У мамы — елка, шампанское, кушанье! Было уютно и тихо. Сюрпризы в ящиках с гада- ньем — мы с милой получили одно и то же — смеяться. Тетины подарки: Любе — кипсэк,

мне — Баратынский. В яйце, кроме того, у милой — часы, а у меня — мешок для денег. Пришли поздно домой тихой улицей.

Маме было полегче немного, Люба была в белом платье, пила шампанское! и ликер, шутила с Топонькой.

Дай бог светлого на Новый год.

Дневник 1913 года

7 января

Милая — со мной. Мама первая позвонила по телефону, едет поздравить Ивановых, ей сегодня недурно.

В прошлом году рабочее движение усилилось в восемь раз сравнительно с 1911-м. Общие размеры движения достигают размеров движения 1906 года и всё растут. Оживление промышленности. Рост демократии.

Люба идет к Веригиной — разговаривать о «Враче своей чести», которого они хотят поставить в Тенишевском зале с Мейерхольдом.

В 5 ч. пришел я к директору императорских театров Теляковскому. Сидели там с Мережковским и Головиным часа 15. Директор — благодушный, невежественный, наив-

ный и слабый. Все говорит о том, почему людям жить плохо, о вреде цивилизации, о том, что в моторах ездят те, кому некуда торопиться, о вегетарианстве, о потере своей невинности. Выспросил меня подробно о «Заложниках», о «Сторицыне», о «Дон-Жуане». О «Песне Судьбы» — читал отрывки — мы с Мережковским объясняли. Я сказал, что в том виде, в каком пьеса существует, я ей недоволен. Советовал Ибсена, Стриндберга. Д. С. Мережковский рассказывал, что Орленев будет играть в Париже Павла.

Теляковский — приятель Черткова и Трепова (и Шаляпина). Такие сочетания бывают в России. Тоже, пожалуй, только в России бывает, что Трепов в пору своего полицмейстерства прячет у себя бумаги Черткова и тщетно просит того взять их у него. Полный хаос: с одной стороны — тяготение к Горькому (через Шаляпина). Тут же вьется умная и красивая лисица — Головин.

Разговоры о комитете и о «Песне Судьбы» оставлены пока до следующего раза. Дмитрия Сергеевича я проводил до Моховой с Россиевской площади — резкий ветер, холод.

Пообедав, мы с Любой поехали в такси-оте к Аничковым. Собрание светских дур, надутых ничтожеств. Спиритический сеанс. Несчастный, тщедушный Ян Гузик, у которого все вечера расписаны, испускает из себя бедняжек — Шварценберга и Семена. Шварценберг — вчера был он — валяет столик и ширму и швыряет в круг шарманку с секретным заводом. Сидели трижды, на третий раз я чуть не уснул, без конца было. У Гузика болит голова, надуваются жилы на лбу, а все обращаются с ним как с лакеем, за сеанс платят четвертной билет. Первый раз сидел я, сцепившись мизинцем с жирной и сиплой светской старухой гренадерского роста, которая, рассказывала, как «барон в прошлый раз смешил всех, говоря печальным голосом: дух, зачем ты нас покинул?» Одна фраза — и ярко предстает вся сволочность этой жизни. Аничковы живут на Каменном острове, в даче Мордвиновых, при уюте — неуютно. Кулисы — клянченье авансов и пропуска все сроков в уплате жалованья Ивойлову. Машина для записыванья разговора, для которой не могут найти переписчицы. Во время сеанса

звонил Куприн, а Аничков ему ответил, что сеанса нет, — потому что он всегда пьян и нельзя его пригласить в общество светской сволочи. Сволочь-то в сто раз хуже Куприна. Люба бранится страшно. В сынке Аничкова, плохо говорящем по-русски, носящем на гимназическом мундирчике дедовскую медаль 12-го года, заставляющем слушаться духа и читающем мои стихи, — есть что-то хамское. Мать Аничкова — хорошая, прямая старуха с живым лицом.

Второй и третий раз я сидел между милой и Пястом.

Вот — жизнь, ни к чему не обязывающая, «средне-высший» круг. У Толстых было, пожалуй, в этом роде, хотя подлиннее, значительнее, потому что графиня... не аристократка, привыкшая к парижским растакуэрам. М-те Аничкова все-таки крупнее своих знакомых дам и подлиннее их; не то они — кокетки, не то — кухарки; и барышня с соблазнительной мордочкой и знаком Изиды на груди; мерзко. Бедный Аничков.

Ремизовы не приехали и хорошо сделали, расстроились бы. Мы с милой уехали в 3 часа

ночи — опять, разумеется, в такси, подвезли Пяста и «молодого» человека с масляной рожей. Бессмысленное времяпрепровождение ведет к бессмысленной трате денег. Вернулись — усталые.

Директор театров выпытывал у меня о «Розе и Кресте». Об этом ему разболтали Мережковский и Мейерхольд, а мне — неловко перед М. И. Терещенко. От него — поздравительная телеграмма из Лондона, — вот рыщет по свету! — Поздравительная телеграмма от Руманова — с желанием скоро встретиться и благодарностью за детские книжки, которые я ему послал.

Опять Н. Фан-дер-Флит. Поздравляет с Новым годом.

2 января

Сегодня — оскомины после вчерашних лжей и смута на сердце. Днем — в «Сирине», Ремизов, Разумник, все смута. А. М. Ремизов бранит Брюсова, говорит, что романы его — «просто ничто», хочет хлопотать о том, чтобы издал «Сирин» полное собрание Гиппиус («если уж Брюсова»). Вернулся — письмо от Бори:

двенадцать страниц писчей бумаги, все — за Штейнера; красные чернила; все смута.

Милая вечером у Веригиной. Мейерхольд не хочет играть с ними (ставить «Врача своей чести»), говорит — гонорар мал.

Засяду эти дни, доработаю, необходимо, станет все яснее.

3 января

Днем у меня мама. Люба днем покупала себе зеркало и занавески, а вечером — к своим. — Сонливость, безделье. Отоспаться и работать.

4 января

Сон тревожный. Четвертое действие «Розы и Креста». В 4 часа дня — А. Я. Цинговатов, читал свои стихи — любительские, для себя. Бедный: рыжий, толстый, старообразный, а сам — ровесник Сережи Соловьева — 27 лет. Обстоятельства не позволили остаться при университете (Московский, филологический), учитель русской словесности в Ростове на Дону, кормит жену и ребенка... не дают жить. «А вы пьете?» — Нет, не влечет, хотя отец пил.

Вот самоубийством «это» может кончиться. Он приехал из Ростова «увидеть всех», был у Розанова, Сологуба, Кузмина, в «Сатириконе» у Потемкина...

Вечером принес моей маленькой, которая сидит дома в уюте (горлышко побаливает), шоколаду, пирожного и забав — фейерверк: фараоновы змеи, фонтаны и пр.

5 января

Днем я заходил к маме — там была Ася. Ночью долго не спал. «То сирена кличет с далеких камней — плач забытых теней — берег смытых дней...» (Вяч. Иванов). — Люблю это — мрак утра, фабричные гудки, напоминает...

Резкий ветер, бесснежный мороз. Милая мыла свои золотые волосы, была дома. Все думает она про себя: «О, как на склоне наших лет...» Пока я гулял вечером, горничная принесла письмо со стихами с Пушкинской улицы (в том же доме, где «Сирин»). По-видимому, женщина, автор, читала Фета, классиков... меня... Письмо хорошее, вежливое, в стихах есть старинное, простое, но в общем — слабо,

банально, несмотря на удачные выражения. Чувства настоящие.

6 января

Ужасный сон, ужасный день... Обедали у мамы с милой (тетя, Е. О. Романовский). Вечером — забрели с милой в кинематограф в дом Коммиссаржевской. — Перелагал в стихи некоторые новые сцены «Розы и Креста».

7 января

День мучительный — болен. Пишу почти целый день. Ссорюсь с Любой. Написано все — только *несколько* еще «ударов кисти» и монолог Изоры с призраком. На ночь — читаю Любе, ей нравится и мне. Успокоение.

Мама была у меня весь день. Вечером — «Кабачок смерти» в кинематографе и такая красавица в трамвае, что у меня долго болела голова. Похожа на Изору.

Ремизов болен, лежит.

9 января

Утром написал последнюю сцену — Изора, ее монолог. Остается только отделка. Послал

телеграмму М. И. Терещенко.

Днем — гулял. Болят десны, скоро замучиваюсь, сонливость.

Ужасный разговор с Любой, я грубо браню ее за *соц*, за то, что не живет, не видит, она отругивается. Кончилось — гармоничнее.

Вечером были у нас: *Пяст* — измучен женой я детьми, но светлее, лучше, чем последнее время. *Женичка*, возбужденный, пишет доклад в религиозно-философское собрание. Юрий *Верховский* — притихший, милый. Ник. Павл. *Бычков* — говорил о необходимости кружка, мы спорили, разные языки, в нем много обывательщины.

У Ремизова оказался грипп. Серафиме Павловне опять хуже. — Поликсена Сергеевна была вечером у мамы, хочет посвятить мне стихотворение в новой книжке. — Мережковский через Женю передает мне привет, пишет обо мне статью. Слухи о приезде Вяч. Иванова.

Большие забастовки и демонстрации.

10 января

Утром — ответная телеграмма от М. И. Те-

рещенки. Разговор с Женичкой, который писал всю ночь, а потом пошел в Лавру на могилу В. Ф. Коммиссаржевской (по *десятым* числам...).

Днем пришла Ангелина, обедала. При ней — М. Ф. Гнесин, на минуту к Любе — за «Финикиянками». Я опять неприметно измучился. Вечером — Люба в концерте, где исполняют Гнесина (с Веригиной?). (Нет, в кинематографе — вернулась, вместе чай пили.)

Жестко мне, тупо, холодно, тяжело (лютый мороз на дворе). С мамой говорю по телефону своим кислым и недовольным голосом и не могу сделать его другим. Уехать, что ли, куда-нибудь. Куда?

Ангелина принесла мне (нам) прочесть свои стихи — плохие, с хорошими девическими чувствами.

С Ремизовым говорили хорошо, я советовал д-ра Грибоедова для Серафимы Павловны. Оба мы с ним — больные.

Люба говорит: если бы я уехал, и она бы сейчас же уехала. Да и так, вероятно, уедет опять...

Трудная зима.

А. М. Ремизов сообщил, между прочим, что Садовского выгнали из «Русской молвы», но он относится к этому добродушно — есть Чайкина.

11 января

Письмо М. И. Терещенке и ответ авторше повести в стихах «Венок». Днем — у мамы (О. А. Мазурова). Десны. Вечером получил молитву, которую на днях получила и разослала девяти лицам Люба.

12 января

Переписка, переделка, спячка, десны замучили. Люба днем поздравляет тетью (подарила тарелки, цветы от меня), вечером — у Веригиной. Я вечером захожу к тете, часа на полтора — Гущины, Е. О. Романовский, Вастен, Федорович — уютно, мило. Уходили с мамой — в ванны.

Телефон с Ге (хотел прийти, я не пустил), Александрой Николаевной Чеботаревской (у А. М. Ремизова воспаление левого легкого — она говорила от него). Вяч. Иванов не приезжал, переводит в Риме Эсхила. Предполагае-

мое общество «Ревнителее художественного слова» — мне надо сложить с себя полномочия.

Впечатления последних дней. Ненависть к акмеистам, недоверие к Мейерхольду, подозрения относительно Кульбина.

Ангелина «правеет» — мерзость, исходящая от m-me Блок, на ней отразилась.

«Русская молва» — хорошее впечатление от статей вокруг 9 января. Яремич. Хорошо, что Садовского выгнали, — он не умеет, много не понимает.

П. С. Соловьева — ее стихи, будущий доклад ее и Женички. Женичка и 1905 г. — большое место, чуть-чуть, но большое.

Скоро начинать видеться с людьми, кончать пьесу и все с ней связанное.

Приехала Люба, с 3-го ночи, слушала романсы. Сегодня провинилась два раза: ей понравилась наружность Али Мазуровой, и она причесалась у парикмахера. Для того чтобы А. Мазурова превратилась в человека, если это возможно, следует беспощадно уничтожить все в ней: наружность, мнения, ломанье.

Надо ли выбирать между Коммиссаржевской и Мейерхольдом? Все такое скоро придется решать.

Милая, господь с тобой. И мама.

13 января

Припоминаю, что говорила Ангелина. Понимаю, отчего было так тяжело. Гнусная вонь, исходящая от т-те Блок, в ее словах была. Вот «букет»:

Увидав, что при «Ниве» Л. Андреев и пр., они перешли с «Нивы» на «Исторический вестник». — Жизнь идет своим путем и загоняет мокриц постепенно во все более и более зловонные ямы. Я бы только радовался этому, если бы жертвой не была моя сестра.

Руссо есть опасная революционная величина. Об «Эмиле» говорится не без трепета.

Мережковский — под подозрением: его смех и как он подает Гиппиус пальто. Хорошо, верно, но... что из этого последует?

Верховая езда с этим карликовым артиллеристом в манеже «по-мужски» и «балы во второй бригаде».

Болтовня о подругах — ничтожнейшая — с

подробными биографическими сведениями, как принято в захолустье. «Вышла замуж, चाहотка, муж офицер...»

И рядом: «преосвященный Гермоген»... Что будет с девушкой, которая растет среди, тихих сумасшедших? Или — махнуть рукой?

Бесцельный день. Вечером пил чай у мамы.

15 января

Деснам полегче. Вчера днем переписывал пьесу, вечером пошел в оперетку. Почти все — бездарно и провинциально, в России вывозит обыкновенно комик. Примадонна (Потопчина) бесстыдна не художественно, а более житейски. Все-таки — хорошенькая, и в театре — красивые женщины.

Сегодня днем у меня была мама. А. М. Ремизову получше, температура нормальная. Серафима Павловна видела сон о нашей квартире, который он записал. — Вечером я в «Нюрнбергских мастерзингерах». Очень устал. Все — «штатское» — и пенье. Все-таки — плаваешь в музыкальном океане Вагнера. Как жаль, что я ничего не понимаю.

16 января

Под напевами Вагнера переложил последнюю сцену в стихи. Днем, едва собрался в «Тропинку» с мамой, пришел Александр Васильевич Гиппиус. Милый, хороший, болтали, обедал. О братьях его.

Письмо от А. М. Ремизова. Телефон от Садовского. Телефон с Пястом. С мамой.

Люба думает о кружке, завтра они собираются у мамы. К ней утром пришли родственники — Надежда Яковлевна Губкина. Не знает она, что делать, как жить, не живет; тяжело было бы, если бы не так сонно.

17 января

Завтракал у мамы. Дописываю (переписываю) четвертое действие. Обедала Веригина. Вечером у мамы — собрание, на котором я не присутствую (Люба, Бычковы, Женя, Бонди...). Мама по телефону (ночью) хвалит, я тоже начинаю верить, что милой будет легче среди хороших людей.

А. М. Ремизов слаб, больше лежит. Советую Серафиме Павловне д-ра Грибоедова, который

был сегодня у мамы, не похвалил ее состояния и опять предлагал внушение («8 сеансов — на всю жизнь»).

Письмо от В. Сытина с предложением дать стихи в весенний альманах «Вербочки».

20 января

Вчера — кончена «Роза и Крест».

Телеграмма от М. И. Терещенки, который приезжает в среду. Обедала у нас очаровательная Л. Д. Рындина. Вечером — религиозно-философское собрание. На доклад П. С. Соловьевой мы с мамой опоздали, остальное было мучительно: Женя запутался, Карташев его выругал. Масса знакомых, разжижение мозга.

Метнер, Руманов. Присутствовала Вера.

После пили чай у мамы.

Сегодня — утром разговаривал с мамой, потом звонила П. С. Соловьева, долго говорила о «деле», о котором говорил Карташев, о Жене соболезновали, о любви к Мережковскому, о том, что надо делать. Если не могут указать дела, — закрывать Религиозно-философское общество, говорит П. С. Соловьева.

У мамы днем был припадок по поводу Жени. Потом у нее обедали всякие Кублицкие.

У нас обедал Метнер, ушел около 11-ти часов вечера, Люба вечером была в уборной у Рындиной, мы с Метнером долго говорили. Вчера меня поразило еврейское в его лице, а сегодня он произвел на меня очень хорошее впечатление.

О «человечности» Гёте, у которого были все возможности «улететь», но который не улетал, работая над этим тяжело и сознательно. Не ускорять конец (теософия), но делать шествие *ритмичным*, т. е. замедлять (*культура*). О Боре и Штейнере. Все, что узнаю о Штейнере, все хуже. Полемика с наукой, до которой никогда не снисходил Ницше (который только приближал науку, когда она была нужна, и отталкивал, когда она лезла не туда, куда надо).

В Боре в высшей степени усилилось самое плохое (вроде: «я не знаю, кто я»... «я, я, я... а там упала береза»). Этому содействует Ася, Матерьяльное положение Бори («Мусагет», М. К. Морозова и «Путь», провал с именем). Неуменье и нежеланье уметь жить.

Иисус для Штейнера, — тот, который был «одержим Христом» (?). Скверная демократизация своего учения; высасывание «индивидуальностей». Подозрения, что он был в ордене (розенкрейцеров) и воспользовался полученным там («изменник»). Клише силы.

Изобретение Скрябина: световой инструмент — рояль с немymi клавишами, проволоки от которых идут к аппарату, освещающему весь погруженный во мрак зал в цвета, соответствующие окраске нот. Красное *до* для Метнера — белое. Зато *ми* у всех (и у Скрябина, и у Римского-Корсакова, и у Метнера) — голубое.

«Секта», искони (с перерывами) хранящая тайную подоснову культуры (Упанишады, Geheimlehre[65] — Ареопаг, связанный с элевсинскими мистериями). Я возражаю, что этой подосновой люди не владеют и никогда не владели, не управляли.

Несколько практических разговоров о «Мусагете», «Сирине», Боре и мне.

Рассказал «Розу и Крест». Просит для брата песню Гаэтана. Заинтересовался.

Говорил о «Песнях Розы и Креста» Брента-

но и о «Состязании певцов» Гофмана («Серапионовы братья»).

21 января

Днем у мамы. Мягкий снег. Перед ночью — непоправимое молчание между нами, из которого упало слово, что она опять уедет. Да, предстоит еще ее отъезд, а летом хочет играть где-то... Верно, придется одному быть, 10 лет свадьбы будет в августе.

22 января

Телефон с А. Н. Чеботаревской, А. М. Ремизовым. Милая на репетиции каких-то кулис какой-то щепкиной-куперник в Александринке — игра достойная (партия, которую надо выкурить, зараза в воздухе театра: г-н Давыдов с учениками, г-жа Мичурина и пр., о ком и говорить стыдно).

Я днем читаю «Розу и Крест» маме (тетя, О. А. Мазурова). Всем понравилось.

Кульбин принес эскиз занавеса. Красивый. Сам сидел на диване. Усталый, я почему-то иногда чувствую его уют.

Милая сказала мне к вечеру: «Если ты ме-

ня покинешь, я погибну там (с этим человеком, в этой среде). Если откажешься от меня, жизнь моя будет разбитая. Фаза моей любви к тебе — требовательная. Помоги мне и этому человеку».

Все это было ласково, как сегодняшней снежно-пуховый день и вечер.

Мама и Франц слушают «Онегина» (г. Собинов). Мама говорит — бездарен до смешного.

Милая, господь с тобой.

23 января

Приехал М. И. Терещенко, был у А. Белого в Берлине. Мы условились, что я завтра приду в «Сирин». Вечером у меня — Пяст, хороший разговор обо многом. Дети уже взяты им, жена его — острый психоз, надо в больницу, пока не хочет.

Милая ночью — в «Бродячей собаке», — «лекция» Ауслендера, хочет возражать Веригина.

Поздно ночью ушел Пяст.

Господь с тобой, милая.

24 января

В 3 часа приехал в «Сирин», туда же приехали Терещенко с сестрами, потом — Иванов-Разумник. Сидели долго. Метнер звонил туда мне. А. Белый не очень понравился М. И. Терещенке (опять, как и о Метнере, отмечает «юркость»), но говорит — умный. Потом мы с М. И. Терещенко поехали к А. М. Ремизову, сидели там, потом он отвез меня до себя, а от него меня довез его шофер. У Любы уже была Веригина. Они пошли на свое собрание к маме. Все было хорошо, но кончилось припадком мамы (Люба что-то запела). Раскаивается.

25 января

Телефон от Зонова — «Кармозина» идет в марте. Утром телефон — волнующийся голос. Курсистка Валентина (?) Ивановна (?) Левина — до меня дело, больна, чтобы я пришел. Прихожу днем, неожиданно для нее, 6-й этаж (Архиерейская, у Каменноостровского), грязь, вонь, мрак... красивая прозрачная еврейка (дворник сказал имя) — дед, польское восстание, ящик рукописей, не знала — куда, польское общество закрыто, печатать, часть переведена (с польского)... Не знаю, при чем я и

что все это значит.

Вечером должен был читать Терещенкам «Розу и Крест», но они разболелись. Пил чай у мамы, которая давно простужена. Тихо. Топушка — шалун, уносит туфли и калоши. Минуло полгода.

Люба вечером в кинематографе, покрикивает у рояля, сидит в ванночке.

29 января

Дни для меня значительные. 26-го сидели с Терещенками в «Сирине». У Любы вечером была Муся, которую и я застал. 27-го — тяжкая оттепель, весь день тяжело — и маме. Вечером читал «Розу и Крест» у Терещенок (им троим). Бог знает чего мне наговорили. По-настоящему очень, видно, что по-настоящему. Все вместе вышли и поехали.

Вчера записал тетю и себя в союз драматических писателей и делал всякие денежные дела.

Сегодня — рождение Франца, но у него весь день «военная игра».

Стригу до поздней ночи стихи, подготовлю новое издание. Стрижешь, а мысли идут.

Прервал какой-то господин Миронов (муж О. М., сестры К. М. Садовской?) — устраивает вечер памяти В. Ф. Коммиссаржевской. Я отказался и резко выбранил всех участников.

Заходил к Поликсене Сергеевне Соловьевой — по поводу вечера, где мы с ней будем читать стихи Вл. Соловьева, а какие-то актеры — ломать «Белую лилию» (Наталья Ивановна Манасеина просила меня от В. П. Тарковской). Вечером — в «миниатюре» на Английском проспекте, а Люба — у Веригиной. Телефон с мамой и М. И. Терещенкой.

С милой ссорились (из-за актерства и Мейерхольда) со вчерашнего вечера. В вечеру помирились. Она в постельке, потягивается. Опять уедет скоро, может быть, на той неделе.

Непоправимость всего, острая жалость ко всем. К Разумнику в синей визиточке — косой, трудится. К Мейерхольду — травят. И Терещенки, и Ремизовы, и мы...

Мама была вечером в кинематографе с Франции.

31 января

Вчера — днем у мамы (с тетей). Вечером у А. М. Ремизова, читал «Розу и Крест» (Терещенки, Серафима Павловна, Зонов). По тому, как относятся, что выражается на лицах, как замечания касаются только мелочей, вижу, что я написал наконец настоящее. Все остальное — тяжело, трудно, нервно. Что будет с пьесой дальше, — не знаю.

Замечания: М. И. Терещенко: короткий монолог Бертрана (4-я сцена 4-го действия) «дописать» — обновить. «Встать на плечи» — «чуть-чуть противно», но «так он и должен». Всё — «из одного куска». В горле щекочет. Брань актеров, Андреева, Сологуба и мн. др. (изнервлен, сегодня уехал в Cannes по какому-то делу).

Елизавете Ивановне нравится, молчит, видно по лицу.

Пелагея Ивановна — за Гаэтана. Алискан — «лицеист».

А. М. Ремизов — «чисто» (без рассуждений). «Голова идет кругом» (а не «кругом»). Гаэтан — «летучий», Бертран — земля. Все повторял: «очень печально».

Зонова я не понимаю. Он очень хвалил, но,

как он все говорит, я не знаю.

Люба сегодня в кружке, который собрался у Веригиной и которым она, окапывается, во-все не очень интересуется. Мы много спорим, иногда ссоримся, но милая как-то нежнее со мной.

3 февраля

С утра пошел на крестины — крестил младшего сына Пяста. Веселый, пухлый, щека, каприз, 2-й год. Обряд прекрасный. Оба мальчика прекрасные. Взрослые проигрывают рядом с ними особенно. Был крестинный обед, недоразумения с отцом и попом, разумеется, досидел до 5-ти часов, усталость и отрадное чувство от детей и от обряда.

Небо становится весенним на закате, перисто.

В 9-м часу стали собираться у нас: мама, теть, Женя, Пяст, Веригина с мужем, Александра Н. Чеботаревская, В. Н. Соловьев, Ю. М. Бонди, С. М. Бонди, Мейерхольд с женой, Иванов-Разумник. Я прочел «Розу и Крест». Опять сильное впечатление, хороший вечер.

Мейерхольд: отсутствие актеров на эти ро-

ли, связанность сцен. Жена смотрит на него, выпуча глаза, внушает, держит его, он слушается. А четыре года назад — напомнила Люба — приходил ко мне советоваться, разойтись с женой или нет. Ее все ненавидят, она все-таки умна и знает это положение свое, крайне трудное, несет с честью, если может быть в таких положениях, в таком «консерватизме» — честь. Мейерхольд, невзначай будто бы, выспрашивает, правда ли, что «антреприза Зонова субсидируется Терещенкой, а мы с А. М. Ремизовым — пайщики», и т. п., -невероятный вздор, мещанские сплетни. Также — о Станиславском. При всем этом он мило дурачился, и, мне кажется (как ни трудно всегда это в нем разобрать), ему понравилось искренно: по-человечески он меня крепко поцеловал. Женичка, дослушав, растрогался и спрятался в окно, за занавеску. Лицо у него дрожало. Говорит, что конец — «его», а юмор с капелланом и т. п. — слабее.

Пяст говорил, что так лучше, чем я рассказывал, и указал на совпадение ритма моего лейтмотива («Радость — Страданье одно») с его (в его «опере»): «Фея, Коринна, Любовь».

Александра Николаевна Чеботаревская: Бретань — как родная страна, «откуда у вас сила», «вклад в русскую словесность», давно не приходилось читать такой вещи, опасность заглавия, прозрачность, стиль (вместе с Мейерхольдом).

Разумник одобрил и ушел без чаю, торопился к себе в Царское Село, сказал: «Поговорим в „Сирине“».

Соловьев В. Н. - о достоинствах первого акта, начало слов графа оценил.

Бонди — о петухах (как М. И. Терещенко). «Абсолютная правда». Запомнил некоторое наизусть.

Много говорили о втором акте. Маме понравилось больше, чем когда я читал им с тетей.

Милая тихо хозяйничала, всех угощала, относилась ко мне нежно.

4 февраля

Телефоны, письма (Тыркова, Л. Я. Гуревич, Сытин, Ремизов). Иванов-Разумник указывает, что сцена, где Алискан становится на плечи Бертрану, может быть воспринята публи-

кой как роستانовская («Сирано до Бержерак»).

5 февраля

Разумник (в «Сирине»). Может быть, слишком часто: «Как ночь прекрасна». Соображения о «трагедии» и «драме» (рождение человека и смерть человека). Если так, то не все ли — трагедия? Например, «Пятая язва» (не говоря о Достоевском). Дело трагика — почувствовать трагедию во всякой человеческой драме (даже в упавшем на голову кирпиче, в случайно раздавившем автомобиле). Когда это будет почувствовано, понятие «драмы» в том смысле, как оно испоганено во второй половине XIX века (т. е. «кончается плохо»), — околеет. Слово «брат» (в звательном падеже) — не слишком ли по-русски?

Телефон с А. М. Ремизовым и с Румановим. О «Сирине» (с А. М. Ремизовым) — «обновить», прибавить крови, уже застывает (мама). Руманов сообщает, что Мережковские поехали из Парижа на Ривьеру.

6 февраля

Телефон с Философовым.

Днем — у мамы. О Жене, ее опасения. Вечером — с милой в кинематографе.

7 февраля

Одна из годовщин. В 7 ч. 25 м. вечера (поезд) моя милая поехала в Житомир.

Вечером — у мамы (тетя, Женя, Ю. М. Бонди, В. Н. Соловьев, Н. Бычков). У мамы — припадок. Разговоры о кружке.

8 февраля

Днем — мама у меня.

9 февраля

Утром — телеграмма от милой: «Доехала благополучно, господь с тобой, Люба». Скучаю. Днем — телефон с А. М. Ремизовым, зашел к маме. Вечером — «Садко» в «Музыкальной драме». Ничего нет нужнее музыки на свете; омытый ею, усталый. Там встретил милую Ольгу Качалову с мужем (Владимирский), который из красавца брутета превратился в рамолика, отчего стал милее. Болтали в антрактах. Господь с тобой, милая.

10 февраля

Четвертая годовщина смерти Мити. Был бы теперь 5-й год.

Третья годовщина смерти В. Ф. Коммиссар-жевской.

Только музыка необходима. Физически другой. Бодрость, рад солнцу, хоть и сквозь мороз.

Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один, отвечаю за себя, *один* — и могу еще быть моложе молодых поэтов «среднего возраста», обремененных потомством и акмеизмом.

Весь день в Шувалове — снег и солнце — чудо! Обедал у мамы, тетя, вечером пришел туда Женя. В 10 час. вечера все ушли, у мамы опять очень болит спина.

Обиженное письмо от А. Белого. Милая, где ты теперь? Господь с тобой.

11 февраля

День значительный. — Чем дальше, тем тверже я «утверждаюсь», «как художник». Во мне есть инструмент, хороший рояль, струны натянуты. Днем пришла особа, принесла «по-

четный билет» на завтрашний Соловьевский вечер. Села и говорит: «А „Белая лилия“, говорят, пьеска в декадентском роде?» В это время к маме уже ехала подобная же особа, приехала и навизжала, но мама осталась в живых.

Мой рояль вздрогнул и отозвался, разумеется. На то нервы и струновидны — у художника. Пусть будет так: дело в том, что *очень* хороший инструмент (художник) *вынослив*, и некоторые удары каблуком только *укрепляют* струны. Тем отличается внутренний рояль от рояля «Шредера».

После того я долго по телефону нашептывал Поликсене Сергеевне аргументы против завтрашнего чтения. В 12 часов ночи — звонок и усталый голос: «Я решила *не* читать». — Мне удастся убеждать редко, это большая ответственность, но и радость.

После обеда посидел у мамы. Вот мысли, которые проходили сегодня в мозгу, отдыхающем, работающем отчетливо (от музыки и Шувалова).

Женя. Я просто не понимаю его *грамматики*.

Его фразы *никак* не связаны с предшеству-

ющими им фразами. Мама говорит о мозговом недостатке. Может быть. Утешительно одно: Женя ничего не завивает вокруг себя, все его отталкивают, он чист и подлинен, и то, чего он не умеет сказать, следовательно, подлинно.

А. Белый. Не нравится мне наше отношение и переписка. В его письмах — все то же, он как-то не мужает, ребячливая восторженность, тот же кривой почерк, ничего о жизни, все почерпнуто *не* из жизни, из чего угодно, кроме нее. В том числе это вечное наше «Ты» (с большой буквы).

Почему так ненавидишь все яростнее литературное большинство! Потому что званных много, но избранных мало. Старое сравнение: царь — средостенная бюрократия — народ; взыскательный художник — критика, литературная среда, всякая «популяризация» и пр. — люди. В *ЛИТЕРАТУРЕ* это заметнее, чем где-либо, потому что литература не так свободна, как остальные искусства, она не чистое искусство, в ней больше «питательного» для челядиных брюх. Давятся, но жрут, питаются, тем живут.

Если б я когда-нибудь написал произведение, которое считал бы необходимым сообщить людям, я бы пошел на *цинизм*, как, вероятно, делает Дягилев. Надо надуть обманутых (минус на минус дает плюс): обмануты — люди.

Я учредил бы контору, владеющую всеми средствами современной «техники» (в ложной культуре) для раздачи бутербродов Арабажиным всей Европы. Окупились бы все расходы: но, *что главное, ценность* была бы представлена людям, они бы ее увидели и задумались бы.

Всякий Арабажин (я на знаю этого господина, он — «только символ») есть консистерский чиновник, которому нужно дать взятку, чтобы он не спрятал прошения под сукно.

Сиплое хихиканье Арабажиных. От него можно иногда сойти с ума. Правильнее — забить эту глотку бутербродом: когда это брюхо очнется от чавканья и смакованья, *будет у лее поздно*: люди увидят ценность.

Миланская конюшня. «Тайная вечеря» Леонардо. Ее заслоняют всегда задницы английских туристок. Критика есть такая задница.

Следующая мысль есть иллюстрация:

Сатира. Такой не бывает. Это — Белинские о-и это слово. До того о-и, что после них художники вплоть до меня способны обманываться, думать о «бичевании нравов».

Чтобы *изобразить* человека, надо *полюбить* его = узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что временами — больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова — особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли»...

Отсюда — начало порчи русского сознания — языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве, вплоть до *мелочи* — полного убийства вкуса.

Они нас похваляют и поругивают, но тем пьют нашу художническую кровь. Они жиреют, мы спиваемся. Всякая шавочка способна превратиться в дракончика. Вот за что я не люблю вашу милую m-me Ростовцеву, Поликсена Сергеевна! Эти, которые заводятся около искусства, они — графини Игнатьевы. Они спихивают министров и приручают, — сказать противно, — m-me Блок (Марью Тимо-

феевну Беляеву). Это от них — так воняет в литературной среде, что надо бежать вон, без оглядки. Им — игрушки, а нам — слезки. Вернисажи, «Бродячие собаки», премьеры — ими существуют.

Патронессы, либералки, актриски, прихлебательницы, секретарши, старые девы, мужские жены, хорошенькие кокоточки — им нет числа. Если бы я был чортом, я бы устроил веселую литературную кадриль, чтобы закружилась вся «литературная среда» в кровосмесительном плясе и вся бы провалилась прямо ко мне на кулички. Ну, довольно.[66]

У мамы по вечерам сильная боль в спине. Милая моя, господь с тобой.

14 февраля

Сегодня к вечеру пришло письмецо от моей милой.

Дни все скучнее и тяжелее. Прятанье от Соловьевского вечера, на следующий день — у Поликсены Сергеевны, дамы говорят и в газетах пишут все не то, что было. Актеры ломались, Аничков кощунствовал, память Вл. Соловьева оскорблена. Тоска воплотилась для

меня в шлянье по банкам — все отвратительнее становится это занятие. У мамы был доктор Грибоедов, наговорил пошлостей.

Кинематографы и пр. Сегодня вечером у мамы — с тетей Софой, которая приехала на несколько дней из Сафонова.

Милая моя, господь с тобой.

15 февраля

Пока я гулял на Стрелке, звонил ко мне приехавший Михаил Иванович Терещенко. Воротясь, я позвонил, мы болтали. Новые замечания о «Розе и Кресте» — читали в вагоне «Франческу да Римини», есть сходные положения, но, говорят, до какой степени д'Аннунцио поверхностнее, трескучей (еще сближение: у д'Аннунцио тоже доктор, говорящий о меланхолии). Не хотят издавать *всего* А. Белого — до 30-ти томов! («топить и его и себя»). Очень не нравится начало романа («Петербург») в том виде, как набрано у Некрасова. Не нравятся также путевые заметки. Об альманахах я высказался объективно, что надоели они (мама мне это говорила).

Маму знобит, слабая, я пил у нее вечером

чай, купил ей куст сирени.

Милая, господь с тобой.

16 февраля

Значительный день. Днем — в «Сирине», туда Терещенки приехали с генеральной репетиции «Электры» Штрауса, страшно бранясь. Все, что я предполагал о постановке этой оперы Мейерхольдом (и Головиным), кажется, сбылось. Все костюмы, позы и прочее взяты из немецкой книги (единственной существующей) — срисованы прямо. А книга есть *начало* изучения критской культуры по тем небольшим еще данным, которые добыты из раскопок.

Обсуждение больших вопросов — об А. Белом (роман, путевые заметки, собрание сочинений — не полное, письма Метнера — уже настойчивые и грозящие потомством, дурное отношение к А. Белому Иванова-Разумника).

Пообедав на Николаевском вокзале, я пошел к Жене. Он объяснял мне вавилонскую систему, позже пришел г-н Архангельский со своей женой (невенчаны).

Характерные южане, плохо говорящие по-

русски интеллигенты, парень без денег, но и без власти, без таланта, сидел в тюрьме, в жизни видел много, глаза прямые. Это все — тот «миллион», к которому можно выходить лишь в *БРОНЕ*, закованным в форму; иначе эти милые люди, «молодежь» с «исканиями» — растащит все твое, все драгоценности разменяет на медные гроши, все растеряет, разиня рот. Женя этого не понимает, но в нем самом есть единственная неистребимая и неразтворимая ценность: он — «лучший из людей». — Сидели до 2-х часов ночи, г-н Архангельский все разевал на меня рот, дивовался, что я за человек. — Мороз страшный.

17 февраля

Сегодня от упиранья и самозащиты голова болит. Бродит новая мысль: написать о человеке, *власть имеющем*, — противоположность Бертрану. Тут где-то, конечно, Венеция, и Коллеоне, и Байрон. Когда толпа догадалась, что он держал ее в кулаке, и пожелала его растерзать, — было уже поздно, ибо он сам погиб. Есть нечто в М. И. Терещенке. Вчера он был в старой шапке, уютной, такие бывают

«отцовские» шапки.

На этих днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — «Насильники». Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь его отравляет Чулков: надсмешка над своим, что могло бы быть серьезно, и невероятные положения: много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь я искусство состоят из «трюков» (как нашептывает Чулков, — это, впрочем, мое предположение только), — будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме *одного*, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение *всего*, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение *одного* — той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются.

Примечательное письмо от госпожи Санжарь. Все-таки это хорошо, что мне так пишут.

Солнце, утро, догаресса кормит голубей, го-

лубая лагуна. — *Дальний* столбик со львом — в стороне вокзала. — Когда бросаются его растерзать, он погиб, но «Венеция спасена» — путем чудовищного риска, на границе с обманом, «провокацией», причем и «достойные» (но «не имеющие власти») пали жертвой. Какой-то заговор, какая-то демократка несказанной красоты, карты, свечи (если XVIII столетие; тогда уже — без догарессы).

Иду обедать к маме. Прочел повесть Пушкина, перепечатанную из «Северных цветов». Несколько фраз явно — его.

18 февраля

Тяжелый день. Банк, нищий Русинов, телефон с Г. Ивановым, отчаянное письмо от А. Белого — переговоры с М. И. Терещенко и А. М. Ремизовым. Вечером — премьера «Электрики», для меня — как будто ничего не было. Мы в бенуаре (мама, тетя, Франц), к нам заходил М. И. Терещенко.

21 февраля

19 февраля — днем в «Сирине». Решение относительно А. Белого (собрания не изда-

вать, романа ждатель, «Путевые заметки» — отдельной книгой). Вечером заехал за мной М. И. Терещенко, поехали на открытие «Нашего театра» («Просветительные учреждения», Зонон, Пушкинский спектакль). Так плохо, что говорить не стоит, двух мнений быть не может. Из *Фетисовой* может что-нибудь выйти. Тетя, Философов, Ремизовы, Волконский, Кульбин, Л. Гуревич. Разговор с Волконским, который почему-то советует читать «L'Annonciation a Marie» С1аис1еГя (? зачем?). Заехали с М. И. Терещенко на Варшавский вокзал, потом — к Ремизовым, куда пришел Зонон, разобрали его, а когда он ушел, Алексей Михайлович рассказал о нем много трогательного (женитьба, сумасшествие, около Коммиссаржевской). Михаил Иванович, усталый, отвез меня домой в 3-м часу ночи. Вечер был уютный — таянье, автомобиль, бесконечные улицы, ночь.

22 февраля

Письмо от милой вечером. Письмо и телеграмма от А. Белого и еще разные. Обедал у мамы.

Сегодня празднуется трехсотлетие дома Романовых, союзников 4000 понаехало из Киева, опасно выходить на улицу. Центр города разукрашен, Франц все время в соборах и пр. Капель, солнце — два года назад описано все в моей поэме («Собака под ноги суется, калоши сыщика блестят», «до Пасхи целых семь недель»).

Бродил днем, переехал тающую Неву в кресле, тоскливо и ветряно. Звонила Марья Павловна из «Тропинки», просила передать маме, что Надежда Сергеевна, сестра Поликсени Сергеевны, скончалась сегодня в 6 часов утра. Это — та, которая была в молодости красива замуж не вышла, культ брата.

Вечер — дома, после ванны позвонил к М. И. Терещенке, а он, оказывается, в отчаяньи, совсем расстроился, как было в октябре, у него сидят Ремизовы и двоюродный брат. Звал, но я боюсь после ванны, пойду завтра вечером.

Черная ночь, ветер весенний. Милая, как ты, господь с тобой.

Маме утром было скверно: опять поднималась температура, вечером (после го-

стей) — лучше. Милая, господь с тобой.

23 февраля

Вчера и третьего дня — дни о Терещенке.

Третьего дня вечером я позвонил к нему — и вовремя. Вчера (днем у мамы, завтрак с тетей, болтовня, брошюры Толстого на Зелениной) вечером пошел к нему. Ему уже легче. Сидя под Врубелевским демоном, говорили с ним и с сестрами о тысяче вещей. Я принес рукопись первых трех глав «Петербурга», пришедшую днем из Берлина, от А. Белого. Очень критиковали роман, читали отдельные места. Я считаю, что печатать необходимо все, что в соприкосновении с А. Белым, у меня всегда — повторяется: туманная растерянность; какой-то личной обиды чувство; поразительные совпадения (места моей поэмы); отвращение к тому, что он видит ужасные гадости; *злое* произведение; приближение отчаянья (если и вправду мир таков...); не нравится свое — перелистал «Розу и Крест» — суконный язык- И, при всем этом, неизмерим А. Белый, за двумя словами — вдруг притаится иное, все становится *иным*.

Какова будет участь романа в «Сирине» — беспокоит меня.

Главное, говорили о жизни. Об отношениях с мирискусниками (холодные, другое поколение, Волконский, многое). Сестры и Михаил Иванович рассказывали о детстве. Потом ушли сестры, мы говорили до 2-х часов.

Главное: то, что мама (и Женя) говорят мне, я говорю Терещенке.

Вот эсотерическое, чего нельзя говорить людям (одни — заключают, другие используют для своих позорных публицистических целей): искусство связано с нравственностью. Это и есть «фраза», проникающая произведение («Розу и Крест», так думаю иногда я). Также и жизнь: выбор, разборчивость, брезгливость — и мелеешь без людей, без vulgus'a; [67] *все правильно*, кроме основного; это что-то — вроде критской культуры. Основное заблуждение. Трагедия людей, любящих искусство.

Много о себе рассказал Михаил Иванович. Все почти — мое, часто — моими мыслями и словами. И однако — «неестественно» это все отчуждение, *надо, чтобы жизнь менялась.*

Оскомина.

За эти дни: письмо от Цинговатовой (Ростов н/Д.) — искреннее. Письмо от барышни Сегаль. Городецкий прислал переписать вексель. Вася Гиппиус прислал свою поэму. Боря прислал ответ — не обижен. Прибой людской. Опять усталость.

Милая моя, когда мы с тобой увидимся?

Обедал у мамы. Брожу — черно и сыро, кинематограф, песни. Прожекторы все еще освещают город. Письмо от Л. Сегаль, телеграмма от Бори — переезжает в Луцк.

Милая моя, господь с тобой.

24 февраля

Радуюсь: сегодня Терещенки почти решили взять роман А. Белого.

Маслянице и всяким торжествам — конец. Да будет тих и светел великий пост. Милая бы вернулась. Господь с тобой, милая.

25 февраля

Телефоны Ключева и Жени. Письма от курсисток и Метнера — очень трогательное. Письмо от Бори — мне и А. С. Петровскому,

вложенное туда же.

Письмо от милой.

Мама зашла днем. Я пошел в «Сирин» — весело. Там — все, кроме Елизаветы Ивановны (больна). Роман А. Белого окончательно взят, телеграфирую ему. — Вечером ждал Женю, но Женичка не пришел. Пишу милой, господь с тобой, милая.

Нет, Женичка пришел поздно — от девушки, которой помогает, говорили хорошо, он был мне понятнее, сидели до 1-го часу (о сынах века и сынах света — Луки, XVI).

Милая, господь с тобой.

26 февраля

Сегодня день тусклый и полный каких-то мелких огорчений, серостей. Просто удивительно, как это бывает последовательно, до жути.

Милая, милая, приезжай поскорее, господь с тобой.

27 февраля

Мелочи. Письмо от Бори Бугаева (переезжает в Луцк). Катанье с М. И. Терещенко и А.

М. Ремизовым на Стрелку (А. М. дал мне книгу J. Patouillet об Островском для рецензии; всякая болтовня и соображения. М. И. все как-то задумывается). — Городецкий взял вексель и говорил о нем по телефону каким-то голосом неуверенным, как будто еще что-то хотел сказать. — «Задумывающийся» телефон с Л. Я. Гуревич и стихи в «Русскую мысль». — Вечерний чай у мамы и разговор об «акмеистах» (новые мои размышления).

Маме гадко, тяжелое впечатление в «Тропинке» днем: Поликсена Сергеевна, после смерти сестры, очень грустна, в глубоком трауре. Дала нам с мамой по экземпляру «Перекрестка».

Мама, господь с тобой. Милая, господь с тобой.

1 марта

Вчера утром и днем — последняя издерганность (нервная). Вечером — Пяст и Княжнин пришли, сидели до 2-х часов ночи, очень приятно болтали и мало злословили.

Сегодня телефоны М. И. Терещенко и А. М. Ремизова. Анна Ивановна Менделеева спра-

шивала обиженным голосом, «дома ли Люба».

Днем пришел в «Сирин», приехали Михаил Иванович и Пелагея Ивановна, веселые, повезли нас с Алексеем Михайловичем кататься, потом — к себе, там читал я им поэму Пяста. Не берет ее «Сирин».

Уйдя, застудил горло, вечером пришел на лекцию Сологуба без голоса, а там — мама, тетя, все «наши», кроме Елизаветы Ивановны, Л. Андреев с компанией Осипов Дымовых, акмеисты, и пр. и пр. Измучился. Л. Андреев опять назвался.

Телеграфирую ему, что «отложим свидание, я потерял голос».

А. И. Менделеева спрашивала на лекции, где Люба, я врал, что не знаю.

Чай пили поздно у мамы с тетей.

2 марта

Нет голоса. Господь с тобой, милая, пишу тебе. Мама принесла мне ветку сирени.

3 марта

Сижу без голоса, пишу тьму писем. Пришла мама, потом М. И. Терещенко и А. М. Ре-

мизов. Пили чай. Вечером приплелся чай
пять к маме.

Милая, посылаю тебе записочку, господь с
тобой.

4 марта

С утра стал разбирать записные книжки —
прошлое дохнуло хмелем. Телефон с Л. М. Ре-
мизовым. Пришла мама. Потом Клюев, *очень*
хороший, рассказывал, как живет. При нем за-
шел на минуту Михаил Иванович. Вечером
пришел милый студент из Киева, Вл. Мих. От-
роковский. Позже — Женичка. Так и прошел
день.

Письмо от милой. Господь с тобой, милая.

5 марта

Сегодня — рождение М. И. Терещенко, ему
27 лет, Разговаривали по телефону. Днем ма-
ма была, а обедал — Н. П. Ге. Много я ему гово-
рил о Грибоедове.

Пушки палят, вода высоко. Горло побали-
вает, голоса нет.

Милая, господь с тобой.

6 марта

Мамино рождение. Днем мама пришла с тетей ко мне. Было солнце, мама читала вслух стихи Бунина и Брюсова. Вечером они с Францем пошли на «Золото Рейна» (мой абонемент).

Вечером пришли ко мне М. И. Терещенко, потом — В. А. Пяст, С Пястом, после ухода М. И. Терещенко, сидели до 4-х часов ночи.

Михаил Иванович говорит, как трудно начинать что-нибудь теперь. Легче было «Миру искусства». Даже со Станиславским — неизвестно, что делать. Может быть, нужно на пять лет уйти, уехать в провинцию. Я все «утешаю» *двадцатыми годами*.

С Пястом — о поэме. Он опять мне объяснял, и я *опять* понимал то, что забуду через несколько дней. Ушел он все-таки довольный (хвалили многое), подбодренный. Надо теперь предлагать Иванову-Разумнику, для «Заветов».

Читаю поэму Хвощинской (Н. Д.) «Деревенский случай» (1853). (БЯ — 50 лет отделяют ее от «Перекрестка» П. С. Соловьевой — тот же формат, и то же... женское бессилие, негра-

мотность, невечность).

7 марта

Телефоны: Княжнин, Пяст, А. М. Ремизов. Очень замечательное письмо от Богомолова из Харькова. Днем приехал Кожебаткин и привез мне 350 рублей. Я стал выходить из дому.

Милая, господь с тобой. Сегодня — месяц, как ты уехала. Приезжай.

8 марта

Завтракал у мамы. Потом — пошел на кладбище, видел Митину могилку. М. И. Терещенко звонил. *Пишу милой*. Вечером иду на «Золото Рейна» (мамин абонемент) с тетей.

Милая, господь с тобой.

11 марта

Третьего дня — днем в «Сирине» (за это время: отказали «Логосу» как в субсидии, так и в распространении; отказались купить издания Павленкова, которые предлагались наследниками). Вечером — «Кармозина» (я уже описал впечатление в письме к милой). Дым-

щиц была не плоха. Тетинька довольна. После этого — сидели у Михаила Ивановича, который рассказывал не всю грязную историю с шантажом.

Вчера — обедал у мамы, гулял весь день и вечер. Корректурa из «Русской мысли». Письма от Скворцовой и Римовой.

Сегодня в газетах — известие о том, что Хрусталеv-Носарь арестован за кражу где-то на юге Франции. «Речь» прибавляет вопросительный знак, а «Русская молва» делает примечание (из «Matin»?) о том, что «нравственное падение» Носаря было известно. Эти дни всё рассказывают о Миролюбове, который амнистирован и радуется тому, что вернулся. Меня же и злит и беспокоит все связанное с «литературной жизнью». Миролюбов — милый и хороший, но Миролюбов — литератор. Все говорят об оздоровлении, об «оживлении», о «нравственности». Пройдет год... удесятерятся. Они будут «бодро», много и бездарно писать во всех пятидесяти толстых журналах, которые рождаются к тому времени. Критики же будут опять (как сегодня Вл. Гиpшиус в «Речи») обмозговывать, «что случилось?» Слу-

чилося... — бездарность, она, матушка. Все, кажется, благородно и бодро, а скоро придет-ся смертельно затосковать о предреволюционной «развратности» эпохи «Мира искусства»... Пройдет еще пять лет, и «нравственность» и «бодрость» подготовят новую революцию (может быть, от них так уж станет нестерпимо жить, как ни от какого отчаяния, ни от какой тоски)...

Это всё делают не люди, а с ними делается: отчаянье и бодрость, пессимизм и «акмеизм», «омертвление» и «оживление», реакция и революция. Людские воли действуют по иному кругу, а на этот круг большинство людей *не попадает*, потому что он слишком велик, мирообъемлющ. Это — поприще «великих людей», а в круге «жизни» (так называемой) — как вечно — сумбур; это — поприще маленьких, сплетников. То, что называют «жизнью» самые «здоровые» из нас, есть не более, чем *сплетня о жизни*. Я не скулю, напротив, много светлых мест было в эти дни.

Биение сердца о милой.

Природа: сосны в Шувалове, тающий снег, лужи, далекий домик на том берегу, надпись

на том склепе: «Jeanne. Une prime, s'il vous plait».[68]

Пелагея Ивановна Терещенко. Красота унижения есть в ней. Приезжая в Швейцарию, опускает шторы от видов. В Бальзака вчитывается, сначала ненавидя, как... с А. Белым. Солнце и жар — холодная кровь. «Вся жизнь ненужно изжитая». «Стальной стальной... далью гор...» — такие бы строки — о ней. Опутывает боа плечи и руки. Серая сталь глаз, высокая прическа, черные волосы, обаятельные руки. Хмурый взгляд и гримаса. Четкость слов. Это — Сирин. Отношение к сестре и к брату. Впечатление от Пяста, который с сестрами Терещенко познакомился на «Кармозине».

Письмо от Бори (доволен «Сирином»), от Чацкиной. Телефоны — А. М. Ремизов и Алдра Н. Чеботаревская. А главное — письмо от милой. Она пишет, что и сама думает, что летом мы вместе поедем — отдыхать и лечиться.

Господь с тобой, радость моя.

12 марта

Мама повредила ножницами ногу, лежит, всю ночь была страшная боль.

С Михаилом Ивановичем посидели в «Сирине», потом покатались. О Дягилеве и Шаялине. Цинизм Дягилева и его сила. Есть в нем что-то страшное, он ходит «не один». Искусство, по его словам, возбуждает чувственность; есть два гения: Нижинский и Стравинский, Спрашивал Михаила Ивановича о моей пьесе. — Очень мрачное впечатление, страшная эпоха, действительность далеко опередила воображение — Достоевского, например. Свидригайлов — какой-то невинный ребенок. Все в Дягилеве страшное и значительное...

Мрачно до того, что уютность возвращается. Какая-то почва для меня, что мы с милой, может быть, тихо поедem летом отдыхать за границу. Господь с тобой, милая.

13 марта

Возражение Мережковского мне в «Русском слове». Стихи мои в «Северных записках» с ужасной опечаткой. Телефоны — М. И. Терещенко, А. М. Ремизов, Тыркова (буду ли отвечать Мережковскому), Пяст, Кульбин

(приглашает зайти). Днем у мамы — она все еще лежит, боль меньше. Гулянье.

Вечером — «Валкирия» (с тетей). Устал. Пишу милой.

Милая, господь с тобой.

17 марта

За эти дни — тревога перешла в тоску. Изменился, апатия. «Сирин», катанья, звонил Бонди, встреча с Сениловым, болезнь мамы.

Сегодня к вечеру — одиноко, — письмо от милой и письмо к милой.

Милая, господь с тобой.

20 марта

Брожу, брожу...

Вчера днем в «Сирине». Вечером — у мамы (Женя). Перед ночью приехал Миг аил Иванович, сидели до 2-х. Чтение «Розы и Креста» (2-й акт и последние две сцены), опять обсуждение. О Дягилеве. Мысли Михаила Ивановича о газете в провинции.

Сегодня — письмо от Скворцовой.

Брожу, купил книг, еще регистраторов (единственное домашнее занятие) для писем,

котелок. Возвращаюсь домой — весна — приносят букет: розы, левкой, нарциссы, сирень. Записка без подписи: «Милому поэту, 19 марта 1913 г.». Сильные и знакомые духи. Тут же начинаю рыться в письмах — писем В. А. Щеголевой нет. — Странно.

Приходит Ге. Обедаем. В 10-м часу я еду на Петербургскую и посылаю букет В. А. Щеголевой. Брожу — и по Широкой (как иногда). — Ночью на Вознесенском встречаю Княжнина. Он провожает меня до дому. Опять роюсь в письмах — писем В. А. Щеголевой нет. — Едва дописал это, нашел письма В. А. Щеголевой.

Милая и единственная, господь с тобой, где ты, приезжай.

21 марта

Письмо к милой. Господь с тобой, милая.

22 марта

Вчера вечером в кофейне посмотрел «Сатирикон»: моя фамилия вычеркнута, слава богу, мою двукратную просьбу уважили. Встретил художника Матюшина, который футуристически молодится.

Вчера в «Сирине», гулянье с Михаилом Ивановичем и Алексеем Михайловичем по Дворцовой набережной, посидели у Михаила Ивановича. Пелагея Ивановна все еще больна, в «Сирине» бывает одна Елизавета Ивановна.

Письмо от Скворцовой. Тоска растет.

По всему литературному фронту идет очищение атмосферы. Это отрадно, но и тяжело также. Люди перестают притворяться, будто «понимают символизм» и будто любят его. Скоро перестанут притворяться в любви и к искусству. Искусство и религия умирают в мире, мы идем в катакомбы, нас презирают окончательно. Самый жестокий вид гонения — полное равнодушие. Но — слава богу, нас от этого станет меньше числом, и мы станем качественно лучше.

Тревожит и заботит Люба. Я буду, кажется, просить ее вернуться. Покатал бы ее, сладкого бы ей купил. Да, пишу — так, как чувствую, не скрывая.

Вечером, чтобы разогнать тоску, пошел к Мейерхольду. «Любовь к трем апельсинам» по сценарию Гоцци не произвела никакого

впечатления: сухая пестрота, составленная Вогаком, Вл. Н. Соловьевым и Мейерхольдом. Читал Вогак.

Были: жена Пронина, прекрасная, я все на нее взглядывал, Пронин, Ярцев, Юрьев, Левинсон, Пяст, Соловьев, оба Бонди, Веригина, какие-то актриски декадентского вида, М. Лозинский, Ракитин и еще. А главное — двухмесячный медвежонок, урчит, свиристит, ревет, играет бумажкой, стоя на задних лапах, пьет молоко, бутылку держит руками за горлышко, переваливается с боку на бок, лежа на спине.

Уходя к Мейерхольду, я получил прекрасное письмо от какой-то дамы.

25 марта

Мы в «Сирине» много говорили об Игоре-Северянине, а вчера я читал маме и тете его книгу. Отказываюсь от многих своих слов, я преуменьшал его, хотя он и нравился мне временами очень. Это — настоящий, свежий, детский талант. Куда пойдет он, еще нельзя сказать; что с ним стрясется: *у него нет темы*. Храни его бог.

Эти дни — диспуты футуристов, со скандалами. Я так и не собрался. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня. Боюсь, что здесь больше хамства, чем чего-либо другого (в Д. Бурлюке).

Футуристы в целом, вероятно, явление более крупное, чем акмеизм. Последние — хилы, Гумилева тяжелит «вкус», багаж у него тяжелый (от Шекспира до... Теофиля Готье), а Городецкого держат, как застрельщика с именем; думаю, что Гумилев конфузится и шокируется им нередко.

Футуристы прежде всего дали уже Игоря-Северянина. Подозреваю, что значителен Хлебников. Е. Гуро достойна внимания. У Бурлюка есть кулак. Это — более земное и живое, чем акмеизм.

Пяст был на обоих диспутах, расскажет мне.

Михаил Иванович очень мрачен, на днях уедет ненадолго, сегодня увидимся с ним, У Пелагеи Ивановны все еще болит горло.

Я свожу Женичку с Аносовой, он ей поможет, она опять пишет отчаянные письма.

Можно будет начинать издавать мои кни-

ги с осени в «Сирине». Метнер «не будет протестовать».

Звонил Руманов, хочет увидеться по делу и предлагает отвечать Мережковскому (если буду) в «Русском слове».

Заходил Женя — по дороге к пьяному художнику, может быть, и к Аносовой. Едет вместо меня слушать с тетей «Зигфрида» (Матвеев).

Звонил Пяст, рассказывал о футуристах. На вчерашней афише стояло: освобождение литературы из той грязи, в которую посадили ее Андреев, Сологуб, Блок и пр... Едет в Москву на суд с Эн-Янковым и по прочим делам, хочет увидаться с Чулковым.

Иду на Английскую набережную, 12. Там сначала пел граммофон — Варя Панина и Шаляпин — божественная Варя Панина... Потом говорили о футуристах, об Игоре-Северянине и об издании моих книг с осени и о том, что не стоит ехать читать «Розу и Крест» Станиславскому, он сам скоро приедет сюда.

Письмо от милой с поручением прислать весеннее платье — желтый сундук.

Лицо мое старится скоро. Нервничаю. Ве-

чером — по приглашению — в «Нашем театре»: вечер Гольдони — «Слуга двух господ». Сидели с Зоновым. Много было хорошо, хотя и недостатков много. Главное — во всем какой-то задорный и молодой дух. Стараются. Фетисова, как всегда, пленяющая (черная кровь), играла плохо, ходила по-бабьи в мужском костюме. Кроме того, говор у нее слишком русский. Игравший плохо короля в «Кармозине» был недурным Труффальдино. Было много вставок, сочиненных Гнесиным, — с пеньем и даже с импровизацией. Публика шумно аплодировала, успех настоящий. Импровизировал тот, который так ужасно играл Моцарта, и, хотя наивничал и вульгарничал местами, был очень недурен в образе милого и «гуманного» direttore.[69]

У мамы обедали и вечером были гости — родственники. — Я вернулся из театра, говорил с мамой по телефону, тоскую, тоскую.

Милая, завтра пошлю сундук, господь с тобой.

27 марта

Сундук послан. К вечеру из окна комнаты

милой я увидал (хотя и слева) молодой месяц под Венерой, а внизу — большой луч, по-видимому — прожектора.

Завтракал у мамы. Нервность, у мамы припадок. Толщина и задыхающаяся болтовня г-жи Мазуровой. Болтает, как теща кубиста.

В «Сирине» Михаил Иванович, по-прежнему мрачен. О том, что могут опять сойти с ума Зонов и Пяст. Инцидент с Пястом на диспуте Бурдюков — был, или г-жа Бурлюк (жена Кузнецова) все наврала? Вечером справлялся по телефону у Кульбина (не говоря имени), он ничего не слышал.

Вечером у меня Вл. Н. Соловьев. Почти шесть часов сряду — болтовня вприпрыжку, с перескоками. Много хорошего. Ему еще нет 25-ти лет. Заметно, как он отходит от Мейерхольда, а Мейерхольд сам, по-видимому, сомневается в себе все более. Их самих мучит их сухая пестрота, они ломаются с «театральностью» в открытую дверь и никак не хотят понять, что *человечность* не только не убьет, но возвысит и осмыслит правдивое в их «исканиях».

На столе у меня уже стоят те красные розы,

которые сулила мне неизвестная дама. Письмо, сопровождающее их, уже хуже первого: вздохи и страсти. Только что сжег я поблекший букет Щеголевой. — Не отвечу.

30 марта

Дни невыразимой тоски и страшных сумерек — от ледохода, но не только от ледохода.

Вчера, беспокоясь, послал милой телеграмму, а сегодня получил ответ: «Милый не беспокойся все благополучно господь с тобой Люба». Сегодня же получил письмо о *счастьи*. Милая не приедет на Пасху.

Припадок у мамы, тяжелые разговоры в «Сирине» — о евреях, об отъезде из Петербурга. Тщетные попытки встретиться со стороны Руманова и меня. 4-го апреля буду читать «Розу и Крест» в обществе, основываемом Недоброво.

Днем в «Сирине» и у Терещенки с Ремизовым.

Милая моя, милая, господь с тобой.

1 апреля

Вчера днем у меня Женя, мама, тетя. Вече-

ром — с М. И. Терещенко и Е. И. Терещенко — «Кармен». Мария Гай не в духе. Сегодня весь день и вечер стряпаю новое издание собрания стихотворений. Утром — журналист с юга. Заходила мама. Днем — у доктора, прибавил весу.

Мокрая метель, тоска, сообщений с ней нет, она меня забывает там сегодня. Милая, господь с тобой.

7 апреля

Сегодня — два месяца, как милая уехала от меня. 2-го и 5-го — письма от милой.

Поездка в «Сирин». 5-го М. И. Терещенко уехал до 11-го — в Киев.

3-го — «Гибель богов», встреча со Зверевой.

4-го — чтение «Розы и Креста» в тяжелой обстановке. Успех. Присутствовало 70 человек.

6-го (Вербная суббота) вечером — у Зверевой, проболтал 4 часа. Значительная и живая.

7-го — вечером у меня были Руманов и Пяст. Руманов о производстве бумаги, о новой газете, о Мережковских, о... еврействе.

8 апреля

В «Сирине» с А. М. Ремизовым, в соседней комнате — Щеголев.

9 апреля

Заходила мама днем. Бездонная тоска. Мысль об отъезде. Обед на Финляндском вокзале, печальный закат в Шувалове.

10 апреля

Наконец закончены тексты для нового издания трех книг стихов. Над указателями бился все эти дни. Днем — в «Сирине» на минуту, потом — с А. М. Ремизовым — покупали яички к Пасхе (милрой, маме, Францу, тете, А. М. Ремизову). Алексей Михайлович купил зеленый малахитовый ящичек Серафиме Павловне, — вчера он достал у Пелагеи Ивановны аванс. Грустно, грустно все...

Второй раз звонил г. Всеволодский, предлагает устроить Любу летом «играть». Пишу милрой. Письмо от милрой.

Я купил путеводитель по Новгороду, но решил не уезжать до Пасхи.

11 апреля

В «Сирине», Михаил Иванович вернулся — мрачный и тревожный.

12 апреля

Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче («подтачивающая мысль») — от моря, от сосен, от заката.

13 апреля

Днем сидели мы у М. И. Терещенки и у меня с ним, катались на острова, обошли пешком весь Елагин остров. Говорили о его планах, обо мне, о религии и искусстве. Он говорит: он в искусстве «ретрограден», не может найти, как Дягилев, людей с *будущим* только — без настоящего, не умеет угадать. И к Станиславскому «в ученье» идти не хочет. Уйдет в свои дела, которых не любит, но искусства не забудет. — Мои стихи «Приближается звук...» запомнил почти наизусть. Говорит, что я много сделаю, если захочу.

Обедал я у мамы, много говорил ей о Тере-

ценке, о себе, о критике. После чаю мы втроем с Францем ходили у Исаакиевского собора. Крестный ход был меньше, жандарм раздавил человека, ночь была прекрасна и туманна. Празднично было. Встретили Женю.

14 апреля

Обедаю у мамы. Милая, думаю о тебе, господь с тобой.

15 апреля

Писем от милой нет. Пишу ей.

16 апреля

К вечеру — поздравительные портреты зайцев от милой.

Заходил Д. Кузьмин-Караваев, не застал меня дома. Днем я был у сестер Терещенко, потом катались вчетвером, объехали все острова и на Удельную. Болтали и смеялись, было весело. Пелагея Ивановна, которую я не видал давно, опять говорила замечательное. Она читала «Вампира — графа Дракулу» — и боялась, положила горничную спать с собой. Перед окном ее спальни — дерево, любимое в

Петербурге, на нем ворона сидела в гнезде. Гнездо разрушили. Утром после чтения «Вампира» ворона вращала глазами и пугала. — Пробует все средства, которые рекламируют в газетах. Для цвета лица, кремы и т. д. Раз проснулась утром, намазав на ночь лицо, и не могла открыть глаз — вся кожа сошла с лица.

— Об авиаторах — о том, который летел с Горгоны и не долетел до берега, его не нашли. Был маленького роста, огромные черные глаза, очень смелый. Как Латама убил буйвол. О шофере Роспиде: не любит Петербурга, скучает, любит природу — «бедный». О декадентстве, и декадент я или нет. — Хотела лететь на аэроплане, но боится.

— Скоро уезжают сестры.

Потом мы с Михаилом Ивановичем ходили по Дворцовой набережной. Обедал я у мамы.

17 апреля

В газетах — известие об аресте Мгеброва.

20 апреля

Прежде всего — эти дни: письмо от милой с торопливыми и сухими вопросами о лете. Я стал было отвечать, но разнервничался, не ответил еще. Так тянется, тянется непонятная моя жизнь.

17-го обедал с мамой и Францем у тети, 18-го был в «Сирине», мы с Алексеем Михайловичем, не дождавшись Терещенки, ходили, прошли весь Невский, говорили о Станиславском, когда с ним увидимся, о занятиях для наших жен. — Вечером пошел я в цирк, почти заснул с тоски и отвращения. С борьбы, которая когда-то казалась мне великолепной, я ушел, задолго до конца.

19-го — днем в «Сирине», М. И. Терещенко, потом приехали Пелагея Ивановна и Елизавета Ивановна, вместе отвезли меня домой. Пелагея Ивановна.

После обеда, на холодном закате, я снес письмо К. С. Станиславскому с просьбой выслушать «Розу и Крест» в присутствии А. М. Ремизова только.

Потом — у мамы, Женя и Гуцин наскაკивают друг на друга как петухи, ничего взаимно не понимая, Веригина болтает свое, жен-

ское, Олимпиада Николаевна киснет, Франц спит. Взял у мамы «Опавшие листья» Розанова, экземпляр М. П. Ивановой с надписью. Читаю и на ночь и утром 20-го.

20-го. Позвонил Городецкий — о векселях. Я спрашивал его о Вяч. Иванове, об Италии. Он опять привез «итальянские стихи». Вяч. Иванов еще более ругал его (в Риме), чем я. Ребенок у него большой и здоровый. Вчера, говорит, в «цехе» говорили об И. Северянине и обо мне. Васе Гиппиусу нравится «Роза и Крест». В акмеизме будто есть «новое мироощущение» — лопочет Городецкий в телефон. Я говорю: зачем хотите «называться», ничем вы не отличаетесь от нас. Он недоволен тем, что было столько «шуму и злобы». Я говорю: главное, пишите свое. Он согласен.

Потом звонила m-me Копельман и говорила, что теперь курсистки заняты экзаменами, так что лучше отложить чтение «Розы и Креста» до осени.

В это время посыльный принес необыкновенно милый ответ от К. С. Станиславского. Может быть, он придет завтра слушать «Розу и Крест»...

Все утро прождал я К. С. Станиславского. В 1-м часу позвонил он: жар, боится, послал за градусником, будет сидеть дома, может быть — завтра. В 1 час пришел А. М. Ремизов, дал я ему цветной капусты и ветчины.

Поразил меня голос Станиславского (давно не слышанный) даже в телефоне. Что-то огромное, спокойное, густое, «нездешнее», трубный звук.

М. И. Терещенко волновался, говорит Алексей Михайлович, пожалуй, подозревает, что Станиславский не хочет...

Как всегда, вокруг центрального: пока ждал Станиславского, звонок от Зверевой, которая хорошо знает одного из режиссеров студии Художественного театра — *Вахтангова*. Хочет познакомиться, хочет ставить «Розу и Крест» с «любым художником — Бенуа, Рерих» (!!??). Это — через третьи руки, и этот «бабий» голос. Нервит и путает. Нет, решаю так:

Пока не поговорю с Станиславским, ничего не предпринимаю. Если Станиславскому пьеса понравится и он найдет ее театральной, хочу сказать ему твердо, что довольно

насмотрелся я на актеров и режиссеров, недаром высидел последние годы в своей мурье, никому не верю, кроме него одного. Если захочет, ставил бы и играл бы сам — Бертрана. Если *коснется пьесы его гений*, буду спокоен за все остальное. Ошибки Станиславского так же громадны, как его положительные дела. Если не хочет сам он, — я опять уйду в «мурью», больше никого мне не надо. Тогда пьесу печатать. А Вахтангов — самая фамилия приводит в ужас.

Буду писать до времени — про себя, хотя бы и пьесы.

Современный театр болен параличом — и казенный (Мейерхольд; ведь «Электра» прежде всего — *БЕЗДАРНАЯ ШУМИХА*). Боюсь всех Мейерхольдов, Гайдебуровых (не видал), Обводных каналов (Зонов не в счет), Немировичей, Бенуа...

Пишу милой. Письмо мое — нервное, обиженное, а вечером — так ее жалею, и кроватку крещу, господь с тобой, милая.

26 апреля

Эти дни — напрасное ожидание Стани-

славского. Он все еще боится выходить далеко, простужен.

У мамы. «Сирин», свидания с М. И. Терещенко. Мамины именины — обед у нее, у нее много цветов. В этот день у М. И. Терещенко было совещание об «Алалее и Лейле» (А. М. Ремизов, Лядов, Головин). Поездка опять к морю — в Сестрорецкий курорт. Известие о смерти Е. Гуро.

21 апреля — я писал милой.

25 апреля — письмо от милой.

26 апреля — звонок от Станиславского, который обещал прийти 27-го, между двумя и тремя часами. — Мама завтракает у меня. Днем я в «Сирине», все в сборе, прощался с сестрами Терещенко, уезжающими завтра за границу. У А. М. Ремизова все очень плохо, завтра надеется отправить Серафиму Павловну в пансион в Мустамяки. Было много разговоров о санаториях.

Читали и забраковали стихи Георгия Иванова. Михаил Иванович говорил, что начал читать «Стиха о Прекрасной Даме», и они ему нравятся.

Вечером я неожиданно попадаю на кон-

церт Шаляпина (вместо Серафимы Павловны Ремизовой). Красный диван у самой эстрады: Шаляпин в голосе. Просто, сильно, но так элементарно. Слушать хорошо, однако особенно — «Слушай команды слова» (Беранже), былины, «Вниз по матушке по Волге». Знаменитая «Блоха» — что-то не очень. Лицо и фигура Шаляпина... М. И. и Е. И. Терещенки с двоюродным братом. Встретил В. В. Розанова и сказал ему, как мне нравятся «Опавшие листья». Он бормочет, стесняется, отнекивается, кажется, ему немного все-таки приятно. С ним похудевшая и бледная Варвара Дмитриевна. — Первый вопрос Розанова был: «Отчего вы один, без жены?»

27 апреля

Важный день. После ожиданий и телефонов — около 2-х пришел А. М. Ремизов, а около 3-х — К. С. Станиславский. Поговорив, приступили к чтению «Розы и Креста», которое кончилось около 6-ти. А. М. Ремизов скоро ушел, а К. С. Станиславский оставался со мной до без 5 12-ти! Обедали кое-как и чай пили.

Читать пьесу мне было особенно трудно, и читал я особенно плохо, чувствуя, что Константин Сергеевич слушает напряженно, но не воспринимает. Из разговоров выяснилось, что это — действительно так. Он воспринял все действие как однообразное, серое, терял пить. Когда я стал ему рассказывать все подробно словами гораздо более наивными и более грубыми, он сразу стал понимать. Разговор шел так. Сначала я ему стал говорить, что Бертран — «человек», а Гаэтан — «гений», какая Изора (почему «швейка»). Потом он изложил мне подробно начала тех курсов, которые преподаются в Студии, — с тем чтобы потом подойти к пьесе.

Первые три шага, которые делают актеры в Студии, заключаются в следующем:

1) Приучаются к свободе движений, сознавать себя на сцене; если актера взять за руку перед выходом и сказать: помножьте 35 на 7, — прежде всего упадут его мускулы, и только тогда он начнет кое-как соображать. Вся энергия уходит во внешнее. Это и есть обычное «самочувствие» актера на сцене. Константин Сергеевич сам был, как говорит, всегда

этому подвержен. Первое, значит, ослабление внешнего напряжения, перенос энергии во внутрь, «свобода». Анекдот: на экзамене, на курсах Халютиной, демонстрировали это: актер и актриса лежат на диване в непринужденной позе. Им сказано (или они так поняли): почувствуйте себя свободно, говорите только то, что захотите. Им как раз не захотелось говорить, проходит час, два лежат, слегка мычат. Здесь упущено то, что при свободе самочувствия все время требуется направление воли, владение ею.

2) Приучаются к тому, чтобы «быть в круге». Сосредоточивание внутренней энергии в себе, не отвлекать внимания, не думать о публике (не смотреть, не слушать зала), быть в роли, «в образе».

3) «Лучеиспускание» — чувство собеседника, заражение одного другим. Опять анекдот: был целый период, когда все в Студии занимались только «лучеиспусканием», гипнотизировали друг друга. Еще анекдот: «лучеиспускание» «нутром» — напирание на другого.

Все эти три первоначальные стадии ведут к тому, чтобы приучить актера к новому «са-

мочувствию» на сцене. Это — волевые упражнения. По словам Константина Сергеевича, к этому так привыкают, что и в жизни продолжают быть — со свободными мускулами и в кругу.

Когда он все это рассказывал, я все время вспоминал теософские упражнения.

Цель нового самочувствия — пробуждение в себе *аффективной памяти*, т. е. ясного воспоминания того чувства, которое испытал в таком-то и таком-то случае жизни (не только подробностей события, но главным образом окраски этого события, того, что при нем переживала душа). Станиславский говорит, что после этих волевых упражнения наблюдается сильное развитие аффективной памяти

Вслед за тем приступают к работе над пьесой, которую он успел рассказать в менее подробных чертах: деление на куски, анализ, «сквозное действие».

Воздействие на публику, воля к тому, чтобы передать переживание, — ряд новых упражнений. «Переживание по аналогии» — еще более сложные упражнения.

Как наблюдать на улице — заставить себя

понять, почему такой-то с таким лицом подошел к другому, как и зачем подошел и т. д. То же — упражнение... (Для меня все это — ряд вопросов. Надо ли?)

Сам Станиславский обратился к психологии и стал думать о новой школе актерской игры — об игре внутренних переживаний — в годы революции, в Гомбурге, когда почувствовал, что у него появились шаблоны, что он каждый раз играет по трафарету, что новая роль его — не новая, а только ряд кусков старой роли. Тогда же он заново пересмотрел все свои роли. В «Дяде Ване» (Астров) — сцена у буфета — ловил себя на том, что стал думать каждый раз, кому после этой сцены (длинный перерыв) напишет письмо, кого примет (директорские обязанности).

Перешли к «Розе и Кресту», и я стал ему подробно развивать психологию Бертрана, сквозное действие. Он, все время извиняясь за грубость воображения («наше искусство — грубое»), стал дополнять и фантазировать от себя. И вот что вышло у нас с ним вместе:

Живет Бертран — человек, униженный. Показать это сразу же тем, что Алиса велит вы-

плеснуть помои, почти — ночной горшок. Рыцарь кладет меч и щит и несет ведро. «Вот это дайте мне, как актеру», — все время в таких случаях повторял Станиславский.

Бертрана все оскорбляют. Едет он, берет краюху хлеба (посланный) — все так же унижен. Встреча с Гаэтаном — тоже сразу показать резче: «гениальный безумец» — «что-то поет над океаном» (ах, ах, актерство).

Резко показать *иронию* мою — по отношению к непригодности, житейской беспомощности Гаэтана.

Для этого — сцена в пути («пещера» —?!). Восторженно поет и рассказывает сказки, а Бертран его отечески убаюкивает (спи, спи, все это — вздор, вот тебе кусок хлеба). Наконец — привозит. Сцена у ворот (сомнения Бертрана: она там, несчастная, заперта, а я еще привез этого безумного — что он для нее, — не лучше ли — просто красивый паж?). Не постучав, сажает на коня: уезжай. Потом опять взглянул, нет, оставайся, ты какой-то необыкновенный... Стучит в ворота — конец сцены... «Вот за что публика деньги платит», вот когда вы завладеете ей.

Человек из публики, который пришел прямо от прилавка в театр, переходит в роль критика и начинает возмущаться и думать: за что я платил деньги, — когда автор не дает ему *своевременно* простого, когда он должен соображать в ту минуту, когда уже произносятся важные слова.

Сначала дать определенно и (всегда желательно) от имени того самого лица, *не* через других, что это вот — человек и униженный. Это может дать актер (гримом и т. д.), но *всегда желательно*, чтобы автор шел ему и публике навстречу. Чехов многие ремарки вставлял уже после того, как подметил то или другое у актера, в самом исполнении. Вы, — говорит мне Станиславский, — скрываете, утаиваете от зрителя (и от актера) самые выигрышные места, там, где можно показать фигуру Бертрана во весь рост, где Бертран становится *ролью* и даже *бенефисной* — Гамлет или Дон-Кихот (?).

Далее: сцены передачи розы от нее Гаэтану и от Гаэтана — Бертрану. Ясно показать, что Гаэтан *принял* розу, что утром, просыпаясь, чувствуя удушье, он бросил ее от себя в кусты

(все это Станиславский представлял по-актерски, маша руками, хрипя и вращая глазами), а Бертран нашел ее, поднял и бережно спрятал на грудь. Показать также, что с этой розой — Бертран вырос, Изора стала *внутренно* принадлежать ему (в его влюбленность вошло отеческое и бескорыстное), Гаэтан потерял (для него, в его глазах и по отношению к Изоре) свою власть, свои «флюиды».

Новый еще вариант относительно розы, придуманный Станиславским: Изора после песни падает в обморок, Бертран даст ей понюхать розу, она приходит в себя... (?!).

Дальше. Бертран вырос и имеет уже право воскликнуть: «Святая Роза!» (впрочем, нехорошо, когда актеру дают так мало слов, что услышание их может зависеть от случайности — он не выйдет достаточно вперед, или статисты перекричат —?!).

Входит (его вносят) раненый. Он говорит в публику, что удар меча им получен от того самого, который был причиной всех его страданий.[70](«Это — „бенефисная роль“, дайте мне это».)

Дальше — истекает кровью, служа ей вы-

ше всего, как у меня.

Вечер закончился тем, что Станиславский извинялся, боялся, что повредил мне, брал назад свои слова, говорил, что он не отступал от моей схемы, «надо нам (режиссерам) научиться говорить с авторами», что он мне ничего не сказал, что он не уловил и четверти в пьесе, что надо считать, что он слышал от меня только схему будущей пьесы.

Я сомневался в том, смогу ли пойти навстречу тем «театральным» (актерским и зрительным) требованиям, какие выставляет Станиславский. Сомневаюсь и теперь, надо ли «огрублять», досказывать, подчеркивать. Может быть, не я написал невразумительно, а театр и зритель не готовы к моей «сжатости»? Подумаю.

Станиславский говорил всякое приятное — о моих стихах, обо мне. Говорил, что теперь я «ближе к Пушкину», потому что не недосказываю там, где была потребность недосказывать у «декадентов» — по отсутствию таланта (недосказывали именно там, где не могли, не умели).

Я говорил ему, что повредить он мне не

мог, напротив. И мы вспоминали вместе ту первую весну (11 лет назад), когда Художественный театр приехал впервые в Петербург, как я орал до хрипоты, жал руку Станиславскому, который среди кучки молодежи сидел на извозчика и уговаривал разойтись, боясь полиции.

М. И. Терещенко провожал сестер, волновался весь день, трубка у меня была снята, ночью, после ухода Станиславского, я звонил ему и кое-как рассказал, усталый. Он злился.

Впрочем, Станиславский говорил, что он воспринимает все туго и медленно. Мое впечатление, что он очень состарился, устал.

По-видимому, и с Художественным театром ничего не выйдет, и «Розу и Крест» придется только печатать, а ставить на сцене еще не пришла пора.

29 апреля

Вчера, после Жени, приехал М. И. Терещенко, мы поехали с ним к Ремизовым, пили там чай со спущенными (для Серафимы Павловны) занавесками. Я все им рассказывал, Михаил Иванович сочувствовал, сердился, оби-

жался, говорил, что рад, что не пошел к Станиславскому. Потом мы катались вместе по островам, потом Rospide привез меня к маме, где я обедал и все рассказывал маме, тете и Францу. Вечером погулял: месяц, туман, тепло, сине.

Сегодня. Печально все-таки все это. Год писал, жил пьесой, она правдивая. Баяны, Котляревские, Неведомские, Батюшковы, Яблоновские, будто сговорившись, объясняют успех футуристов тем, что «мы» («символисты», что ли) — гнилые, дряхлые. С них я не требую сочувствия. Но пришел человек чуткий, которому я верю, который создал великое (Чехов в Художественном театре), и ничего не понял, ничего не «принял» и не почувствовал. Опять, значит, писать «под спудом».

«Свои» стареются (Станиславский. Философов брюзжит, либеральничает. Мережковский читает доклады о «Св. Льве», одинаково компрометируя Толстого и святых. Гиппиус строчит свои бездарные религиозно-политические романы. А. Белый — слишком во многом нас жизнь разделила). М. И. Терещенко уходит в свои дела, хотя бы и временно.

Остальных просто нет для меня — тех, которые «были» (В. Иванов, Чулков...).

Милая, милая — далеко. — Пишу ей. Милая пишет. Еще раз пишу.

* * *

Звонила Ангелина, хотела прийти сегодня вечером, сдала экзамен философии. Приходила няня Соня. Такие дни — бывают. Я дошел на кладбище. Надо бы хоть дерном убрать Митину могилку.

Обедал у мамы, потом мы пошли с ней в театр — Студия Московского Художественного театра, «Гибель Надежды» Гейерманса (социал-демократ, голландец, родился (в) 1864 г., «натуралист»). Пьеса с большой фальшью, некоторые места (заключительный монолог сына в конце 1-го акта, многие слова матери и др.) необходимо бы вычеркнуть.

Истинное наслаждение от игры актеров. Напоминает старые времена Художественного театра. Ансамбль. Выделить, и то без уверенности, можно двух («старик» — Чехов (племянник Антона Павловича) и «бухгалтер» — Сушкевич). Массовые сцены, звуки моря и звонки пароходов, декорация — прелесть

простоты. Публика плачет. Все играют с опущенными мускулами и в кругу, редко выходя из образа. Все сделано без помощи старших (и режиссер — молодой), только проникнуто духом их работы. Новых приемов (по сравнению с Художественным театром прошлого) — нет.

Встреча с В. Немировичем-Данченкой, которому я в крайне любезной форме сказал все, в сущности: что «Роза и Крест» будет напечатана; отказался ему прочесть; впечатление Станиславского; о том, что предпочитаю работать про себя.

Немирович-Данченко говорил, что *стихов* никто у них (и в Художественном театре) читать не умеет (пробовали Пушкина — не вышло; «Коварство и любовь» пробуют в прозе).

После спектакля убеждал М. И. Терещенко идти смотреть Студию.

1 мая

Опять находит тоска. Я правильно все-таки ответил сегодня Богомолу в Харьков — в ответ на письмо о тоске и одиночестве:

«Будь у Вас какая-нибудь любимая работа,

„специальность“, Вы бы иначе себя чувствовали... Пока ее нет, все отношение к миру выходит женское, много „настроений“ и мало действия. Кому не одиноко? — Всем тяжело. Переносить эту тяжесть помогает только обладание своей атмосферой, хранение своего круга, и чем шире этот круг, чем больше он захватывает, тем более творческой становится жизнь... Завоевать хотя бы небольшое пространство воздуха, которым дышишь по своей воле, независимо от того, что ветер все время наносит на нас тоску или веселье, легко переходящее в ту же тоску, — это и есть действие мужественной воли, творческой воли».

Даже самому чуть-чуть полегче. Пишу милой о Студии.

В нудном письме отвечаю Верховскому, что не могу ехать с ним в Александрию, куда он трогательно зовет.

2 мая

Долго писал «автобиографию Бертрана», написал всю, чтобы проверить себя еще раз. Выходит длинней, скучней (потому что —

проза, а новелле я не умею подражать), но верно. Вечером у мамы, потом зашел в «Луна-Парк». Холод.

Записка к милой о том, что звонил г. Сазонов, спрашивал, когда она вернется.

Звонил М. И. Терещенко и В. Н. Соловьев. Скучаю, всему предпочитаю постель, апатия.

4 мая

Вчера днем в «Сирине». Балтрушайтис говорил на днях Михаилу Ивановичу, что «Свободный театр» хочет «Розу и Крест». Может быть, туда войдет Скрябин. «Свободный театр» получил от кого-то 3 000 000 рублей. Пока — это Санины и Марджановы.

Милый и прекрасный К. С. Станиславский наговорил мне все-таки ужасных глупостей. Говорят, он слушает одного Эфроса... Михаил Иванович довез меня до дому, мы говорили о том, что нам обоим вместе (как бывает нередко) надоели театры, книги, искусство. Жить хочется мне, если бы было чем, если бы уметь...

Вечером, после прозрачной прохлады на Стрелке, я застал у мамы Бычковых и увез их

в «Луна-Парк», где мы катались по горам. Какая прелесть! Они ушли, а я катался до 1 часу ночи, до закрытия кассы.

Сегодня утром пришел Городецкий (по поводу векселей). Он в Италии окреп, лицо милое, рассказы об Италии милые, упирается лбом в свой акмеизм. На днях он был в Художественном театре, заплакал от Сольвейг (не читал «Пер-Гюнта») и вспомнил меня, потому и пришел.

Днем у мамы.

Прекрасное письмо от милой. Пишу к милой. Господь с тобой, милая.

7 мая

5 мая обедал у мамы с тетей, к сожалению, был муж А. Лозинской, у мамы после этого вечера всю ночь были припадки. 6 мая обедал у мамы с тетей, завтра она уезжает в Шахматове. Потом поехали с мамой в Художественный театр, мне дали два даровых места в 11-м и 12-м ряду. Мольеровский спектакль. Ко 2-й половине приехал М. И. Терещенко, сидел от нас недалеко. Потом отвез нас с мамой домой.

Впечатление от Мольеровского спектакля

самое ужасное: хорош Станиславский (Арган), местами — Лилина (Туанет), Лужский (Сганарель), кое-какие мелочи. Все остальное и прежде всего Бенуа — мертвое, ненужное, кощунственное. Судна и ночные горшки, ужасный перевод (Вейнберг). Мольер устарел, ансамбль

Художественного театра исчез бесследно, вторые роли хуже Александринки, молодые люди — Юрьевы.

Воротясь ночью, нашел письмо от милой.

7 мая — дождь, днем в «Сирине», оттуда втроем (Михаил Иванович, Алексей Михайлович и я) — покупать пальто Алексею Михайловичу у Красного моста.

Вечером мы с Михаилом Ивановичем были в Студии — «Гибель Надежды». На меня опять произвели наибольшее впечатление Сушкевич, потом — М. Чехов. Была Веригина, с презрением ушла.

8 мая

Днем катал маму по островам на извозчике. После обеда пришел Женя, я прокатил его по горам, в «Луна-Парке». Потом пошел к М.

И. Терещенке и уговорил их с его двоюродным братом и А. М. Ремизовым кататься. Потом Михаил Иванович уехал в Москву. Вечером я катался один — опять до закрытия кассы. Всего в день 21 раз. Встреча с В. Греком.

9 мая

Разбитость от катанья по горам, шляюсь в Шувалове и в Зоологическом саду. Вечером А. М. Ремизов и Серафима Павловна уезжают в Париж.

Моя милая, господь с тобой.

10 мая

Днем в «Сирине» (Михаил Иванович, Р. В. Иванов). Михаил Иванович вернулся из Москвы, ехал с Философовым. Вечером — отчаянье, письма — вот эти (сжег), непосланные. Позже мы с Михаилом Ивановичем катаемся по горам в «Луна-Парке».

11 мая

Пишу милой, прошу приехать 24-го. Нет, не посылаю. Все утро как ножами режут. И вдруг — письмо Скворцовой — разбило атмо-

сферу. Я отвечаю даже. Сегодня не буду писать милой.

Днем позвонил приехавший Боря (Андрей Белый), я позвал их с женой сегодня вечером, а завтра — обедать. Потом (ливень) поехал к Михаилу Ивановичу, посидели с ним, простились. Сегодня уезжает за границу до 26-го.

29 мая

Вчера поздним утром милая приехала домой. Маленькая.

За это время было так много всего. Три свидания с А. Белым и его женой. Второе было ужасно тяжелое. После него — Inferno.[71]

Телеграммы и письма от милой и к ней, все разное, утомительное.

Концерты Плевицкой и Тамары. На авиации — с мамой и Францем. Постоянное шатанье по городу и за городом. Мало людей, мало писем. Женя. С Пястом в Сестрорецком курорте (тишина, дождь, прекрасно). Костюм в английском магазине. Встреча с Г. Чулковым.

Месяц справа — искал и нашел.

Теперь я жду М. И. Терещенко для нескольких дел с ним («Сирин»). Паршь какая-то на

щеке. Апатия такая, что ничего не хочется делать. Мы с милой все-таки должны решить скоро, куда ехать.

Во всяком случае, рано или поздно надо купаться в теплом море.

Дневник теряет смысл, я больше не буду писать.

8 ноября

Другом называется человек, который говорит не о том, что есть или было, но о том, что может и должно быть с другим человеком. Врагом — тот, который не хочет говорить о будущем, но подчеркивает особенно, даже нарочно, то, что есть, а главное, что было... дурного (или — что ему кажется дурным).

Вот почему я пишу на книге, даримой Иванову-Разумнику: «дорогому врагу».

9 ноября

«Нелепый человек».

Первое действие — две картины (разбитые на сцены?). Первая — яблони, май, наши леса и луга. Любовь долгая и высокая, ограда — перескакивает, бродяжка, предложение. Она на

всю жизнь.

Вторая — город, ночь, кабаки, цыгане, «идьёт», свалка, пение (девушки? слушают за дверью), протокол.

Постоянное опускание рук — все скучно и все нипочем. Потом — вдруг наоборот: кипучая деятельность. Читая словарь (!), обнаруживает уголь, копает и — счастливчик — нашел пласт, ничего не зная («Познание России»). Опять женщины.

Погибает от случая — и так же легко, как жил. «Между прочим» — многим помог — и духовно и матерьяльно. Все говорят: «нелепо, не понимаю, фантазии, декадентство, говорят — развратник». Вечная сплетня, будто расходятся с женой. А все неправда, все гораздо проще, но живое — богато и легко и трудно — и не понять, где кончается труд и начинается легкость. Как жизнь сама. Цыганщина в нем.

Бертран был тяжелый. А этот — совсем другой. Какой-то легкий.

Вот — современная жизнь, которой спрашивает с меня Д. С. Мережковский.

Когда он умер, все его ругают, посмеивают-

ся. Только одна женщина рыдает — безудержно, и та сама не знает — о чем.

23 октября 1915

I действие. Средняя полоса России (Подмосковье). В доме помещика накануне разорения. Семейный сговор, решают продавать имение. Известие о наследстве. Самый мечтательный собирается рыть уголь. Разговоры: уголь «не промышленный». На семейном совете все говорят, как любят свое имение и как жалко его продавать. Один отдыхает только там. Другой любит природу. Третья — о любви. Мечтатель: «А я люблю его так, что мне не жалко продать, ничего не жалко» (Корделия).

II действие. Овраг, недалеко от заброшенной избушки. Сразу — затруднения, не хватает того-то и того-то. Убийство около избушки. Нищий бродяга. Ему дано любовное поручение (разговор: весь мир так устроен: дверь с порогом, потом — калиточка, угол дома, а за углом...).

III действие. Соседнее богатое имение. Помещики смеются над причудой соседей, которая стала притчей во языцех во всей округе.

Дочь. Ее жених. Ее встреча и разговор с нищим бродягой. Он ее заинтересовывает. Она обещает прийти к избушке.

IV действие. Дом и овраг. Новые неурядицы. Денег все равно не хватит. Ропот рабочих. — Свидание у избушки. Убийство. Шахты не будет. Именье продают. Инженер, заинтересовавшийся делом, находит уголь *промышленный*.

8 января <1916>

Одно из действующих лиц: девушка (барышня), которая никогда не имела дела с ужасным. Веселая, «бодро» смотрит на жизнь. Все ее ставят в пример (ему, между прочим). Когда произошло убийство, она кричит: «Ай, не вынесу», мешается в уме. И это ставят в вину ему же.

6 июня <1916>

Инженерская жена: «Ах, это, право, очень мило. — Что ж, эти люди слушаются вас?» (А у него — тайный, унижающий его, сговор со старшим мастером.) — «Не правда ли, у вас есть теперь свой отомобиль? И вы можете де-

«...дать все, что хотите?» (А он — черный от грязи, по ночам не спит.)

Не хватает матерьялов; рабочие ропщут; пьянство; дело стало; его разбирает охота бросить все. Подвертывается дамочка, с которой можно весело провести время.

Еще — приходит некто бородатый и темный приставать с «белой березкой», Святой Русью и прочим и прочим. Говорит набожно и книжно. Подвертывается <некто> — спекулировать.

Все это — мщение подземных сил, уже потревоженных. *Борьба*: их надо усмирить и обратить на добро людям. Но он-то, из первых, слабый, сентиментально воспитанный, сам еще плохо «различает добро и зло». И вынести непосильное бремя помогает ему, хотя и поседевшему, одно только упрямство, скука, «многознание» (ни на что, ни на какие соблазны не идет или идет только полшага, ненадолго уступая: это и есть в нем *РУССКОЕ*: русский «лентяй», а сделал громадное дело, черт знает для чего; сделал не для себя, а для кого — сам не знал).

Муж инженерши говорит, как бы между

прочим: «Дело ваше плохо ладится, я вижу; тут надо практика: знаете, некто Кацнеленсон купил бы у вас это дело, хорошо бы заплатил вам за него. Разумеется, поручил бы купить подставному лицу (черта оседлости...)».

23 декабря <1913>

Совесть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне.

Дневник 1917 года

25 *мая*

Старая русская власть делилась на безответственную и ответственную.

Вторая несла ответственность только перед первой, а не перед народом.

Такой порядок требовал людей верующих (вера в помазание), мужественных (нераздвоенных) и честных (аксиомы нравственности). С непомерным же развитием России вглубь и вширь он требовал еще — все повелительнее — гениальности.

Всех этих свойств давно уже не было у носителей власти в России. Верхи мельчали, развращая низы.

Все это продолжалось много лет. Последние годы, по признанию самих носителей власти, они были уже совершенно растеряны. Однако равновесие не нарушалось. Безвластие сверху уравнивалось равнодушием снизу. Русская власть находила опору в исконных чертах народа. Отрицанию отвечало отрицание. Так как опора была только отрицательною, то, для того чтобы вывести из равновесия положение, надо было ждать толчка. Толчок: этот, по громадности России, должен был быть очень силен. Таковым оказалась война 1914–1917 года. Надо помнить, однако, что старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской души, на свойства, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, в кругах гораздо более широких (и полностью или частями), чем принято думать; чем полагается думать «по-революционному». «Революционный народ» — понятие не вполне реальное. Не мог сразу сделаться революционным тот народ, для которого, в большинстве, крушение власти оказалось неожиданностью и «чудом»; скорее просто неожиданностью, как круше-

ние поезда ночью, как обвал моста под ногами, как падение дома.

Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция?

Все это — в миноре.

28 мая

Допрос Горемыкина 15-го мая (35 страниц стенографического отчета).

Рескрипт 24 июля 1914 года — о передаче Совету министров некоторых прав верховной власти. — Порядок роспуска законодательных учреждений и перерыва занятий Государственной думы. — Мероприятия в порядке 87-й статьи Основных законов и отношение к Государственной думе. — Издание актов в порядке верховного управления. Назначения.

Распространение деятельности военной цензуры на дела внутреннего управления. Стремление к восстановлению предварительной цензуры. Отношение к закону.

Ночь на 1 июня

Труд — это написано на красном знамени

революции. Труд — священный труд, дающий людям жить, воспитывающий ум и волю и сердце. Откуда же в нем еще проклятие? А оно есть. И на красном знамени написано не только слово труд, написано больше, еще что-то.

1 июня

С утра (10–11) я ждал Муравьева в Петропавловской крепости, разговаривал и слушал разговоры солдат.

Стрелки убили сапера за противуленничество (на днях в крепости), всячески противятся выдаче еды заключенным. Не большевизм, а темнота.

Доктор Манухин. Поручик Чхония сегодня приуныл (вероятно, после скандала на днях, о котором рассказывали).

Вчера в миниатюре — представление Распутина и Анны Вырубовой. Жестокая улица. Несмотря на бездарность и грубость — доля правды. Публика (много солдат) в восторге.

Муравьев приехал от Керенского, который сказал, что военнообязанных из комиссии не возьмет, и сказал это совсем не морщась, как

я боялся, а с полной готовностью. «Бумаги у вас не возьму» (об этом).

Мы обошли 12 камер (см. записную книжку). Вырубова похорошела. Воейкова стригли. Щегловитов — каменный. Ренненкампф — карикатурный кавалерист. Добровольский может умереть. Макаров аккуратный и сдержанный. Климовичу очень тяжело.

Днем я писал Муравьеву записку — соображения об издании стенографических отчетов.

2 июня

Три допроса в Зимнем дворце (Фредерике, Золотарев, Джунковский). Червинского ушли из комиссии. Разговор с Неведомским. Письма царя, царицы, Штюмерера, Илиодора, Ржевского. Ночью — телеграмма от маленькой, что завтра утром приедет — на два дня.

3 июня

Утром приехала Бу, спит на моем диване. Очевидно, я сегодня мало буду делать. Письмо маме.

Да, я ничего не делал. Приезд милой так всполошил меня, «выбил из колеи».

Вечером мы были с ней в каком-то идиотском «Луна-Парке», в оперетке, но она все-таки была довольна, я был этому рад.

Ночью — на улице — бледная от злой ревности Дельмас. А от m-те Коган лежит письмо. «Они» правы все, потому что во мне есть притягательная сила, хотя, может быть, я догораю.

4 июня

Громовое ура на Неве. Разговор с милой о «Новой Жизни». Вихрь мыслей и чувств — до слез, до этой постоянной боли в спине. Подумали еще мы, «простые люди», прощать или не прощать старому графу (Фредериксу) его ногти, то, что он «ни в чем не виноват». Это так просто не прощается. «Эй ты, граф, ходи только до сих пор!», «Только четыре шага!» Все-таки я сделал сегодня свои 20 страниц Белецкого. В перерывах был с моей милой, которая никуда не уходила. Вечером я отвез милую на вокзал, посадил в вагон; даже подробностей не забуду. Как хорошо.

Ночью бледная Дельмас дала мне на улице три розы, взятые ею с концерта (черномор-

ского флота), где она пела и продавала цветы.

Милая моя, мы, если будем, состареемся, и тогда нам с тобою будет хорошо. Господь с тобой.

5 июня

От Пашуканиса — 350 рублей, и написано, что он пробует печатать (?! где договор?).

Письмо от мамы. От Пяста открытка с пути. Телефон от Верховского: 7-го в 9S часов там Кокошкина зовет меня на собрание к себе — обсуждать участие литераторов в выборах в Учредительное собрание (!).

Двадцать страниц Белецкого, большая прогулка.

Дважды на улице — Дельмас... Очень жаркий день.

6 июня

Звонила Любовь Михайловна Самарина, рожденная Боткина. У нее умерла мать, спрашивала Любу и адрес Анны Ивановны, рассказала мне о Гордине, которого выперли из Штокмансгофа санитары и который сделал что-то неважное по отношению к Боткиным с

библиотекой.

Звонил В. Н. Егоров, рассказывал о делах дружинных.

Кончено с первым допросом Белецкого.

Телефон от Марии Филипповны Кокошкиной — о завтрашнем собрании (В. Д. Набоков зовет). О моих стихах. Я говорил о своем «большевизме».

7 июня

Муравьев поручил мне привести в известный порядок стенограммы после Червинского. При беспорядке это не особенно легко. — Два допроса во дворце (Джунковский и Золотарев). Угнетающая жара (или я старею?). В кадетский клуб я не пошел. Письмо маме.

8 июня

Переговоры по телефону с М. П. Миклашевским и Л. Я. Гуревич по делам Чрезвычайной следственной комиссии. Второй допрос Белецкого — 20 страниц.

Вечере было необычное и жуткое.

Уходя во дворец — заняться с Косолаповым, — я получил письмо от тети. У мамы

опять болит спина. В семействе Кублицких — контрреволюционный ватерклозет. Меня это задело, так что я разозленный на буржуев шел по улице. Косолапов так устал, что мы мало занимались, а пошли наверх, в их коммуны. Коммуна Зимнего дворца — чай с вареньем. Все усталые, и все тревожны все-таки. Замечательные рассказы Руднева о Распутине (специалист по «темным силам»), Распутин гулял в молодости; потом пошло покаяние и монастыри. Отсюда и стиль — псалтири много. Третий и последний период — закрутился с господами. Ни с императрицей, ни с Вырубовой он не жил. О Вырубовой — ужасные рассказы И. И. Манухина (солдаты; ее непричастность ни к чему; почему она «так» себя ведет). В Севастополь приехали большевики, взбунтовали, Колчак ушел. С утра есть слух, что Керенский сошел с ума.

Следователь — русский, бородатый — тяготеет «темными силами», скучает по своему полтавскому продовольственному делу. Продовольствие — безнадежно, в министерстве опускаются руки.

Ночью заходила Дельмас, которая вчера

гуляла с моряком в Летнем саду. Запах гари от фабрик (окна настезь) не дает уснуть.

Надо всем — белые ночи. Люба, Люба! Что же будет?

9 июня

После 10-ти страниц Белецкого, в 2 часа знойного дня — вдруг свое. Меня нет до ночи. Будто бы — потерял крест, искал его часа два, перебирая тонкие травинки и звенящие трубки камыша, весь муравейник под высохшей корявой ольхой. А вдали — большие паруса, треск гидроплана, очарование заката. И как всегда. Возвращаюсь — крест лежит дома, я забыл его надеть. А я уже, молясь богу, молясь Любе, думал, что мне грозит беда, и опять шевельнулось: пора кончать.

10 июня

А спину с утра опять колет и ломит. Сладостная старость близка.

Все это прошло — «большой день» опять. Придя в крепость, я застал там Н. А. Морозова (который искал следы Алексеевского равелина, где сидел), Муравьева, уже обходившего

камеры с прокурором петербургской палаты Каринским и И. И. Манухиным. Я присоединился.

Сухомлинов опять светски легкомысленно хлопнул в ладошки.

Макаров, у которого всегда так пахнет йодом, так же все ни о чем не просит (очень стойко).

Белецкий пишет 70-ю с чем-то страницу, потный, в синем халате, всплакнул: Распутин ночью снится, «одно, что осталось для души», «даже жена мешает» с ее приходом начинает «думать о жизни». Ему уже предъявлено обвинение, но ему не надо мешать писать.

Собещанский стоял по ту сторону кровати. Он стал вовсе страшной крошкой. Из страшной крошки с чудовищем-носом вдруг раздался глухой бас: «Прошу об амнистии, потому что я ни в чем не считаю себя виноватым». Муравьев развел как-то особенно едко руками, все мгновенно вышли, не ответив ни слова.

Спиридович, когда-то стригшийся «ежиком», похожий на пристава генерал, нелепо мужиковатый, большой и молодой. Все гово-

рил деловито, а на вопрос о претензиях сказал: «Нет, ничего, только вот прогулка...» — и вдруг повернулся спиной к солдатам и, неслышно всхлипывая, заплакал.

Союзник *Орлов* долго говорил с прокурором, трясясь от слез (детей выгнали из учебных заведений, за квартиру не плачено), иногда переходя в хриплый шопот, прерывая слова рыданием.

Васильев был тоже менее спокоен, чем обыкновенно.

В *Протопопове*, оказывается, есть панченковское. Я взял от него еще записки. На днях он, кажется, Манухину, который предлагал ему заняться самонаблюдением, говорил: а знаете, я убедился в том, какой я мерзавец (в этом смысле).

Штюрмер все поднимал с полу книжонки (Собрание узаконений по 87-й статье) и, тряся бороденкой, показывал их мне, прося еще других.

Хабалов вполголоса сказал: «Относятся грубо, но я не жалуясь. Понятие о вежливости не всем свойственно».

Курлов просил меня прислать для диктов-

ки еще раз.

Маклаков.

После всего этого мы попали в гарнизонный комитет (по поводу того, что на днях, когда Беляева увозили на Фурштадтскую, было чуть не сделано вооруженное нападение на бастион; в крепости гарнизон 5000, из них 2000 — большевики (есть и офицеры). Муравьев сказал большую речь, требуя власти и доверия к своим действиям. Столкновение с доктором. В ответ — просили контроля. Муравьев остроумно доказал необходимость разделения труда (если каждый захочет контролировать, то автомобиль с заключенными не переедет и Невы). Манухин объяснил, что Щегловитов здоров. Говорил Карийский. Говорил Морозов. Морозову аплодировали. *Митинг* очень хороший. Мы вернулись во дворец, я записал что надо.

Вечером у меня были Идельсон (умный «западник») и Егоров, пришедший поздно. Ладыженский ответил длинным письмом Муравьеву обо мне, что рабочих уже 2000, что заведыванье партией недостаточно обслужено, что, однако, идя навстречу, он предлагает об-

ратится к начальнику дружины и в дружинный совет телеграфно.

Муравьев — социалист. Интересный разговор с Идельсоном.

11 июня

Около пяти часов я работал в Зимнем дворце, приводя в относительный порядок тот стенографический хаос, который оставил в наследство Червинский. — Заискивающий телефон от Дельмас. Письмо маме. Вечером я ходил в кинематограф, а ночью Дельмас долго ходила перед окнами.

От исполнительной комиссии дружины — лестно, но глупо.

12 июня

Двадцать страниц Белецкого. Покупка часов. Ольгино — серое море, гарь, ветер, гроза... Письмо от мамы.

13 июня

Двадцать страниц Белецкого. Днем Г. И. Чулков. Его «платформа». Письмо от Пашуканиса с пунктами договора.

Опять — молодое, летающее тело. Знакомство с директором «Ниагары» Шурыгиным, который просил у меня чертежника для проекта изобретенного им большого плуга.

Увядаящая брюнетка в трамвае. Мы изучали друг друга. Под конец по лицу ее пробежало то самое, чего я ждал и что я часто вызывал у женщин: воспоминание, бремя томлений, приближение страсти, связанность (обручальное кольцо). Она очень устала от этого душевного движения. Я распахнул перед ней дверь, и она побежала в серую ночь. Вероятно, она долго не оглянется.

Опять набегает запредельная страсть, ужас желания жить. У нее очень много видевшие руки; она показала и ладонь, но я, впивая форму и цвет, не успел прочесть этой страницы. Ее продолговатые ногти холены без маникюра. Загар, смуглота, желающие руки. В бровях, надломленных, — невозможность.

14 июня

Проверка Горемыкина (отчет подписан) — два часа утром. Весь день в крепости (допрос Штюрмера и Маклакова). Разговор с С. В. Ива-

новым и Идельсоном. «Большевики». Усталость. Вечером — встреча в трамвае с Ясинским.

15 июня

Двадцать страниц Белецкого (кончен 3-й допрос). Встреча с Сомовым. Ольгино. Усталость. Письмо маме. Вдруг — поздно вечером — зашел Идельсон. Он сегодня допрашивал Вырубову, в связи с Штюмером, ничего не добился.

16 июня

Возня с порядком в стенограммах и проверка Маклакова (все время до обода ушло). Телефон с Муравьевым, который спрашивал общие мои соображения как матерьял для его выступления в Совете солдатских и рабочих депутатов. Какая-то еще бумага Ладыженского — в комиссию (обо мне).

Пустые поля, чахлые поросли, плоские — это обывательщина. Распутин — пропасти, а Штюмер (много чести) — плоский выгон, где трава сгладана коровами (овцами?) и ковриги. Только покойный Витте был если не го-

рой, то возвышенностью; с его времени в правительстве этого больше не встречалось: ничего «высокого», все «плоско», а рядом — глубокая трещина (Распутин), куда все и провалилось.

Вечером, подойдя к кадетскому корпусу на 1-й линии, где заседает Съезд советов солдатских и рабочих депутатов, я увидел Муравьева, едущего в коляске. В «мандатном бюро» мне необыкновенно любезно выдали корреспондентский билет, узнав, что я — редактор Чрезвычайной следственной комиссии. По длинным коридорам, мимо часовых с ружьями, я прошел в огромный зал, двухсветный наверху. Был еще перерыв. Зал полон народу, сзади курят. На эстраде Чхеидзе, Зиновьев (отвратительный), Каменев, Луначарский. На том месте, где всегда торчал царский портрет, очень красивые красные ленты (они — на всех стенах и на люстрах) и рисунок двух фигур: одной — воинственной, а другой — более мирной, и надпись — через поле — *Съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов*. Мелькание, масса женщин, масса еврейских лиц... Я сел под самой эстра-

дой.

Сначала долго говорил приветствие представитель американской конфедерации труда. Каждый период переводил стоявший рядом с ним переводчик с малиновой повязкой на рукаве. Речь была полна общих мест, обещаний «помочь», некоторого высокомерия и полезных советов, преподаваемых с высоты успокоенной. Съезд ответил на все это шорохом невнимания, смешками (один только раз сердито выкрикнул что-то сзади матрос) и сдержанными аплодисментами. Отвечая на приветствие, Чхеидзе сказал, что первое, в чем должна нам помочь Америка, — это скорейшая ликвидация войны, что было покрыто несколько раз громом аплодисментов.

Муравьев сказал большую деловую речь. Сначала немного вяло, как ему свойственно начинать; потом, когда он спросил, может ли он несколько подробнее сказать о департаменте полиции, слышались голоса «просим»; в середине рукоплескали (на слова о том, что «мы не желаем применять к заключенным тех мер, которые они к нам применяли»). Вообще «деловая» речь была выслушана

внимательно и деловым образом; кажется, произвела хорошее впечатление и не вызвала возражений. В записках с вопросами, переданных в конце, спрашивали, между прочим, занимаемся ли мы делом Николая Романова.

Встреча в зале с Брызгайловым, который — делегат от Ташкента. Много было наших (из комиссии). Потом я долго сидел в столовой, пил чай (черный хлеб и белые кружки) и говорил с молодым Преображенским солдатом, который хорошо, просто и доверчиво рассказал мне о боевой жизни, наступлении, окопах, секретах, лисьих норах; как перед наступлением меняется лицо (у соседа — синее), как потом надо владеть собой, как падают рядом, и это странно (только что говорил с человеком, а уж он — убит). Что он хотел «приключений» и с радостью пошел, и как потом приключений не вышло, а трудно (6 часов в секрете на 20-градусном морозе). И еще — о земле, конечно; о помещиках Рижского уезда, как барин у крестьянина жену купил, как помещичьи черкесы загоняли скотину за потраву, о чересполосице, хлебе, сахаре и прочем. Хорошо очень.

Жарко, на съезде окна раскрыты, сквозняки, а все-таки — жарко. За окнами — деревья и дымный закат.

17 июня

День зноя и гроз. Весь день в крепости (допросы Виссарионова и Протопопова). Слухи о завтрашней манифестации, конечно, разноречивые. Записано в записной книжке крепостной и дворцовой. Усталость. Письмо от мамы.

Ночью <Л. А. Дельмас> от нескольких дней у моря — в обаянии всех благоуханий, обаятельная и хозяйственная, с какими-то слухами, очень важными, если они оправдаются (о предложениях Америки), какие могут узнавать только красивые женщины и, узнавая, разносить, равнодушными и страстными губами произнося умные вещи, имеющие мировое значение.

18 июня

Изучение Протопопова. Письмо от Любови Александровны.

Перед окнами — жаркая праздничная пу-

стота, а утром — собрались рабочие Франко-русского завода под знаменем с надписями: «Долой контрреволюцию», «Вся власть в руки Советов Солдатских и Рабочих Депутатов».

Ключевский 4-м периодом русской истории считает период с начала XVII века до начала царствования Александра II (1613–1855). (Вот, вот — реализм, научность моей поэмы, моих мыслей с 1909 года!) Мы в феврале 1917 года заключили 5-й период (три огромных царствования) и выступаем в шестой (переходный). Итак, и 5-й период уже доступен нашему изучению «на всем своем протяжении».

Рубежом 3-4-го периодов была эпоха самозванцев — запомним. НЯ. Да будет 41-я лекция Ключевского нашей настольной книгой — для русских людей как можно большего круга.

Изучение Бурцева. Окончательная подготовка к переписке трех допросов Белецкого

Мысль в честь сегодняшнего дня, который я опять отдал всей работе над прошедшим:

Перед моим окном высохло дерево. Буржуа, особенно с эстетическим рылом, посмот-

рит и скажет: опять рабочие нахулиганили. Но надо сначала знать: может быть, тут сваливали что-нибудь тяжелое, может быть, нельзя было не задеть, может быть, просто очень неловкий человек тут работал (у многих из них еще нет культурной верности движений).

В отчете комиссии следует обойтись без анекдотов; но использовать тот богатый *литературный* материал, который дают именно стенограммы и письменные показания, можно. Такова моя мысль.

Думаю, что, если комиссия <не будет подходить> с точки зрения профессиональной, припахивающей бюрократизмом, то она «окупится», т. е., выйдя умело на широкий литературный путь, заплатит государству с избытком ту огромную сумму, которую государство на нее тратит (200 000 в месяц?).

Кроме обоих редакторов (кроме меня), необходимо пригласить в состав нашей подкомиссии (на днях имеющей собраться) литератора-практика, который сумел бы поставить дело выгодно для государства.

Я написал письмо в исполнительную ко-

миссию дружины.

19 июня

Стенографический хаос во дворце, дрянность ***, растерянность разных растерях. Слухи о вчерашних страхах и о сегодняшних манифестациях на Невском, и будто наши прорвали в трех местах немецкий фронт. Письмо маме (нервное).

Ненависть к интеллигенции и прочему, одиночество. Никто не понимает, что никогда не было такого образцового порядка и что этот порядок величаво и спокойно *оберегается ВСЕМ* революционным народом.

Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и много знающий революционный народ?

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас перережут, во имя *ПОРЯДКА*.

«Нервы» оправдались отчасти. Когда я вечером вышел на улицу, оказалось, что началось наступление, наши прорвали фронт и взяли 9000 пленных, а «Новое время», рот которого до сих пор не зажат (страшное русское

добродушие!), обливает в своей вечерке русские войска грязью своих похвал. Обливает Керенского помоями своего восхищения. Улица возбуждена немного. В первый раз за время Революции появились какие-то верховые солдаты с красными шнурками, осаживающие кучки людей крупом лошади.

20 июня

Все эти дни я думал о заседании по поводу отчета, сегодня (плохо спал ночью) утром пришел во дворец, когда, конечно, никого не было. Пришел С. В. Иванов, потом — г. Тагер; Щеголев так и не пришел — его не добудились. Проболтавшись долго, С. В. Иванов, я и г. Тагер сели в конюшне, называемой покоем Зимнего дворца. Г-н Тагер пространно излагал дело, в курс которого он несколько вошел. Я осторожно успел сказать только, что отчет должен быть проникнут революцией (С. В. Иванов согласился быстро), успел предложить редакторов (литераторов) и намекнул, что бумажка г. Тагера не план, а конспект (г. Тагер тоже сдался). Потом стали завтракать, я даром проваландался и, смертельно устав от

дворцовой бестолочи, ушел, проторчав почти даром 3S часа. В утешение — купил «Семейство Холмских» и водевили Ленского для милой (в Александровском рынке).

В «Правде» нет ни слова о наступлении, но «Дело народа» и «Новая жизнь» констатируют и не протестуют. Съезд советов рабочих и солдатских депутатов вчера одобрил и наступление и арест анархистов на даче Дурново.

В отчете мне, по-видимому, предстоит дать характеристику министров. Комиссия будет редакционная, под председательством С. В. Иванова. Секретарем будет, к счастью, г. Лесневский (он аккуратен, по крайней мере). С Щеголевым («Былое») как-нибудь поделятся. Мы будем заниматься и отчетом и выработкой плана издания. С. В. Иванов очень хорошо рассказал сегодня, как Щегловиков выгнал его из Сената и как он не подал руки Щегловитову. Но дело не подвинулось.

Серая публика завтракает во дворце. Среди этих следователей и наблюдающих и пр. — две породы (больше-то уж неинтересные разветвления): одни — умные или считающие

себя умными; эти имеют холостой и иронический вид; другие — семейные, грустные и озабоченные. Так снаружи, по крайней мере, а ведь это лучшие работники («самые талантливые»). Резко отличаются, конечно, евреи — они умны, нигилисты до конца ногтей, а некоторые — очень или заметно наглы. Исключение из них, пожалуй, С. А. Гуревич (может быть, он подкупил меня тем, что один только исполнил часть необходимой для меня работы).

Ночью — разговор с <Л. А. Дельмас> с балкона и по телефону.

21 июня

Письмо от милой — от 15 июня. Письмо ей.

Манифестации (солдатское пошло). Три интересных допроса в крепости (Белецкий, Протопопов, Маклаков).

По-видимому, у меня инфлуэнца; кроме частой «аппендицитной» боли, всего томит и ломает.

22 июня

Бестолковое совещание с утра в Зимнем

дворце. Завтра — опять. По-моему, ничего не выйдет. Тысяча комбинаций мешает мне найти свое отношение к отчету, который поворачивается, по-видимому, совершенно не так, как мне брезжит. Участвуют два еврея, которые все покрывают своей болтовней. Один из них — умен довольно, но склад его ума — совершенно не творческий, а, как у всякого умного еврея, аналитический, специальный. Другой — глуп, нагл, сметлив, быстро схватывает верхи. Участие поляка, который сразу, ни к селу ни к городу, завел польский вопрос. Сенатор Иванов добродушен и мил, и только. Редакторы еще не выразились. Щеголев один стоит на реальной почве, но он думает только о себе.

Проверка Воейкова и бешенство на переписчицу, которую мало выпороть.

Вообще этот еврейско-бюрократический хаос может погубить комиссию. Нет, нет, лучше не углубляться, уже крови много испорчено, я нахожу, все-таки, еще в себе бесцельность и легкомыслие, когда не слишком ломают люди, старость, работа.

Поздно покинув Севилью...

Ночью <Л. А. Дельмас>. Она пела грудным голосом знакомые песни.

23 июня

Телеграмма от милой и ей. Письмо маме.

На заседание я решил не идти.

В нашей редакционной комиссии революционный дух не присутствовал. Революция там не ночевала. С другой стороны, в городе откровенно поднимают голову юнкера — ударники, имперьялисты, буржуа, биржевики, «Вечернее время». Неужели? Опять — в ночь, в ужас, в отчаянье? У меня есть только взгляд, а голоса (души) нет.

Побеждая все чувства: и мысли, я все-таки проработал до обеда, сделал больше половины Фредерикса и кончил проверку Воейкова.

Кончен Фредерике, и проверена Вырубова. Выписки из Голицына и Герасимова.

Вдруг — несколько минут — почти сумасшествие (какая-то совесть, припадок, как было в конце 1913 года, но острее), почти невыносимо. Потом — обратное, и до ночи — меня нет. Все это — к «самонаблюдению» (господи, господи, когда наконец отпустит меня госу-

дарство, и я... обрету свой, русский язык, язык художника?). К делу, к делу...

Письмо от Н. Минич — откуда-то с фронта.

25 июня

Занятие Белецким. Господин Картавец пришел с письмом от Потапенко. Телефон с Л. Я. Гуревич, которая «недоумеает», почему «ничем себя не зарекомендовавший маленький ***» играет чуть ли не первую роль. Я не могу объяснить, что «маленький ***» — это большой хам, который скоро окрутит устало-го Муравьева и нагадит комиссии.

Занятие Климовичем.

Поделом мне за мои тяжелые жизненные грехи: я опять трачу нервы на какого-то *** и ерепенюсь, вспоминая его мелкую наглость.

В газетах: «темные солдаты» побили Н. Д. Соколова. Съезд советов солдатских и рабочих депутатов закрылся.

Вечером — прелесть островов. К ночи — выписки из Хабалова (увлекательное описание дней революции).

26 июня

И ночью и утром я читаю интереснейший допрос Хвостова А. Н. (кружки, Распутин и пр.).

Письмо от мамы — о том, как в Шахматове тоскливо и глухо (от 19 июня!).

Длинный разговор по телефону с Л. Я. Гуревич, в которой я нашел полное сочувствие себе в отношении к ***. Стало полегче благодаря ее чуткости.

Букинисты.

И разбит, и устал, и окрылен, и желаю — и рабочий, и пьяный закатом — все вместе...

Какие странные бывают иногда состояния. Иногда мне кажется, что я все-таки могу сойти с ума. Это когда наплывают тучи дум, прорываться начинают сквозь них какие-то особые лучи, озаряя эти тучи особым откровением каким-то. И вместе с тем подавленное и усталое тело, не теряя усталости, как-то молодеет и начинает нести, окрыляет. Это описано немного литературно, но то, что я хотел бы описать, бывает после больших работ, беспокойных ночей, когда несколько ночей подряд терзают неперестающие сны.

В снах часто, что и в жизни: кто-то напада-

ет, преследует, я отбиваюсь, мне страшно. Что это за страх? Иногда я думаю, что я труслив, но, кажется, нет, я не трус. Этот страх пошел давно из двух источников отрицательного и положительного: из того, где я себя испортил, и из того, что я в себе открыл.

Сегодня все-таки много сделано четвертого допроса Белецкого.

27 июня

Телефон (сегодняшнее собрание следователей и наблюдающих переносится на завтра). Двадцать пять страниц четвертого допроса Белецкого. Письмо маме. Лесной — Коломяги.

28 июня

Весь день в Зимнем дворце. Два интересных допроса (Челноков и Н. И. Иванов), вечернее заседание. *** явлено мое недоброжелательство, т. е., кажется, он его почувствовал. Муравьев выдвигает его всячески, но нечего выдвинуть: одни пошлости, общие места (согласен с этим и Идельсон). С. А. Гуревич рассказывает свой разговор о суммах департамента с Белецким.

Хорошие слова Гирчича. Вернулся я из дворца в 1-м часу ночи. Л. А. Дельмас пела Кармен в Народном доме. Или я устал, или «привык», или последний раз она опять меня пленила? Но за пустою болтовней я слышу голос соловьиный.

Письмо от тети — хорошее.

30 июня

Одушевленное (с моей стороны) заседание во дворце по поводу стенограмм. Письмо маме. Особый род усталости — лихорадочный. Телефон от Идельсона, который как-то справляется о ***.

В 12 часов ночи, в минуту, когда я дописал записку милой, погасло электричество и стал особенно заметен этот едкий запах гари: фабрики и давно уже где-то в окрестностях горящий торф.

Месяц на ущербе за окном над крышами на востоке — страшный, острый серп. А под окном целуются, долго и сладко целуются. Женщина вся согнулась таким долгим и томным изгибом закинулась на плечо мужчины и не отрывает губ.

Как красиво. А я сижу при двух свечах.

2 июля

В противоположность вчерашнему, когда меня закрутило: 20 страниц Белецкого (кончен четвертый допрос). Подготавливаю к завтрашнему заседанию о стенограммах. Также готовлюсь я разрушить дурацкое недоразумение, которое подсунул П. Тагер.

3 июля

Не выспался. Длинное заседание о стенограммах (Ольденбург, Л. Я. Гуревич, Миклашевский, я много говорю, Лесневский, заходили Иванов С. В. и Муравьев). Ольденбург очень убедительно доказал необходимость реформы правописания (миллионы просьб, 13 лет вопрос в воздухе, реформа умеренна, Пушкин остается, кассы шрифтов могут быть и старые — «для желающих»).

Ночью ушли все министры-кадеты. Г-жа Танеева (мать Вырубовой) написала пасквиль на комиссию и на администрацию Петропавловской крепости.

Страшная усталость. Вечером письмо от

милой с оказией (театральный парикмахер) — о том, какая она социал-демократка. Записка милой, два журнала, книжка.

Заседание тянется, все время перемежаясь более или менее интересными разговорами; от этого внимание слабеет, секретарь убегает, протокол оказывается неполным. Вообще хаос, в котором обсуждается все время, в сущности, один вопрос: как бороться с хаосом? — С самим собой бороться.

Вечером я сижу и работаю усталый (надоевшая таблица стенограмм). Душно. К ночи пришла Дельмас (она пела «Гимн радости»). На мосту какое-то оживление. Ночью рабочие подкатили на грузовике к почтовым учреждениям и вызвали товарищей. Три грузовика наполнились людьми, которые с криками укатили в город (один грузовик до того стар и расхлябан, что через десять минут его руками прикатили назад). Мальчишки, отдельные восклицания. По слухам, сегодня вышел вооруженный Московский полк. По слухам же, германские деньги и агитация громадны. С продовольствием Петербурга дело стоит очень плохо. Есть много обвинений против

Громана. Какая душная ночь, скоро час, а много не спящих людей на улице, галдеж, хочот, свинцовые облака.

Дельмас, воротясь домой, позвонила: на улице говорят: «Долой Временное правительство», хвалят Ленина. Через Николаевский мост идут рабочие и Финляндский полк под командой офицеров, с плакатами: «Долой Временное правительство». Стреляют (будто бы пулеметы). Также идет Московский полк и пулеметная рота (рассказывают на улице). Я слышу где-то далеко «ура». На дворе — тоскливые обрывки сплетен прислуг. Не спит город. Как я устал и слаб. Второй час ночи, опять подкатывают автомобили, ура и крики.

Л. Я. Гуревич сегодня предлагала мне подумать об издании дешевой книжки стихов и маленьких брошюр стихов вообще. — Тоскливо как-то. Спать, что ли, и думать, что победит эта умеренная эсеровская городская дума? Я слишком устал. Все-таки было от милой письмо.

Еще выбежал желтый грузовик из почтового сарая с людьми (солдаты и рабочие, у заднего видно ружье). Немного светает, 2 часа

ночи (по новым часам).

Письмо от милой.

4 июля

Утренние газеты вышли. Много лавок позакрывалось. Робкий телефон от г. Тагера. К 2-м часам пешком в Зимний дворец (трамваев нет). Улица довольно пуста и спокойна. Через 1 часа после того, как я пришел во дворец, началась стрельба залпами где-то в тылу его. Говорят, стреляли в Преображенские казармы и из окон отвечали. Заседание об отчете. Г-н *** всем орудует, все с этим согласны и его обожают, фрондируем только мы с Идельсоном. А. Тагер тоже, оказывается, склонен к вульгарности, он уже предлагает услуги издательства «Муравей»... В 6-м часу домой — опять пешком. Встреча с Княжниным. На улицах — кучки народа. Я заходил в кофейню на Вознесенском. Вечерняя «Биржевка» вышла. Будто бы побили на Невском кронштадцев. Две стихии. Озлобление Княжнина. Сейчас (пока я пишу это) на улице выстрел. По городу носят автомобили, набитые солдатами, торчат штыки.

Дворцовый слух: Петербург на осадном положении, Половцеву предоставлены все полномочия. Присяжный поверенный Гольдштайн, когда у него сегодня отобрали автомобиль, показал удостоверение Керенского на право служебных поездок. Ему сказали: «Керенский давно арестован. Вы бы еще показали удостоверение Николая II».

Один автомобиль был очень красив сегодня (маленький, несется, огромное красное знамя, и сзади пулемет). Много пулеметов на грузовиках. Красные плакаты. Слух швейцарихи Вари о пулеметах на крышах и о бывших городских. Я думаю о немецких деньгах. Остальное — в газетах.

Утром шел дождь, потом наступила жара, к вечеру душно, идет грозовая туча с молнией.

Чем более <члены Чрезвычайной следственной комиссии> будут топить себя в хлябях пустопорожних заседаний и вульгаризировать свои «идеи» (до сих пор неглубокие), — тем в более убогом виде явится комиссия перед лицом Учредительного собрания. В лучшем случае это будет явление «деловое»,

т. в. безличное, в худшем — это будет посмешище для русских людей, которые — осудить не осудят, но отвернутся и забудут. Что же, если так суждено; значит — голоса нет. Сдавайся... — ам, комиссия сама себя отведет на задний план; оттуда, где поют солисты, она отойдет туда, где сплетничают хористки.

Письмо маме.

На улице встретился Вася Менделеев. Серое пальто, дорожная шапка с козырьком, через плечо — на веревке — мешок для провизии. Бородатый, довольно бледный, сходство с отцом.

Тоскливо как-то... Свежесть после дождя, собака кричит, полаивает, а люди — не очень громко (а когда и громко, их немного на углах). Последний слух: на Литейную выписали 20 карет скорой помощи (ночью). Солдаты будто бы готовы «подавить восстание», кроме нескольких полков.

Как я устал от государства, от его бедных перспектив, от этого отбывания воинской повинности в разных видах. Неужели долго или никогда уже не, вернуться к искусству?

5 июля

Пришло чулковское «Народоправство», № 1. «Русская воля» полна событий; оказывается, вчера много убитых и раненых. Я принялся за Белецкого и поступил мудро, так как в Зимнем дворце, как оказалось, никаких допросов нет (барышень нет), меня никто не предупредил, и я пришел бы даром.

Барышня на телефоне говорит, что очень много работы, — не отвечала] часа.

Ко мне в комнату, пока я работаю, влетел маленький воробей, и я сейчас же почувствовал тоскливость минуты, грязь государственную, в которой я к чему-то сижу по уши, стал вспоминать Любу.

С. П. Белецкий «очищается от грязи». Но можно ли очиститься, выливая также и всю чужую грязь и не стараясь оправдать ее? Нет, те, кто из них раскаялся (и раскаялся ли?), должны еще пройти много ступеней очищения, они — в самом низу лестницы, как «дети», только наоборот.

Сегодня сделал весь пятый допрос Белецкого -26 страниц, особенно больших и полных (вплоть до обеда).

6 июля

День богатый делами и грешный. Утром — миноносец «Орфей» у Английской набережной. Патрули у мостов, Николаевский разведен. Дворец — пусто.

Первый, конечно, С. Ф. Ольденбург. Заседание. Я в течение нескольких часов, прерываемых разговорами о событиях дня, проездом велосипедной команды, завтраком, — стараюсь «изолировать» ***, нахожу разные поддержки, в конце концов, кажется, по крайней мере на время, это удается. Часов около 3-х (с 11-ти утра) заседание об отчете прерывается, выясняется многообразие мнений и отсутствие плана.

В комиссию приезжают меньшевики, члены ЦК и Исполнительного комитета — Либер, Дан и еще один. Муравьев зовет меня в крепость, мы едем на автомобилях большой компанией; цель — узнать у бывших чинов департамента полиции имена главнейших провокаторов из большевиков (присутствующие меньшевики — Следственная комиссия, расследующая немецкие деньги на последние со-

бытия). Последовательно вызываются: Виссарионов, Курлов, Спиридович, Белецкий и Трусович. Все одинаково *не* знают. Протокол Курлова пишу я; потом иду к нему в камеру, прошу его подписать и разговариваю с ним. Он держится униженно-добродушно (генерал-лейтенант).

Крепость внутри пуста, комендант рассказывает о сегодняшней осаде, мы доезжаем только до ворот, которые заперты, мост полон кучек солдат, в обоих воротах — большие караулы. К заключенным большевиков не пустили (рассказывает унтер-офицер); они спрашивали о стрельбе на улицах эти дни, им говорили для объяснения, что вода поднялась. Едва ли они этому поверили, слыша пулеметы. Пушки в полдень сегодня не было (во избежание паники).

Слухи об арестах, освобождениях, опять арестах. Когда мы вышли из крепости (в 8-м часу вечера), сияло солнце, мирные кучки толпились, дворец Кшесинской завоеван, побежали трамваи. Я долго гулял...

Газеты празднуют победу. Ночью на сегодня с фронта пришла целая дивизия. Казаки.

Слухи о заводах. Ночью много труб дымит. Слухи об отправке взбунтовавшихся на фронт.

Распорядительность Половцева.

От мамы писем давно нет, очевидно, масса писем не разобрана.

У Либера — хорошее лицо (Микель-Анджело), у Дана — отвратительное (шиповник Вайс). Третий товарищ — моложе — мрачный. Все — измученные.

Слух об аресте Ленина...

О, грешный день, весь Петербург грешил много и работал, и я — много работал и грешил.

Люба, Люба, Люба.

7 июля

С утра — небольшая справочная работа. Мое отсутствие весь день (Ольгино). Письмо от мамы от 27 июня. Письмо маме.

«Восстание усмирено». А именно: ночью пришла Дельмас; и вдруг где-то на Неве или на Васильевском острове затрещали пулеметы, залпы, выстрелы, долго. Люди выбежали на улицу, кучки на углах.

Дельмас принесла слух, что Терещенко тоже ушел. Сырая, душная ночь.

8 июля

Утром дописал письмо маме. Двадцать шесть страниц второго допроса Маклакова.

Всякая мысль прочна и завоевательна только тогда, когда верна основная схема ее, когда в ее основании разумеется чертеж сухой и единственно возможный. При нахождении чертежа нельзя не руководствоваться вековой академической традицией, здравым и, так сказать, естественным разумом.

Что мыслится прежде всего, когда думаешь о докладе высокого государственного учреждения — Следственной комиссии, должностяющей вынести приговор старому 300-летнему режиму, — учреждению еще более высокому — Учредительному собранию нового режима?

Мыслится русская речь, немногословная, спокойная, важная, веская, понятная — и соответствующее издание государственной типографии (а не популярные книжечки, издаваемые еврейско-немецкой фирмой «Мура-

вей»). Такую речь поймет народ (напрасно думать, что народ не поймет чего-нибудь настоящего, верного), а популяризации — не поймет.

Всякая популяризация, всякое оригинальничанье, всякое приспособление заранее лишает мысль ее творческого веса, разжижает ее, делает шаткой, студенистой. Caveant Academia, ne quid ratio detrimenti capiat.[72]

Найденный верно чертеж можно спокойно вручить для разработки всяким настоящим рабочим рукам. Лучше — талантливым; но личных талантов бог не требует, он требует верности, добросовестности и честности. Если будет работать талант, *обладающий этими качествами* (и, кроме того, в данном случае, государственным умом), то он сумеет вырастить на сухих прутьях благоухающие свежие и красные цветы Демократии. («Талантик» только нагадит.) Если не будет таланта, чертеж останется верным, а Народ примет мило и простой и честный рабочий труд.

Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией.

Вульгаризация не есть демократизация. Со

временем Народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего... интеллигентского недомыслия хотел к нему «спуститься». Народ — наверху; кто спускается, тот проваливается. Это судьба и «***-ов» и «муравьев», дело только во времени.

Это — моя мысль (после ванны), все еще засоряющаяся злостью. Ее надо очистить, заострить и пустить оперенной стрелой, она — коренная и хорошая.

Прелесть закатного неба, много аэропланов в вышине, заграница на Карповке, грусть воспоминаний в Ботаническом саду и около казармы, наши окна с Любой.

9 июля

Почтовый сюрприз. Небольшая работа над Маклаковым (кончил второй допрос, начал третий).

Телеграммы от Любы и от мамы, и мой ответ.

Прелесть Шуваловского парка, Парголово, купанья, заката. Свежий крылатый зеленый

день. К вечеру неожиданная встреча с Дельмас в Парголове.

10 июля

Почему я врал себе и маме, что Либер и Дан — большевики? Оба — меньшевики. Все это — моя «отвлеченность».

Сегодня — раздирающий день для меня, потому что я почти никогда не умею совмещать. Между тем сегодня «новое» врывалось в «старое», как никогда. Потому я измучен, просто — выпита вся кровь.

Едва я пришел во дворец, вся здравомыслящая обывательщина мнений его аборигенов кинулась в меня. Все наперерыв: арестовать большевиков, давно надо было, Россия гибнет, прорыв и бегство, какого никогда не было, и так далее, измена и прочее.

Кадеты приняли резко националистическую окраску. Миклашевский слабо защищается против риторического жара Родичева, потому что правда Миклашевского — пьяненькая, хорошая, бесшабашная, русская правда. Да ведь оба пьяненькие? Не правда ли? Слезы на глазах у обоих. Слезы Микла-

шевского лучше. Холодный Муравьев против ареста Ленина и старается ликвидировать спор. Щеголев принес «хорошие ужасные вести»: наши наступают на севере, Галич и Тарнополь еще в наших руках, остатки 11-й армии расстреляны своими же, французы и англичане начинают наступление.

Это — «перерыв». А до и после — 5-часовой допрос умного Крыжановского, мне пришлось быть секретарем и строчить протокол, а документов оглашено и предъявлено больше чем когда-нибудь. На возвратном пути меня заговаривал С. Ф. Ольденбург. Бывают же такие дни.

Буржуазные вечерние газеты — одна лихорадка: злобная травля, истерический ужас, угрожающие крики. А русский народ «бьжит» добродушно, тупо, подловато, себе на уме. Вот наша пьяненькая правда: «окопная правда». За что нам верить? За что верить государству? Господа всегда обманывали. Господа хоть и хорошие, да чужие. Если это возобладает, будет полный государственный крах, но — разве я смею их за это травить? Глупый, озлобленный, корыстный, тупой, наглый, а

каким же ему еще, господи, быть?

Толпившиеся на днях вечером с криками у «Луна-Парка» (когда оттуда выходит офицерье со своими блядами, — ей-богу, хочется побить) арестовывали, оказывается, редактора «Окопной правды», поручика Хаустова. Какая мерзость — «средний» человек, особенно военный — «в отпуску», День серый, какие-то холодные тряпки туч. К ночи я долго слышу какие-то глухие удары, похожие на пушечную стрельбу (в стороне моря). По-видимому, это — мое воображение, потому что на улице никто не обращает внимания.

11 июля

С утра до полдня (4-го часа) — занятия стенограммами во дворце с Ольденбургом и Лесневским. Очень приятный день и освежающая прогулка вечером, а днем — покупка книг у Глебова, с которым мы давно не видались.

12 июля

Когда стреляют по своим, то обыкновенно стремятся произвести главным образом мо-

ральное действие, стреляют поверху. Однако (как теперь, по 11-й армии) перестреляли и совершенно невинных, случайно попадавших (Ольденбург).

Китайская книга о поэте написана Алексеевым, хорошо говорящим по-китайски. Вступление к драмам Калидасы — восточная поэзия вообще требует творчества читателя, гораздо больше, чем западная (Ольденбург), она как бы требует усилия от желающего насладиться ею.

«Отделение» Финляндии и Украины сегодня вдруг испугало меня. Я начинаю бояться за «Великую Россию». Вчера мне пришлось высказать Ольденбургу, что, в сущности, национализм, даже кадетизм — мое по крови, и что стыдно любить «свое», и что «буржуа» всякий, накопивший какие бы то ни было ценности, даже и духовные (такова психология *lanterne'a*[73] и всех предельных «бессмысленных» возмущений; Киприанович, поддержавший меня, внес поправку, что все это имеет экономическую предпосылку, но я думаю, что она выпадает сама собой, и ум, нравственность, а особенно уж искусство — и

суть предмет ненависти. Это — один из самых страшных языков революционного пламени, но это — так, и русским это свойственно больше чем кому-либо).

Если распылится Россия? Распылится ли и весь «старый мир» и замкнется исторический процесс, уступая место новому (или — иному); или Россия будет «служанкой» сильных государственных организмов?

Деятельность Шептицкого, документ которого, прямо указывающий на австрийскую работу (документ щегловитовских времен). Идельсон хочет опубликовать. Подозрения на Грушевского. «Украинский сепаратизм — австрийская работа». Указания Белецкого на связь Ленина с Австрией. Юридическая квалификация измены и шпионства различна. «Пораженчество в данный момент — измена» (С. В. Иванов).

На фронте, по-видимому, очень неблагополучно, и на западном, судя по сегодняшнему сообщению.

Я по-прежнему «не могу выбрать». Для выбора нужно действие воли. Опоры для нее я могу искать только в небе, но небо — сейчас

пустое для меня (вся моя жизнь под этим углом, и как это случилось). То есть, утвердив себя как художника, я поплатился тем, что узаконил, констатировал *середину* жизни — «пустую» (естественно), потому что — слишком полную содержанием преходящим. Это — еще не «мастер» (Мастер).

Я пошел во дворец, где иногда слушал допрос Александра Алексеевича Хвостова, старого, умного, порядочного, может быть хитроватого. Занимался стенограммными мелочами.

На улице — скверно: выйдя, я увидел грузовик с вооруженными матросами («правительственные» или нет?). Всюду — команды, патрули — конные и пешие, у хвостов солдаты. Появилось периодически возникающее, хотя и редкое, отдавание чести. Всюду на стенах объявление от министерства внутренних дел, подписанное Церетелли. В книжных лавках книги теперь завертывают в старые законы.

Письмо от мамы и маме.

Произошло странное недоразумение: я записал для председателя слова Белецкого о

большевиках как о «первых христианах» и пр., сказанные в крепости 6 июля. Председатель сказал, что, наоборот, Белецкий говорил о меньшевиках, когда я хотел взять бумагу обратно, Муравьев спрятал в карман и сказал: «Зачем же вам переписывать?» Идельсон согласен со мной, что Белецкий говорил именно о большевиках.

13 июля

Кончил третий допрос Маклакова.

Несказанное — в природе, а жизнь, как всегда при этом, скучна и непонятна; непонятна особенно: тихо, военно, скверные газетные вести. Швейцар Степан хорошо рассказывает о прелестях братанья, которые нарушил Керенский. На улице зажглись фонари, министерство финансов напечатало еще 2 000 000 000 бумажек, намеки на «Париж» на улице («артист» с гитарой в кафэ).

Я никогда не возьму в руки власть, я никогда не пойду в партию, никогда не сделаю выбора, мне нечем гордиться, я ничего не понимаю.

Я могу шептать, а иногда — кричать:

оставьте в покое, не мое дело, как за революцией наступает реакция, как люди, не умеющие жить, утратившие вкус жизни, сначала уступают, потом пугаются, потом начинают пугать и запугивают людей, еще не потерявших вкуса, еще не «живших» «цивилизацией», которым страшно хочется пожить, как богатые.

Ночь, как мышь, юркая какая-то, серая, холодная, пахнет дымом и какими-то морскими бочками, глаза мои как у кошки, сидит во мне Гришка, и жить люблю, а не умею, и — когда же старость, и много, и много, а за всем — Люба.

Дети и звери. Где ребята, там собака. Ребята играют, собака ходит около, ляжет, встанет, поиграет с детьми, дети пристанут, собаке надоест, из вежливости уж играет, потом — детям надоест, собака разыграется. А день к вечеру, всем пора домой, детям и собаке спать хочется. Вот это есть в Любе. Травка растет, цветочек цветет, лежит собака пушистая, верная, большая, а на песочке лепит каравай, озабоченно высыпает золотой песок из совочка маленькая Люба.

Баюшки, Люба, баюшки, Люба, господь с тобой, Люба, Люба.

14 июля

Письмо от тети от 7 июля — о мамином беспокойстве, об одиночестве шахматовском и о том, что они собираются приехать в конце июля — начале августа на мамину квартиру.

Государство не может обойтись без смертной казни (Керенский!). Государство не может обойтись без секретных агентов, т. е. провокаторов. Государство не может обойтись без контр-шпионажа, между прочим заключающегося в «добывании языка». Братание кончилось тем, что батальонный командир потребовал «добыть языка». С немцами давно жили дружно, всем делились. Посовещались и не добыли. На следующий день командир повторил приказание с угрозой выслать весь батальон в дозор.

Батальонные и ротные комитеты на фронте бессильны. Ослушаться нельзя. Двух немцев, пришедших, по обыкновению, брататься (там — тоже не слушались начальства, и немцы тоже отказывались наступать), забрали и

отправили в штаб дивизии (что с ними там делали — неизвестно, но обыкновенно «языки» подвергаются пытке и пр.). Немцы вывесили у проволочных заграждений плакат: верните наших двух товарищей, иначе вам будет плохо. Стали совещаться, что поступили подло, но вернуть уже не могли. Немцы вывесили второй плакат: пришлите нам одного из ваших, мы его отпустим. Смельчак нашелся, пошел к немцам. И *вернулся обратно*, цел. Немцы вывесили третий плакат: верните нам наших, как мы вернули вам вашего, иначе вам будет плохо. Когда это не подействовало, открыли огонь по нашим окопам. Два дня свирепствовала немецкая артиллерия (к нашим окопам уже наверняка пристрелялись, — что наши окопы?), и выбили из каждой роты по 60 человек (вчера рассказал мне швейцар). Какая страшная трагедия.

Его же рассказы: Керенского бранят, зачем начал наступление, когда одни согласны, а другие — нет. Без наступления и с братанием война бы кончилась. Что отравляли братающиеся немцы, — газетное вранье. Еще бранят Керенского за то, что никуда не годных бело-

билетников и стариков берут и держат, даром тратя казенные деньги, а молодых рабочих с заводов, которые пошли бы в бой, будучи уже обучены, если их смешать с другими, не берут.

Вы меня упрекаете в аристократизме? Но аристократ ближе к демократу, чем средний «буржуа».

День с утра такой же таинственно-холодный, как вчера, но к середине дня выходило солнышко, и сразу легче было на душе. А я тружусь над Виссарионовым (он — бедный труженик, бедный ребенок).

Вчера я жалел себя, что приходится уходить из парка в Шувалове. Жить бы (пожить) в деревне, и с Любой.

Двадцать две страницы первого допроса Виссарионова.

В хвостах, говорит Агния, страшно ругают «буржуазию». Какого-то чиновника чуть не разорвали. Рабочий говорит: «Что мне 50 рублей?») Курица стоит 7 рублей.

Занятие А. Н. Хвостовым (толстым): противно и интересно вместе. Вот придворные помои, гнусные сенсации, жизнь подонков

общества во вся ее наготe.

15 июля

Письмо от мамы от 4 июля! Телефон от А. В. Гипшиуса, которого я вчера не застал. Шувалово и Парголово. Вечер у Жени Иванова, его жены и у моей крестницы. Без меня звонил Чулков.

Ночью вопит сумасшедший: «Темные силы! Дом 145, квартира 116, была хорошенькая блядь Надя, ее защищал полицейский!» Требует, чтобы его вели в комиссариат. Его ведут к Николаю Чудотворцу, уговаривая: «Товарищ, товарищ, не надо ломаться». Он кричит: «Прикрываясь шляпой!»

Ночью телефон с Дельмас — ее брат ранен на войне и умер в Киеве.

16 июля

Деньги от Пашуканиса. С утра забастовали пекаря, и нет хлеба. Успенский, заведующий экспедицией заготовления государственных бумаг (брат писателя, дядя жены Савинкова) говорил Жене, что для того, чтобы попасть в партию большевиков, надо внести 2000, и то-

гда откроется всякое «продовольствие» и все винные погреба (орудуют бывшие полицейские).

Рассказав об отсутствии хлеба (четыре бабы подрались в хвосте), Агния, однако, достала прекрасного кисловатого хлеба.

Как всегда бывает, после нескольких месяцев пребывания напряженного в одной полосе я притупился, перестал расчленять, события пестрят в глазах, противоречивы; т. е. это утрата некоторая пафоса, в данном случае революционного. Я уже не могу бунтовать против кадет и почитываю прежде непонятное в «Русской свободе». Это временно, надеюсь. Я ведь люблю кадет по крови, я ниже их во многом (в морали прежде всего, в культурности потом), но мне стыдно было бы быть с ними.

Письмо маме (длинное) Виссарионов — первый допрос — 23 страницы.

Солнышко к вечеру, и светлей и теплей мне, бедному зверю.

Записка Любе.

Какой-то жуткий вечер после хорошего дня. Телефон от Чулкова. Взгляд сумасшедше-

го в кафэ, который погрозил мне пальцем. Л. Дельмас, — с ней поздний вечер. Сегодня она пленила Глазунова.

17 июля

Описано в записной книжке.

18 июля

С утра — заседание в Зимнем дворце с С. Ф. Ольденбургом, Миклашевским и Лесневским; обедал и вечером у меня А. В. Гиппиус. Телефон от В. А. Зоргенфрея.

19 июля

Утром приехала Маня с большим письмом от милой и с сундуками. Все это меня очень взбудоражило, поднялось много со дна души — и хорошего и плохого. Нарботать сегодня столько, чтобы пришло все внутри в порядок.

* * *

Тридцать шесть страниц стенограммы Крыжановского и протокол заседания 10-го июля — огромная работа до после обеда.

В России очень...

Телефон от Пяста.

Дождь к вечеру (от гари?).

Безмятежность?

20 июля

Сорок одна страница Крыжановского. Письма маме и Любе. Купанье в Шувалове. Полная луна. Дельмас. Письмо от мамы от 12 июля.

21 июля

День довольно значительный. С утра во дворце заседание стенографической подкомиссии. Интересный вопрос по поводу бумаг Крыжановского. А. С. Тагер умно и жестоко говорит, что в *политических* целях (не только юридически) совершенно возможно *печатать* даже автобиографию, даже письма из перлюстрации (если это представляет *политический* интерес).

Мы этого не сделаем; мой вывод, что мы поступим мягко и тактично, соответственно с политическим моментом, требующим, чтобы не возникали всё новые обвинения против нового режима. Но государство и *право* (база

его) суть чудовища те же, и размах власти их (в котором есть скрип костей и свист сквозняка) так силен, что люди уже им не владеют. Государство *может*, да; как мы после этого отнесемся к государству — другой вопрос.

Любовь Яковлевна предлагала повлиять на Муравьева в смысле отчета через сенатора Андроникова.

Днем началось наше заседание об отчете (мой протокол). Ольденбург и председатель сказали мне несколько любезностей, и я принужден согласиться попробовать писать очерк о Протопопове, Муравьев сказал, что будет мне помогать. По-моему, по-прежнему нет плана; что будет из ряда очерков, я не представляю. Почему это отчет?

Но матерьял интересен, и я испытаю силы над Протопоповым.

Миклашевский во время заседания рисовал меня (как же я стар). Л. Я. Гуревич была, совсем больная (сердце).

Дома нашел неожиданно письмо от мамы от 18 июня; розы и красная записка от Л. А. Дельмас.

В газетах — плохо.

Нет рокового, нет трагического в том, что пожирается чувственностью, что идет, значит, по линии малого сопротивления. Это относится и к Протопопову и ко мне. Если я опять освобожусь от чувственности, как бывало, поднимусь над ней (но не опущусь ниже ее), тогда я начну яснее думать и больше желать.

Непомерная усталость.

22 июля

Муравьев высказал вчера, что Чрезвычайная следственная комиссия изживает свой век, пожелал ей закончиться естественным путем и сказал, что естественным пределом ее работы будет созыв Учредительного собрания.

Шуваловский парк, поле, купанье — весь день жаркий день.

23 июля

Дует холодный ветер.

Кончен допрос Крыжановского. Приведен в окончательный вид Горемыкин и Маклаков (без одного документа). Приведение в поря-

док других стенограммных дел. Чтение Комиссарова с выписками (до того — малоинтересного мне Беляева), Макарова с выписками.

Когда им (например, Комиссарову или Макарову) приводится литературная ссылка (обоим этим, например, на рассказ Л. Андреева о семи повешенных), то они игнорируют, даже как будто недовольны.

Восхитительные минуты (только минуты) около вечерних деревьев (в притоне, называемом «Каменный остров», где пахнет хамством). Дельмас я просил быть тихой, и она рассказала мне, как бывает, сама того не зная, только ужасы. Между прочим: юнкера Николаевского кавалерийского училища с офицерами пили за здоровье царя.

Отчего же после этого хулить большевиков, ужасаться перед нашим отступлением, перед дороговизной, и пр., и пр., и пр.? Ничтожная кучка хамья может провонять на всю Россию.

Боже, боже, — ночь холодная, как могила. Швейцар сегодня рассказывал мне хорошо об офицерском хамстве. Вот откуда идет «разложение армии». Чего же после этого ждать?

24 июля

Что же? В России все опять черно и будет чернее прежнего?

Дворец. Уход Ольденбурга (министр народного просвещения). Разговор с Тарле.

Допрос Маркова 2-го и Нератова. Разговор с председателем об отчете. Разговор с Миклашевским и Л. Я. Гуревнч. Вечером у меня композитор Аврамов, основатель общества «Леонардо да Винчи». Слухи: Одесса эвакуирована, эвакуация сопровождалась «еврейским погромом с большевистскими лозунгами»; наша румынская армия отрезана.

Письмо маме.

25 июля

Итак (к сегодняшнему заседанию об отчете):

Если даже исполнить то, что записано мной в протоколе, получится ряд не связанных между собой статей, написанных индивидуально разными лицами. Кто их свяжет и как?

Сколько бы мы сейчас ни говорили о мас-

штабе статей, полного масштаба установить нельзя по текучести матерьяла.

Выйдет компромисс.

Мыслимо: или — большое исследование, исследование *свободное*, с точки зрения *исторической* подходящее к явлениям, требующее времени, пользующееся всем богатейшим матерьялом; или — доклад *политический*, сжатый, обходящий подробности во имя главной цели (обвинение против старого строя в целом).

Я останавливаюсь, по причинам многим и высказанным многими, на последней форме. Что это конкретно: это — двухчасовая речь, каждая фраза которой облечена в невидимую броню, речь, по существу, военная, т. е. внешним образом — холодная, общая, важная (Пушкин), не обильная подробностями, внутренно же — горячая, напоенная жаром жизни, которая бьется во всех матерьялах, находящихся в распоряжении комиссии. Следовательно, каждая фраза такой речи может быть брошена в народ, и бросать ее можно как угодно. Пусть с ней поиграют, пусть ее бросят обратно, — она не разобьется, ибо за ней —

твердое основание, она есть твердое обобщение непреложных фактов.

Параллельно этой речи может стоять чисто криминальный отчет. А главное — матерьялы, все множество которых всегда может быть к услугам Учредительного собрания.

Мне кажется, что, строя доклад таким образом, мы избежим крупнейшей опасности: преувеличить значение имен, что как бы подтвердит легенду, создаст ошибку чисто зрительную. Опять конкретизирую примером: Протопопов (даже) — личность страшно интересная с точки зрения психологической, исторической и т. д., но вовсе не интересная *политически*. Так сказать, не он был, а «его было», как любого из них. Если мы лишний раз упомянем это маленькое имя, которое связано со столькими захватывающими *не* политическими фактами, то окажем плохую услугу — и народу, который будет продолжать думать о его значительности, и комиссии, и самому Протопопову.

В 4 часа было заседание, на котором мне удалось это более или менее высказать. Председатель отнесся мило и с улыбкой усталости,

Тарле — загадочно, Щеголев — съязвил, горячо поддержали Миклашевский и Гуревич, улыбался ласково и соглашался С. В. Иванов... Черномор дик сказал речь надвое, как ***-ский козел отпущения, Романов отнесся мало как (кажется, и Смиттен), кажется, остался недоволен добрый В. А. Жданов — «большевик».

Ужасные мысли и усталость вечером и ночью (отчасти — от чтения мерзостей Илиодора). Старший дворник — его речи против правительства; несчастья, сыплющиеся на Россию.

26 июля

Утром будет опять заседание — без председателя (Муравьева), с Тарле.

Председательствует С. В. Иванов, который сказал вещь, стоящую многого, освещающую все положение, как прожектором.

«Что такое эти люди? Мы сами виноваты, что не умели управлять ими, и я — один из первых. Мы виноваты больше их. Оставим это...»

В результате пришли к какому-то *компро-*

миссу, который мне придется излагать в протоколах.

Купанье.

27 июля

Письмо от уехавшей куда-то Дельмас.

В народе говорят, что все происходящее — от падения религии; что в Сенате украли отречение Николая II.

Большевики переведены в Петропавловскую крепость (Козловский, Суменсон, Коллонтай).

И. И. Манухин в первый раз обозлился — за то, что на него перевалили всю ответственность за Макарова, которому вредно сидеть в крепости.

Это бывало раньше (перебрасыванье ответственности), но сейчас родственники подняли голову и заседают. Другая музыка пошла.

Николая Романова комиссия решила не допрашивать (Учредительное собрание; а мы — остаемся в пределах своих «трех классов»).

С. В. Иванов (и С. Ф. Ольденбург) не согласны с председателем издавна в отношении к

заключенным (у них — меньше политики). Теперь это опять особо подчеркивается.

Записывая все эти мелочи, доступные моему наблюдению, я, однако, записываю, как «повернулась история». Я хочу подчеркнуть, как это заметно *далее* в мелочах (не говоря о крупном).

И все-таки, при всей напряженности, думаешь минутами постоянное: «Хорошо бы заняться серьезным делом — искусством». «Давно, лукавый раб...»

Что это в Шуваловском парке? Молодость, невеста, белая лошадь, вечерние тети, скамья в лощине.

История идет, что-то творится; а... они приспособливаются, чтобы *не* творить...

В частности (об отчете): *** и его приспешник Черномордик злятся, говорят мне любезности, а в результате заняли теперь ту позицию, что «я занял выгодную позицию», а они — честные труженики, дающие мало, но дающие верное.

Вечная гнусность, стародавняя пошлость... преследует и здесь, преследует на каждом шагу, идет по пятам. И я *хорошо понимаю* людей,

по образцу которых сам никогда не сумею и не захочу поступить и которые поступают так: слыша за спиной эти неотступные дробные шажки — обернуться, размахнуться и дать в зубы, чтобы на минуту отстал со своим полуполезным, полувредным (= губительным) хватанием за фалды.

Усталость, лень, купанье, усталость. Черно, будущего не видно, как в России.

28 июля

Опять заседание с отрицательным результатом. К моему <мнению> уже тяготеют, кроме Л. Я. Гуревич и Миклашевского (сегодня отсутствовавшего), — и С. В. Иванов; а Тарле уже сидит между двух стульев, облепленный *** и услуживающим ему, но, по существу, гораздо лучшим, Черномордиком.

Письмо от мамы и тети (от 24 июля). Письмо маме.

Отчего (кроме лени) я скверно учился в университете? Оттого, что русские интеллигенты (профессора) руководились большею частью такими же серыми, ничем не освещенными изнутри «программами», какую се-

годня выдвинул Тарле, которая действительно похожа на программу торжествующего... гимназиста Павлушки и с которой сегодня уже спорили. Ничего это не говорит. От таких программ и народ наш *темен* и интеллигенция темна.

Я пошел к Пясту, который вчера мне звонил, встретил его на улице и прошел с ним несколько шагов.

К ночи — длинный разговор с Феролем, который звонил мне на днях и опять позвонил.

Уезжает в Сафонове. Он советует маме жить в санатории с осени, я возражал. Разговор длинный и доверчивый с моей стороны, сухой и деловой с его, и потому — для меня тяжелый. Верно, опять буду видеть тяжелые сны.

Что же, действительно все так ужасно или... Погубила себя революция?

Тихая, душная ночь, гарь. А. Тома, уезжая, назвал Петербург «бардаком», офицеры английского генерального штаба пророчат голод и немцев и советуют всем, кто может, уезжать отсюда (Фероль).

29 июля

Усталость моя дошла до какого-то предела, я разбит. Ленивое занятие стенограммами. Досадую на Любу, зачем она сидит там и не едет, когда уже поздно.

30 июля

Воротясь вчера ночью (после купанья и встряски), нашел пакет от П. Б. Струве — «весьма срочно и спешно». В пакете — приглашение в члены Лиги русской культуры и приглашение к участию в первом публичном собрании Лиги (с приложением 9-го номера «Русской свободы»).

Кончен первый допрос Виссарионова. Бедный...

Вопрос о вступлении в Лигу для меня: А. Конкретный: 1. Горький, Горького нет, а Родзянко есть (связано с бурцевскими нападениями), 2. укрепление государственности (из воззвания учредителей — «К русским гражданам»), 3. отношение к еврейскому вопросу, 4. присутствие правых и москвичей. Б. Общій: тяготение мое к туманам большевизма и анархизма (стихия, «гибель», ускорять «лики

роз над черной глыбой»).

Пришел Женя Иванов, посидели немного, поговорили...

За: А. Конкретный: Лига русской культуры — 1 — объединение не классовое, не политическое, *над* политическими формами и течениями, 2 — просветительная деятельность, 3 — присутствие Струве и Ольденбурга среди учредителей. Б. Общий: зацепка за *жизнь*, участие в жизни, которое пока мне нужно («железный день»; нельзя ускорить «вечер»).

Знаменательнейшая «выноска» Булгакова (найти). Булгаков упрощает (большевизм и Распутин).

Цепом молотили медовый клевер, жирную кашку, которой поросли великорусские поля...

Большевизм (стихия) — к «вечному покою» (| покосившийся). Это ведь только сначала — кровь, насилие, зверство, а потом — клевер, розовая кашка. Туда же — и чувственность (Распутин). Буйство идет от вечного покоя и завершается им. Мои «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура».

Сковывая железом, не потерять этого дра-

гоценного буйства, этой неусталости.

Да, не так страшно. «Тяжкий млат, дробя стекло, кует булат».

Эта последовательность метаний, способность жить в вечном разногласии с собой... Лава под корой...

* * *

После обеда я успел, однако, весело удрать в Шувалове и выкупаться. За озером — «Сияй, сияй мне, далекий край. Бедному сердцу — вечный рай». В чем дело, что так влечет?

Оказывается, озеро железистое, потому вода желтая. Доктора прописывают некоторым купанье там. Около Парголова есть руда.

Купаясь в глубокой купальне (на этом берегу), я убедился, что все-таки могу плавать, нет еще только той сноровки, какая требуется и для велосипеда и, вероятно, для лошади, хотя к лошади я слишком уж привык.

31 июля

Телефон от Егорова, который уже выдержал экзамен на прапорщика инженерных войск.

Во дворце. Сначала иногда особо надоедаю-

щее бесконечное здорованье друг с другом. На допросы чинов министерства юстиции не пошел. Примостившись в столовой, довольно долго делал выписки из протопоповских записок. Все-таки начало положено. Около 5-ти — удрал купаться. Жарко очень.

Царя перевезли в Суздаль или Кострому (Идельсон).

Жду мою Любу.

1 августа

Милая приехала утром.

Заседание в комиссии (редакционной) с Д. Д. Гриммом. Его соображения о верховной власти. П. Тагер продолжает читать лекции сенаторам и членам Государственного совета, которые его выслушивают. Скептицизм Идельсона, который давно убеждает меня вернуться в дружину.

Я, по-видимому, беру, кроме «Протопопова», «Последние дни старого режима». — Зной и ветер, парк и купанье. Весь вечер — разговор с милой.

Письмо маме.

2 августа

Письмо от мамы. Видно, что ее беспокойство вес больше питается глушью Шахматова.

Сдаю I Маклакова (готового).

Тяжелый и мрачный допрос Гучкова. Ссоры в президиуме. Серость и хамоватость придворных Муравьева (г. Лесневский).

Люба у Вольфа. Как Люба изменилась, не могу еще определить в чем. — Купанье.

3 августа

Люба встала в 6 часов утра и побежала на Варшавский вокзал за молоком; вообще увлеклась хозяйством.

Весь день я составляю по газетам канву из известного политического матерьяла, для того чтобы расшивать потом по ней узоры матерьялов, добытых комиссией (сегодня и вчера вечером — с декабря до половины января 1917 г.).

Вечером мы с милой нашли для тети маленькую комнату в соседней с нами квартире за 45 рублей!

Телефон от Пяста.

Душно, гарь, в газетах что-то беспокойное.

Я же не умею потешить малютку, она хочет быть со мной, но ей со мной трудно: трудно слушать мои разговоры. Я сам чувствую тяжести и нудность колес, вращающихся в моем мозгу и на языке у меня. «Старый холостяк».

Люба говорила сегодня, что думала в Пскове о коллективном самоубийстве (тоже!). «Слишком трудно, все равно — не распутаемся». Однако подождем еще, думает и она.

Все полно Любой. И тяжесть и ответственность жизни суровей, и за ней — слабая возможность розовой улыбки, единственный путь в розовое, почти невероятный, невозможный.

В газетах на меня произвело впечатление известие о переезде Синода в Москву и о возможности закрытия всех театров в Петербурге. Теперь уж (на четвертый год) всему этому веришь. Мы с Идельсоном переговариваемся иногда о том, как потащимся назад в дружину. Тоска. Но все-таки я кончаю день не этим словом, а противоположным: Люба.

Происходит ужасное: смертная казнь на фронте, организация боеспособности, казаки, цензура, запрещение собраний. Это — общие

слова, которые тысячью дробных фактов во всем населении и в каждой душе *пылят*. Я пошел в «Лигу русской культуры», я буду читать «Русскую волю» (попробую; у «социалистов» уже не хватает информации, они вышли из центра и не захватывают тех областей, в которых уверенно и спокойно ориентируются уже «буржуа»; «их» день), я, как всякий, тоже игрушка истории, обыватель. Но какой полынью, болью до сладости все это ложится на наши измученные войной души! Пылью усталости, вот этой душной гарью тянет, голова болит, клонится.

Люба.

Еще темнее мрак жизни вседневной, как после яркой... «Трудно дышать тому, кто раз вздохнул воздухом свободы». А гарь такая, что, по-видимому, вокруг всего города горит торф, кусты, деревья. И никто не тушит. Потушит дождь и зима.

Люба.

4 августа

Опять — Бусино хозяйство и уют утром. Во дворец — злой. Разговор с Домбровским, кото-

рый рассказывал о крупном провокаторе, игравшем роль в протопоповской истории. Пришел Милюков, начали его спрашивать (розовый, гладко выбритый и сделанный подбородок, критически кривящиеся усы, припухшие глаза, розовые пальцы с коротко остриженными ногтями, мятый пиджачок, чистое белье). Я ушел, потому что председатель поручил мне отредактировать к завтрашнему дню (для Керенского) всю вторую половину допроса Хвостова (толстого).

Телефон от Зоргенфрея В. А. Тридцать семь страниц стенограммы второго допроса Хвостова. Увлекательно и гнусно.

Разговор с Любой за обедом, совесть беспокойная.

Письмо маме. Мысли как будто растут, но все не принимают окончательной формы, все находится в стадии дум. Следует, кажется, наложить на себя запрещение — не записывать этих обрывков, пока не найдешь формы.

5 августа

День для меня большой. Заседание во дворце, из частей которого для меня стали

немного выясняться контуры моей будущей работы. Вместе с тем я чувствую величайшую ответственность, даже боюсь несколько. Тему я определил с 1 ноября.

Мне поручено заведывание всеми стенограммами с литературной стороны и привлечение помощников для завершения работы.

Большой разговор с Д. Д. Гриммом по этому поводу.

Разговор с Тарле о моей теме.

Разговор с председателем о стенограммном деле и представление моей работы, которую он принял, сделает свои отметки, и переписанные части пойдут к Керенскому.

Купанье. Без меня звонил Пяст.

Утром — письмо от Струве (замечательные слова о Горьком).

К ночи — сильнейшее возбуждение после купанья и всего дня.

Я принес из дворца — 1) записку (по заказу его величества) с выпиской, между прочим, моих стихов («Грешить бесстыдно...»); 2) десять фотографий Чрезвычайной следственной комиссии.

6 августа

Люба получила для пробы работу над Виссарионовым II!

Большой разговор с Пястом по телефону.

«Русская свобода» № 12/13, в котором опять цитируется «Грешить бесстыдно, непробудно...».

Письмо от мамы — очень нервное и болезненное. Бедная мама.

Вчера выяснилось, что когда Тарле сказал, что хочет со мной работать над Протопоповым, Иосиф Витальевич Домбровский, председатель, решительно сказал, чтобы я писал один.

Между двух снов:

— Спасайте, спасайте!

— Что спасать?

— «Россию», «Родину», «Отечество», не знаю, что и как назвать, чтобы не стало больно и горько и стыдно перед бедными, озлобленными, темными, обиженными!

Но — спасайте! Желто-бурые клубы дыма уже подходят к деревьям, широкими полосами вспыхивают кусты и травы, а дождя бог не посылает, и хлеба нет, и то, что есть, сторит.

Такие же желто-бурые клубы, за которыми — тление и горение (как под Парголовым и Шуваловым, отчего по ночам весь город всегда окутан гарью), стелются в миллионах душ, — пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает; русский большевизм гуляет, а дождя нет, и бог не посылает его!

Боже, в какой мы страшной зависимости от Твоего хлеба! Мы не боролись с Тобой, наше «древнее благочестие» надолго заслонило от нас промышленный путь; Твой Промысл был для нас больше нашего промысла. Но шли годы, и мы развратились иначе, мы остались безвольными, и вот теперь мы забыли и Твой Промысл, а своего промысла у нас по-прежнему нет, и мы зависим от колосьев, которые Ты можешь смять грозой, истоптать засухой и сжечь. Грозный Лик Твой, такой, как на древней иконе, теперь неумолим перед нами!

7 августа, проснувшись

И вот задача русской культуры — напра-

вить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевою музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор; организовать буйную волю; ленивое тление, в котором тоже таится возможность вспышки буйства, направить в распутинские углы души и там раздуть его в костер до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть. — Один из способов организации — промышленность («грубость», лапидарность, жестокость первоначальных способов).

Допрос П. Н. Милюкова — интересный, хотя немного внешний.хлопоты стенографические и отчетные, утомительные мелочи. Вечером — М. В. Бабенчиков (рекомендованный мне Д. Д. Гриммом), которому я отдал для редактирования стенограмму Веревкина. Сплошь рабочий день.

8 августа

День крайнего упадка сил. Работаю много, но не интенсивно — от усталости. Телефон с Пястом. Записка маме.

9 августа

Работа несколько интенсивнее. Купанье. Я наговорил капризных неприятностей милой. Вечером у меня Пяст, которому я отдал для редактирования стенограмму Лодыженского. Пяст читал свои красноуфимские впечатления. Пяст признал сам себя годным при переосвидетельствовании.

10 августа

Телефон от поручика ***, который опять нелепым голосом своим сулит вернуть свой долг на днях.

Бусинька весь день трудилась над II Виссарионовым.

Бурный день во дворце. Все окончательно злые и нервные, Муравьев всех задерживает. Мирились и ссорились. Муравьев едет на московское совещание (послезавтра — первый день). Слухи о каких-то будущих бомбах с чьих-то аэропланов и о выступлениях, в связи с отъездом всех в Москву. Мы эвакуировали в Москву по одному экземпляру всех (почти) стенограмм.

В хвостах говорят, что послезавтра не будет хлеба (Агния).

У меня страшно взвинченное и нервное состояние, и я не жду добра от ближайших дней. Может быть, все это — одни нервы.

Сегодня начался процесс Сухомлинова; утром боялись, что он будет сорван.

Умер Ф. А. Червинский.

«Биржевка» и «Русская воля» тревожные.

Ночью — телефон от Пяста, который сегодня попал под автомобиль и ушиб ногу. Он прикомандирован к бюро печати — военной цензуре, находящейся в веденье политического отдела военного министерства (новое учреждение, руководимое Степуном). От стенограмм и он и его дядя отказались.

На улице я встретил очень невеселую Дельмас.

Бабенчиков приносил Веревкина (без меня, так как меня председатель вызвал для разговора о стенограммах).

Письмо от мамы.

Что такое московское совещание? О чем? Если оно не оправдает тех громадных надежд, которые на него возлагаются, это будет боль-

шим ударом прежде всего по Временному правительству.

Ночью — опять Дельмас, догнавшая меня на улице. Я ушел.

11 августа

Работа не очень плодотворная. Купанье. Телефон с Женей, который возьмет стенограммы Лодыженского, вместо отказавшегося Пяста. Ночью... (подпоручик) принес мне долг (400 руб.) и долго рассказывал: если вычесть его хамское происхождение, военные кастовые точки зрения, жульническую натуру, страшную хвастливость, актерский нигилизм, то останется все-таки нечто «ценное», что можно назвать «современностью», неприкаянностью. (А главное — по-своему любит Россию и узнал о ней довольно много.)

Письмо из «Народоправства».

Милая сверила Фредерикса.

Взрыв на ракетном заводе.

Уж очень красивые, обаятельные дни (умеренно жарко).

12 августа

Сегодня — первый день московского совещания (?). Здесь ожидалось волнения, но их не было. Не особенно интенсивная работа до 4-х часов дня. Купанье.

Письмо маме.

Ночью — какие-то странные вспышки на небе прямо перед моим окном, далеко. Гроза? Зарницы? Но воздух холодный. Может быть, ракеты? Или — прожектор?

Ночь (на воскресенье) производит впечатление рабочей, городской шум еще не улегся, гудки, горят фонари над заводами. А мерцающие вспышки, желтые, а иногда бледные, охватывающие иногда большую полосу неба, продолжают, и мне начинает казаться, что за городским гулом я слышу еще какой-то гул.

Все-таки я еще немного подумал над работой, милая спит.

13 августа

Конечно, это был гром.

Письмо от мамы — очень нервное, и от тети к Любе, что мама перестала поправляться.

Вчера на московском совещании говорили Керенский, Авксентьев, Прокопович и Некра-

сов. О речи Керенского, полной лирики, слез, пафоса, — всякий может сказать: зачем еще и еще? Некрасов сообщил страшные цифры.

Раннее утро было дымно. Потом пошел прохладный дождь, а на небе — розовые просветы. Работаю.

Днем у нас Бабенчиков и Женя (по редакторским делам и чай).

14 августа

С раннего утра до обеда — работа, статистика стенограмм, доклад или справка, которую я дам Гримму или председателю. Если и из этого ничего не выйдет, то г-да секретари и г-жи переписчицы погубят государственное дело, недоступное пониманию юристов-специалистов и барышень. Телефон с Л. Я. Гуревич.

15 августа

Кузьмин-Караваев занимает важный пост около Савинкова в политическом отделе военного министерства. Он рассказал Любе кое-что «не подлежащее оглашению» (борьба против существующего заговора черносотенцев,

отношение к Керенскому). Смысл всего, с моей точки зрения, — крупная и талантливая игра.

Пустота никогда не остается незаполненной.

Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, как давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой вьюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были между-революционные годы, утомившие и истрепавшие душу и тело. Теперь — опять налетевший шквал (цвета и запаха еще определить не могу).

Б. В. Савинков, описывая когда-то в «Коне Блуде» убийство Сергея Александровича, вспоминал клюквенный сок.

Компания театра Коммиссаржевской, Зи-

наида Николаевна (близость с Керенским), со-
логубье, териокская компания, военное ми-
нистерство нового режима, «Балаганчик» —
произведение, вышедшее из недр департа-
мента полиции моей собственной души, Рас-
путин (рядом — скука), Вяч. Иванов, Абле-
ухов, Ремизов и эсеровщина[74] — вот весь
этот *вихрь атомов* космической революции.
Когда, куда и какими мы выйдем из него, мы
ли с Любой выйдем?

Письмо от мамы (от 12 августа).

Телефон от Ал. Н. Чеботаревской.

Парк и купанье. В Шувалове я дважды ви-
дел Дельмас; она шла своей красивой летя-
щей походкой, в белом, все время смотря кру-
гом, очевидно искала меня.

16 августа

Энергичная расправа с нахрапом на стено-
граммы в унылом дворце (председатель еще
не вернулся из Москвы, и вокруг столов бро-
дят сонные мухи, неряхи и нагло-глупые на-
секомые — секретари).

Купанье. У Любы вечером А. Корвин.

17 августа

Четырнадцатая годовщина. К милой звонила утром Муся, привезшая дичь из Боблова. С утра у меня Женя, по случаю стенограммы Лодыженского. Работа до обеда. Вечером милая пошла к своим за провизией, принесла яблок душистых, утку. Вечером в Удельном лесу было душно под деревьями, а ночью пошел крупный, шумный, долгий дождь.

Письмо от Франца.

18 августа

Телеграмма Францу. Доклад председателю. Споры с секретарями. Разговор с Д. Д. Гриммом. Разговор с Тарле. Разговор с Миклашевским. Обедала А. Корвин. Программа моей главы.

19 августа

Буся у дантиста. Работа. Я передал Тарле программу своей главы и список намеченных допросов. Чтение докладов Витте, Столыпина и Булыгина с царскими резолюциями (о Шмидте, подавлении революции и др.).

С Идельсоном — у следователя В. М. Рудне-

ва (о Вырубовой, Белецком и положении сейчас). Ужасная усталость к вечеру.

20 августа

Мама приехала с тетей, Аннушкой и Тиной. Доехали недурно (сидя в первом классе), коридоры набиты любезными солдатами.

Утром у меня Женя с Лодыженским (много потрудился, но, кажется, и мне придется).

Выборы в городскую думу (центральную). Мой «абсентеизм». Люба подала список № 1 (трудовой партии).

Купанье. Парк. Усталость, голова. Завтрак с Любой у мамы. Из Шахматова — еда, цветы.

21 августа

Люба была ночью в «Бродячей собаке», называемой «Привал комедиантов». За кулисы прошел Савинков, привезенный из Музыкальной драмы, где чины военного министерства ухаживают за Бриан. Сегодня контрразведка должна представить ему доклад, где он вчера был. Производит энергичное впечатление.

Женю Иванова я готов иногда поколотить.

Можно ли быть таким робким и распущенным! Мне придется работать над его «редакцией» больше, чем сам бы я работал.

Какие вообще люди бессознательные и недобросовестные: одни — от лени, злобности, каверзости и «наплевать», другие — от слюнявости, робости, вялости.

В «Бродячей собаке» выступали покойники: Кузмин и Олечка Глебова, дилетант Евреинов, плохой танцор Ростовцев.

Сегодня Бу у дантиста.

Во дворце — упорный слух о сдаче Риги.

Военное министерство по прямому проводу из Ставки узнало, что Рига еще не взята, но горит с нескольких концов.

Начало допроса Шингарева (см. записную книжку).

Стенографический напор.

Купанье.

Я зашел к маме, которая нервна.

На улицах возбуждение (на углах кучки, в трамвае дамы разводят панику, всюду говорится, что немцы придут сюда, слышны голоса: «Все равно голодная смерть»). К вечеру как будто возбуждение улеглось на улице (но во-

ображаю, как работает телефон!), потому что пошел тихий дождь.

Люба хорошо, в общем, редактировала Виссарионова II (я прочел и кое-что исправил). Она над ним слезы проливала.

Умер Штюрмер.

Я подписал сверенного Любой Крыжановского.

22 августа

Газета: прорыв Рижского фронта, небывалое падение рубля и голод в Москве.

Тетя переселяется в свою комнату. Я работаю весь день дома. У меня Бабенчиков, превосходно сделавший Веревкина, в противоположность стряпне Евг. Иванова, над которым я злобно мучусь, тратя втрое больше времени на его мазню, чем на чистую стенограмму.

23 августа

Утром Женя, которому я долго говорил неприятности и вернул стенограммы для переделки.

По дворцовым слухам, Венден уже взят, т. е. немцы прошли 80 верст.

Разговоры с Муравьевым (о стенограммах, Миклашевском, редакторах и *сдельной* плате), Идельсоном, Спичаковым-Заболотным (о Протопопове), С. В. Ивановым (он уходит из комиссии, как председатель беженской комиссии; беженцы из Риги уже появились; вопрос, дадут ли вагоны для их эвакуации).

Мама получала аттестаты на деньги в крепости.

Вечером — телефон от Княжнина.

Очень тяжело. Серый день, дождь к ночи.

24 августа

Черные газеты.

Много работы с утра — полдня.

Днем — у мамы (дал ей Гучкова).

Обедал Княжнин, желающий устроиться в комиссию. Письмо от Л. Я. Гуревич. Она готовится к смерти.

Вечером — Люба у своих. Телефон от Бабенчикова.

Резкий ветер, холодно, испанский закат, но черная, пустынная, железная ночь.

25 августа

Допрос Поливанова и Коковцова. Разговор с председателем; с приглашением Княжнина едва ли что выйдет. Путаник Миклашевский. Занятия стенограммами — часы. Люба у заболевшей Анны Ивановны. Вечером я у мамы.

26 августа

После занятий, во второй половине дня, — в комиссию. Хождение по следовательским камерам, комната переписчиц, стенограммы, Председатель велел представить записку о необходимости третьего редактора.

Обед с председателем, с ним к нему, провожаю его и Малянтовича на Николаевский вокзал. Разговоры с Муравьевым по дороге (он заезжал проведать Макарова в лечебницу Герзони) и на платформе — о государственности, о положении сейчас, о Художественном театре. Муравьев считает себя социалистом и государственнымником, анархические просторы (полная свобода личности) в будущем. Государственная форма, могущая дать полную свободу личности, есть, по его мнению, демократическая республика. Он хорошо знает В. И. Танеева, волтерьянца. Уезжает к себе в

именье — на Чуприяновку.

Возможно, что Чрезвычайная следственная комиссия будет скоро эвакуирована в Москву. Муравьев измеряет необходимость не опасностью от немцев, а упадком настроения в комиссии, которое поднимется в Москве, долженствующей, по его мнению, играть виднейшую роль в дальнейшем. Вероятно, он прав, хотя его лично, конечно, тянет к Москве. Вопрос в помещении служащих и в потребном числе вагонов.

Noli tangere circules meos.[75] Вокзал кишит уезжающими. Я возвращался на автомобиле (бывшем великой княгини Марии Павловны), управляемом солдатом. Черная Казанская улица, прожекторы автомобиля и два луча прожекторов, ищущие в небе цепелинов. Слабые лучи, бледные и короткие, сравнительно с лучами германского прожектора, охватывающего четверть неба, когда он поднимется ночью из-за снежного поля.

Люба была весь день у Анны Ивановны, которая больна.

27 августа

Ожидавшееся на сегодня выступление большевиков до 12 часов дня не подтверждается.

Люба с утра ушла доставать билет для Анны Ивановны.

Утром у меня Женя, принес Лодыженского и Челнокова, я дал ему Волконского.

Мама *сама* предположила, в случае эвакуации (моей с Любой), переехать в Шахматове, с которым из Москвы легче поддерживать связь. Тетя?

Днем я у мамы (с тетей).

25 августа

Меня интересуется вопрос: вчера в 1 час ночи я ложился, слушая те же звуки, которые слышны были, когда я в первый раз сошел с поезда (этапного) в Ловче I, в жаркий летний день: далекая канонада. Сегодня с утра (в казначейство за маминными деньгами) — звуки, похожие на пушки. Между тем *гроза* (небесная, настоящая) действительно сегодня днем была (несмотря на холодные дни — гром и ливень). Где же кончается гром, и где начинаются пушки?

Экстренные выпуски газет о Корниловском заговоре, аресте В. Львова и многом другом, вопрос о директории (пять человек, в их числе — М. И. Терещенко и Савинков), о движении на Петербург кавалерии.

Люба с утра берет билеты для Анны Ивановны. Возвратясь от нее, передает: «Керенский развелся с женой, а Тиме — с Никсой Качаловым, и Керенский венчался с Тиме в Романовском соборе в Царском Селе».

Я нарочно записывала эту гнусность в такой день; в ней видно ясно, что такое «контрреволюция». Ход мыслей таков: я — чухонка, но с казачьей кровью, Корнилов — казак, таме Апраксина, удобства, хвосты, булки, именье сохранится.

Из этой схемы ясно, что Корнилов есть символ; на знамени его написано: «продовольствие, частная собственность, конституция: не без надежды на монархию, ежовые рукавицы».

Слух, что Корнилов идет на Петербург.

Свежая, ветряная, то с ярким солнцем, то с грозой и ливнем, погода обличает новый взмах крыльев революции.

Вечером у мамы. Ночь — небо в белых хлопьях, крупные звезды, почти нет огней, вой ветра, начинается наводнение.

Вечерние газеты жутковаты. На углу Английского проспекта — маленькая кучка. Солдат веско и спокойно заступает за Корнилова, дивизия которого находится уже между Петербургом и Лугой, а рабочий кричит ему: «Товарищ № 9!» (9-й номер — выборного списка кадетской партии).

Ночью ветер крепнет, вода поднимается; тучи и звезды. Заводы работают (пар вздыхает). Три отчетливых выстрела, и опять — мысль: связаны ли они только с подъемом воды в Неве?

Швейцар Степан *радуется* происходящему; мудро радуется тому, что Рига есть дело, может быть, этой кучки контрреволюционеров, а не солдат, которые много виноваты, но на которых всё валят.

29 августа

Безделье и гулянье по Невскому — настроение улиц, кронштадтцы.

Если бы исторические события не были

так крупны, было бы очень заметно событие сегодняшнего дня, которое заставляет меня решительно видеть будущее во Временном правительстве и мрачное прошлое в генерале Корнилове и прочих. Событие это — закрытие газеты «Новое время». Если бы не всё, надо бы устроить праздник по этому поводу. Я бы выслал еще всех Сувориных, разобрал бы типографию, а здание в Эртелевом переулке опечатал и приставил к нему комиссара: это — второй департамент полиции, и я боюсь, что им удастся стибрить бумаги, имеющие большое значение.

Во всяком случае, уничтожено место, где несколько десятков лет развращалась русская молодежь и русская государственная мысль.

Кузьмин-Караваев назначен начальником штаба того отряда, который должен принудить к сдаче корниловские войска в Луге.

Л. А. Дельмас прислала Любе письмо и мuku, по случаю моих завтрашних именин.

Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно *унижение*, и это заметно, как только прерывается работа.

30 августа

«Имянины». Еда. Л. А. Дельмас прислала мне цветы и письмо; завтракали мама, тетя, Бабенчиков, Женя; Бабенчиков говорил о их поколении под знаком декабризма (эпизод Керенский — Корнилов), связанном со мной (много молодых офицеров), — ОБДУМАТЬ. Же-не я больше не дал работы (бедному); днем и за обедом сидел Чулков. Любочка нарядилась, угощала, болтала; купила мне мохнатых розовых астр (детских).

Я измучен, как давно не был. Мне кажется, что я ничего не успею, комиссия висит на шее, успеть все почти невозможно.

2 сентября

Работа все дни с утра до вечера. Княжнин наконец получил место редактора у нас. Люба второй день подряд видится с Кузьминым-Караваевым и начинает восстанавливаться против меня. (Нет, это ошибка забитого воображения.)

3 сентября

Завтракали мама и Женя Иванов.

Бесконечно ясный, холодный и грустный день. Осень. Я подошел к озеру; купальни заколочены, пароход перестал ходить, поездов меньше, листва редет.

Вчера в «Речи» сказано, что Художественный театр открывает сезон в половине октября пьесой Блока «Роза и Крест». Я бы желал присутствовать и посмотреть автора.

Россия объявлена демократической республикой.

Немцы могут высадиться в Финляндии.

Работа, работа. Идут стенограммы на лад.

4 сентября

Сегодня ночью я увидел в окно Дельмас и позвал ее к себе. Люба тоже уходила куда-то.

Пускай Княжнин поступает в комиссию, это, может быть, обтешет его немного, причешет ему вихры. Вихраст русский человек.

Если что-нибудь вообще будет, то и я удалюсь в жизнь, не частную, а «художническую», умудренный опытом и пообтесанный.

Утром — Бабенчиков, сраженный моей «жестокостью» (не стенограммы, а декабризм и XX век).

Большой день во дворце: допрос Родзянко. Княжнин устроен и прошел все формальности.

По вечерам иногда (как сегодня) на меня находят эти грубые, сильные, тяжелые и здоровые воспоминания о дружине — об этих русских людях, о лошадях, попойках, песнях, рабочих, пышной осени, жестокой зиме, бала-лайках, гитарах, сестрах, граммофонах, обжорстве, гатях, вышке, полянах за фольварком Лопатино, белом пароходе, который хрустальным утром ползет среди роци, дубах, соснах, ольхах, Пинске вдали, наших позициях (нами вырытых), ветре, колбасе, висящей на ясном закате, буре, поднимающейся в душе страсти (вдруг), томлении тоски и скуки, деревнях, соломенных шестах, столовой Земсоюза, Бобрике, князе, Погосте, далях, скачках через канавы, колокольнях, канонаде, грязном бараке, избе Лемешевских, саперах, больших и малых траверсах, девках, спирте, бабах с капустой, узкоколейке, мостах — все, все. Хорошо!

7 сентября

Вчера — стенографические вопросы, комплименты мне от С. Ф. Ольденбурга. Сдача дел Княжнину. Днем у мамы. Обедал Княжнин.

Утром — телефон от Ф. Д. Батюшкова (извиняется, что не известил о моем избрании). Состав театрально-литературной комиссии: Е. Леткова, П. О. Морозов и я, кандидат — Пиксанов. Необязательное присутствие на заседаниях, право присутствия на заседаниях репертуарного комитета. Очередные доклады о пьесах). О времени первого заседания известит меня Морозов.

Телефон от Морозова — первое заседание предполагено в субботу 9-го в 8 часов вечера, в конторе императорских театров.

Отчетное заседание днем во дворце. День довольно пестрый — сквозь работу дома — телефонный.

9 сентября

Дни рабочие. Сегодня вечером мы заседаем в первый раз — литературная комиссия. Батюшков разъяснил наше положение, потом мы остались втроем (Морозов, я и Пиксанов). Морозов рассказал содержание восьми пьес.

Поговорили и разошлись, получив по четыре пьесы и по груде билетов в Александрийский и Михайловский театры на весь сезон.

12 сентября

Давно нет желания записывать. Все раздражается. В людях какая-то хилость, а большею частью — недобросовестность. Я скриплю под заботой и работой. Просветов нет. Наступает голод и холод. Война не кончается, но ходят многие слухи.

У мамы вчера был припадок.

С Любой на днях была ссора. Я очень ясно определил для себя худшую сторону положения. Настолько ясно, что коротко и ярко мучился, а потом опять забыл главное, погрузившись в эту чужую работу.

17 сентября

Бусин день. Мама днем (и тетя). Проклятие имянин.

Утром — Бабенчиков. Небольшая работа.

14-го — стенограммы с Ольденбургом и Миклашевским и работа.

15-го — большая работа (рецензия для те-

атральной комиссии и Хабалов). Утром — Бабенчиков.

16-го — сплошное заседание. Во дворце — отчет и стенограммы (с 11 до 5-ти). Вечером я прочел свой первый доклад в литературной комиссии, из которой, слава богу, ушел Пиксанов, место его занял горбатый Горнфельд (о пьесе «Человек» Фредерика ван Эйдена, перевод с голландского В. Азова).

Обедал Пяст, был весь вечер, говорил со мной более семи часов подряд.

18 сентября

Большая работа (Хабалов и др.). Телефон от А. В. Гиппиуса. Вечером — заседание репертуарного комитета в Михайловском театре.

13 октября

Очень много было.

Сегодня я рецензирую пятую пьесу (Анны Мар — «Когда тонут корабли»). (Настоящее).

Было:

Заседание репертуарного комитета (Ге читал «Свыше сил», II).

Два заседания комиссии по реорганизации

государственных театров (Набоков и Луначарский; г-н С. Грузенберг).

Много заседаний нашей литературной комиссии по субботам (милый Горнфельд).

Бесчисленные работы в Чрезвычайной следственной комиссии. Пишу отчет. Вчера там виделся с Румановым.

Боря (А. Белый) обедал у нас 9-го октября.

15 октября

К Катонину (Идельсон, Шлыков) я не пошел — простуда.

Два телефона с З. Н. Гиппиус (и Мережковским). Я отказался от савинковской газеты («Час»). Телефон с Венгеровым (хочет меня выбрать в Литературный фонд. Как я стар).

Стол загроможден мой делом Беляева (бывшего военного министра).

18 октября

Освободите меня прежде от воинской повинности, и тогда уже предлагайте к театру, литературе и ко всему вообще настоящему.

Вчера с А. В. Гиппиусом у мамы.

Речь Терещенки. Телефон от Тихонова. Те-

лефон от Ремизова. Телефон от Мурашова.
Пьесы из конторы государственных театров.

Телефон от Разумника Иванова и А. Белого.

19 октября

Утром мама хорошо говорила о необходимости кончать войну: пошлость слова «пор»». У нас — богатство, на Западе — уменье. Терещенко — во сне. Она сказала и Ремизову, который отказался от савинковской газеты (сказал, что посмотрит).

Днем у меня А. Н. Тихонов.

Вчера — в Совете рабочих и солдатских депутатов произошел крупный раскол среди большевиков. Зиновьев, Троцкий и пр. считали, что выступление 20-го нужно, каковы бы ни были его результаты, и смотрели на эти результаты пессимистически. *Один только Ленин* верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране.

Таким образом, те и другие — сторонники выступления, но одни — с отчаянья, а Ленин — с предвиденьем доброго. Некоторые полагают, что выступления не надо, так как

оно подорвет голоса в Учредительном собрании и в партии большевиков, которая сейчас сильна.

У немцев нет никаких сил распространяться на широком фронте — нет лошадей.

Рабочие говорят: «Это для буржуазных газет мы работаем за такую цену, а для социалистической надо 25 % надбавки».

Выступление может, однако, состояться совершенно независимо от большевиков — независимо от всех стихийно.

Крестьяне не дают городам хлеба, считая, что в городах все сыты.

Дневник 1918 года

4 января

О чем вчера говорил Есенин (у меня).

Кольцов — старший брат (его уж очень вымуштровали, Белинский не давал свободы), Клюев — средний — «и так и сяк» (изограф, слова собирает), а я младший (слова дороги — только «проткнутые яйца»).

Я выплевываю Причастие (не из кощунства, а не хочу страдания, смирения, сораспятия).

(Интеллигент) — как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят (жест наверх; вообще — напев А. Белого — при чтении стихов и в жестах, и в разговоре).

Вы — западник.

Щит между людьми. Революция должна снять эти щиты. Я не чувствую щита между нами.

Из богатой старообрядческой крестьянской семьи рязанец. Клюев в молодости жил в Рязанской губернии несколько лет.

Старообрядчество связано с текучими сектами (и с хлыстовством). Отсюда — о творчестве (опять ответ на мои мысли — о потоке). Ненависть к православию. Старообрядчество московских купцов — не настоящее, застывшее.

Никогда не нуждался.

Есть всякие (хулиганы), но нельзя в них винить народ.

Люба: «Народ талантливый, но жулик».

Разрушают (церкви, Кремль, которого Есенину не жалко) только из озорства. Я спросил, нет ли таких, которые разрушают во имя высших ценностей. Он говорит, что нет (т. е. моя мысль тут впереди?).

Как разрушают статуи (голая женщина) и как легко от этого отговорить почти всякого (как детей от озорства).

Клюев — черносотенный (как Ремизов). Это — не творчество, а подражание (природе, а нужно, чтобы творчество было природой; но слово — не предмет и не дерево; это — другая природа; тут мы общими силами выяснили).

[Ремизов (по словам Разумника) не может

слышать о Ключеве — за его революционность.]

Есенин теперь женат. Привыкает к собственности. Служить не хочет (мешает свободе).

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотной: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее.

5 января

Любимое занятие интеллигенции — выражать протесты: займут театр, закроют газету, разрушат церковь — протест. Верный признак малокровия: значит, не особенно любимы свою газету и свою церковь.

Протестовать против насилия — метафора (бледная немочь).

Ненавидеть интернационализм — не знать и не чуют силы национальной.

Ко всему надо как-то иначе, лучше, чище

отнестись. О, сволочь, родимая сволочь!

Почему «учредилка»? Потому что — как выбираю я, как все? Втемную выбираем, не понимаем. И почему другой может за меня быть? Я один за себя. Ложь выборная (не говоря о подкупах на выборах, которыми *прогрессивные* все их американцы и французы).

Надо, чтобы маленькое было село, свой сход, своя церковь (одна, малая, белая), свое кладбище — маленькое. На это — Ольденбург: *великая культура может быть только в великом государстве*. Так *БЫЛО* всегда. О, это *БЫЛО*, *БЫЛО*, проклятая историческая инерция. А должно ли так быть всегда?

Культура ихняя должна переслоиться.

Инстинктивная ненависть к парламентам, учредительным собраниям и пр. *Потому* что рано или поздно некий Милюков произнесет: «Законопроект в третьем чтении отвергнут большинством».

Это ватерклозет, грязный снег, старуха в автомобиле, Мережковский в Таврическом саду, собака подняла ногу на тумбу, m-lle Врангель тренькает на рояле (блядь буржуазная), и все кончено.

«Разочаровались в своем народе» — С. Ф. Платонов (так мне говорила его дочь!) и г-жа Султанова.

«Немецкая демонстрация» (г-н Батюшков Ф. Д.).

Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы проклятые?

Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа! А ведь это — интеллигенция!

Или и *духовные ценности* — буржуазны? Ваши — да.

Но «государство» (ваши учредилки) — *НЕ ВСЁ*. Есть еще воздух.

*И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня:
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!*

Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, *ЭТИЧЕСКОЕ*- на вашем языке) — где оно у вас?

Как буржуи, дрожите над своим карманом. В голосе этой барышни за стеной — какая тупость, какая скука: домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают. Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет.

Ожеребится эта — другая пададь поселится за переборкой, и так же будет ныть, в ожидании уланского жеребца.

К чорту бы все, к чорту! Забыть, *вспомнить другое.*

7 января

Для художника идея на родного представителя, как всякое «отвлечение», может быть интересна только но внезапному капризу, а по существу — ненавистна.

* * *

Начало (с Любой)

Жара (синее и желтое). Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит. Разговор про то, как всякую рыбу поймать. (Как окуня, как налима).

Входит Иисус (не мужчина, не женщина). Грешный Иисус.

Красавица Магдалина.

Фома (неверный) — «контролирует». Пришлось уверовать — заставили — и надули (как большевики). Вложил персты — и стал распространителем: а распространять ЗАСТАВИЛИ — инквизицию, папство, икающих по-

пов, учредилки.

Андрей (Первозванный) — слоняется (не сидится на месте): был в России (искал необыкновенного).

Апостолы воровали для Иисуса (вишни, пшеницу). Их стыдили. Grande style.[76]

Мать (мати) говорит сыну: неприлично (брак в Кане).

Читать Ренана.

Мария и Марфа.

Если бы Люба почитала «Vie de Jesus» и по карте отметила это маленькое место, где он ходил.

А воскресает как?

Загаженность, безотрадность форм, труд.
χαλεπα та капа[77]

Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная восприимчивость). «Апостол» брякнет, а Иисус разовьет.

Нагорная проповедь — митинг.

Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули. Правда того, что они улизнули (больше ничего и не надо, остальное — судебная комедия).

Большая правда: кто-то остался.

У Иуды — лоб, нос и перья бороды, как у Троцкого. Жулик (то есть великая нежность в душе, великая требовательность).

«Симон» ссорится с мещанами, обывателями и односельчанами. Уходит к Иисусу. Около Иисуса оказывается уже несколько других (тоже с кем-то поругались и не поладили; бубнят что-то, разговоры недовольных). Между ними Иисус — задумчивый и рассеянный, пропускает их разговоры сквозь уши: что надо, то в художнике застрянет.

Тут же — проститутки.

11 января

«Результат» брестских переговоров (т. е. никакого результата, по словам «Новой жизни», которая на большевиков негодует). Никакого — хорошо-с.

Но позор 3,5 лет («война», «патриотизм») надо смыть.

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй. Артачься, Англия и Франция. Мы свою историческую миссию выполним.

Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотиз-

ма, если нашу революцию погубите, значит вы уже *не арийцы больше*. И мы широко откроем ворота на Восток. Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим *косящим*, лукавым, быстрым взглядом; *мы скинемся азиатами*, и на вас прольется Восток.

Ваши шкуры пойдут на китайские тамбурины. Опозоривший себя, так изолгавшийся, — уже не ариец.

Мы — варвары? Хорошо же. Мы и покажем вам, что такое варвары. И наш жестокий ответ, страшный ответ — будет единственно достойным человека.

А эволюции, прогресса, учредилки — старая штука.

Яд ваш мы поняли лучше вас. (Ренан.)

Жизнь — безграмотна. Жизнь — правда (Правда).

Оболганная... обо... но она — Правда — и колет глаза, как газета «Правда» на всех углах.

Жизнь не замажешь. То, что замазывает Европа, замазывает тонко, нежно (Ренан; дух науки; дух образованности; *ftsprit gaulois*[78]);

английская комедия), мы (русские профессора, беллетристы, общественные деятели) умеем только размазать серо и грязно, расквасить. Руками своей интеллигенции (пока она столь не музыкальна, она — пушечное мясо, благодарное орудие варварства). Мы выполняем свою историческую миссию (интеллигенция — при этом — чернорабочие, выполняющие черную работу): вскрыть Правду. Последние арийцы — мы.

Правда доступна только для дураков. Калидаса, чтобы стать собой, должен был научиться (легенда), из дурака стать умным. Это — испорченная, я думаю, легенда (какая-нибудь поздняя, книжная).

Все это — под влиянием сегодняшней самодовольной «Новой жизни» (самая европейская газета сейчас; «Речь» давно «отстала». С «Петербуржским листком» ведь не поговоришь).

* * *

В чем тайна Ренана? Почему не плоски его «плоскости»? — В искусстве: в языке и музыке. Европа (ее тема) — *искусство и смерть*. Россия — жизнь.

14 января

Происходит совершенно необыкновенная вещь (как всё): «интеллигенты», люди, проповедовавшие революцию, «пророки революции», оказались ее предателями. Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи.

Я долго (слишком долго) относился к литераторам как-то особенно, (полагая), что они отмеченные. Вот моя отвлеченность. Что же, автор «Юлиана», «Толстого и Достоевского» и пр. теперь ничем не отличается от «Петербургской газеты».

Это простой усталостью не объяснить. На деле вся их революция была кукишем в кармане царскому правительству.

После этого приходится переоценить не только их «Старые годы» (которые, впрочем, никогда уважения не внушали: буржуйчики на готовенькой красоте), но и «Мир искусства», и пр., и пр.

Так это называлось, что они боялись «мракобесия»? Оказывается, они мечтают теперь об учреждении собственного мракобесия на

незыблемых началах своей трусости, своих патриотизмов.

Несчастную Россию еще могут продать. (Много того же в народе).

18 января

Вчера — Зимний дворец, детские комнаты.

Председатель — тов. Полянский, который разгонял Ученый комитет при Министерстве народного просвещения. Разъясняет конституцию.

Присутствуют: секретарь, два молчаливых молодых человека, художник Штенберг, Бенуа, Альтман, Лариса Рейснер, марбургский философ.

Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение — что она относится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться. Старых писателей, которые пользовались ятями как одним из средств для выражения своего творчества, надо издавать со старой орфографией. Новые, которые будут писать по-новому, перенесут свою творческую энергию (elan)[79] в другие приемы (тороплюсь записывать, потому

нескладно).

Меня поддерживают Л. Рейснер и Альтман. Остальные — за новую орфографию, хотя понимают меня.

С Бенуа мы все наоборот. Он *лично* ненавидит «Известия» и любит мольеровскую орфографию изданий XVII века. Я лично не привязан к старому и, может быть, могу переучиться даже сам, но опасаясь за объективную потерю кое-чего для художника, а *следовательно*, и для народа.

Однако, может быть, сопротивлялись также, как я вчера, и новой французской орфографии и петровскому гражданскому шрифту.

Новая орфография введена старым правительством («временным») и им же проведена в школы и учебники.

Большевики делают лишь новые практические шаги в этом направлении. Для издания классиков это уже было предрешено, но, несмотря на то, что они считают невозможным поступаться декретом, я прошу вновь пересмотреть вопрос, пригласив на следующее заседание Морозова и Иванова-Разумника. Они, со своей стороны, пригласят педагогов.

За новую орфографию: дети уже учатся по ней. Экономия миллионов рублей (на ь) и труда наборщиков.

Положение сейчас таково: книжный голод. Со всех сторон (Советы) — требование на книги. Книг нет, классиков можно доставать по чудовищным и произвольным ценам. Никто больше не имеет права издавать классиков без соблюдения известных условий (декрет). (То есть нельзя больше наживаться чрезмерно, можно оплачивать только труд.) Все издания, изданные без соблюдения этих условий (представления подробного расчета в министерство), будут конфисковываться.

В распоряжении государства находятся старые матрицы (Маркса, «Копейки» и т. д.) —, и оно имеет возможность сравнительно недорого выпустить классиков по старым матрицам. 1) Они очень плохи часто, 2) противоречие с декретом. Но — «если человек умирает с голоду, а мимо бежит кошка, я эту кошку зарежу и дам ее съесть». Вопрос еще не решен. На печатанье одного Толстого со старых матриц нужно 212 дней. С другой стороны, этим путем комиссия получит отсрочку.

Дело комиссии — выработать план издания классиков по-новому (шрифты, формат, новая орфография, иллюстрации, бумага, медицинская точка зрения и мн. др.).

В Полянском — марксистско-эмигрантско-ин-теллигентско-луначарско-хитровато-добро душное. Очень любезный. Сам все это знает про себя (15 лет нелегальности).

Опять гадость Зимнего дворца (хотя эти комнаты прибранные, с мебельями). Трагичность положения (нас мало). Какая-то грусть — может быть, от неумелости, от интеллигентскости, от разных языков. Что-то и хорошее (доброе).

Это — труд великий и ответственный. Господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не в «с кондачка».

Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в уменьях и знаньях надо ему помочь.

Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда?

Представителей демократии вчера не бы-

ло, потому что все съезды, какие могут быть, заседали (Советы рабочих и солдатских депутатов, крестьянских депутатов; железнодорожный, продовольственный и пр.). Они будут на следующих заседаниях.

26 января

Необходимо, однако, записать вчерашний день.

Иванов-Разумник, бывший у меня, не мог идти вместе на заседание в Зимний дворец и оставил мне письмо для оглашения.

Впечатление от моей статьи («Интеллигенция и революция»): Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот. Сологуб (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, которого «мы любили», печатает свой фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру (!). В восторге — В. С. Миролюбов.

В Зимнем дворце (я опоздал). Заседание очень стройное и дельное (в противоположность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, охотно на все отвечает, часто говорит хорошо.

П. О. Морозов (приглашенный лично Л. М. Рейснер) выражает протест против нового правописания только практически. Его доводы парирует комиссар. Я повторяю свое возражение (единственное), прибавляя, что я на нем не стою (считая, что мне надо это сказать в виде предостережения — *saveant...*[80]). Слабо возражает Л. Рейснер (за старое — для стихов). Новое правописание принимается (Луначарский определяет мой довод как невесомый).

Следующий вопрос — о вступительных статьях. Морозов говорит нечто, вполне согласное с Луначарским. Принимается ненужность эстетических оценок. Я вношу поправку, что не нужно и социологических. Луначарский отвечает на это, что они будут агитировать до конца, но что в этих изданиях агитацию они считают неуместной, ибо дело их настолько правое, что все прошедшее, преподнесенное в чистом виде, только доказывает правильность их пути.

Таким образом, вырабатывается тип издания (не академического, а широкого — народного и школьного) на хорошей бумаге, четко-

го, с лучшими иллюстрациями (обсуждение их — в следующую среду) и с сжатым предисловием и примечаниями, развивающими его частности (Морозов), имеющими дело исключительно с историческими и биографическими данными (без эстетики и политики).

Луначарский, прощаясь, говорит: «Позвольте пожать вашу руку, товарищ Блок».

Будущее нашей театральной комиссии еще не решено. Луначарский сказал мне со смехом, что Мейерхольд поднимает вопрос о том, что актеры и сами читать умеют.

Ну, как им угодно.

Луначарский хитроват и легкомыслен. Но очень много верного и *неинтеллигентского* (что особенно важно).

П. О. Морозов ругал мне за орфографию Шахматова и прочих. Против выбрасыванья Ъ-ов он ничего не имеет. Вообще же реформа кажется ему очень большой (очень малые изменения во французском и немецком правописании. При Петре — гражданский шрифт всего 10 книг).

Луначарский делает оговорки — *все и всё*: надо две точки над *e*.

Письмо Разумника, которое я огласил, в сущности, дало перевес окончательный.

Бенуа — опять все наоборот (чем я): он говорил за допущение иногда эстетической оценки. Тут уж я поддержал комиссара, который голосовал за твердое проведение отсутствия эстетической оценки.

31 января

Вчерашнее.

Артистическая — всегдашнее: бутерброды, передними — аккомпаниатор (молчит, — он зарабатывает). В углу — баритон (как все) — фрак, красноватое лицо.

Перед моим выходом — Люком. Люком — это маленький красный микрокосм. Розовая спинка, розовая грудка и ручки, красное все (юбочка, трико). Маленькая — вьется. От этого у смотрящих начинается правильное кровообращение, меньше есть и курить. Такое появляется во второй части «Фауста».

* * *

Юноша Стэнч (проводивший меня до дому). Мы — дрянь, произведения буржуазии. Если социализм осуществится (я образован,

знаю четыре языка и знаю, что он осуществится), нам останется только умереть. Мы не имеем понятия о деньгах (обеспечены). Полная непригодность к жизни. Октябрьский переворот все-таки лучше февральского (немного пахнет самодержавием). Все — опиисты, наркоманы. Модно быть влюбленным в Кузмина, Юрьева (женщины — нимфоманки). Эфир. Каждый вечер — три телефонных звонка от барышень («Вы так испорчены, что заинтересовали меня»).

Нас — меньшинство, но мы — распоряжаемся (в другом лагере современной молодежи). Мы высмеиваем тех, которые интересуются социализмом, работой, революцией и т. д.

Мы живем только стихами. За пять лет не пропустили ни одного издания. Всё наизусть (Бальмонт, я, Игорь Северянин, Маяковский... тысячами стихов). Сам пишет декадентские стихи (рифмы, ассонансы, аллитерации, танго). Сначала было 3 Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными, — Маяковский; и он пресный, — Эренбург (он ярче всех издается над собой; и потому скоро все мы бу-

дем любить только Эренбурга).

Все это — констатированье. «И во всем этом виноваты (если можно говорить о вине, потому что и в вас кто-то виноват) — вы отчасти. Нам нужна была каша, а вы нас кормили амброзией».

«Я каждые полгода собираюсь самоубить-ся».

* * *

Студенцов рассказал мне «Легенду» Толстого.

На сцену Художественного театра упала бомба.

Люком — красный микрокосмик.

14 (1) февраля

Вчера (31 января).

Евгения Федоровна <Книпович>. Черный агат. Шея. Духи. Есть и то, что в современной молодежи, но пострадала от того и — *борьба*. Тихо слушать. Стриндберг, Ибсен, Григорьев.

Женщина, может быть, тоже может пройти Фаустовский путь. — Честность к жизни.

Сидеть у печки и читать Достоевского.

«Мне хорошо». Всегда читает.

Вечером не пускают.

Трудно — как всегда в семье, где все друг друга очень любят.

Польская и немецкая кровь.

* * *

Заседание (Зимний дворец.). Луначарский более усталый. Конкурс иллюстраций к Некрасову. Кто может?

Сомнения в результатах конкурса.

И один и два столбца.

Новый шрифт.

Луначарский предложил мне Некрасова. Я ссылаюсь на Чуковского и Евгеньева. Утверждается Чуковский.

* * *

Сегодня с П. О. Морозовым: история изданий Некрасова: первое посмертное четырехтомное издание по свежим следам, с дельными примечаниями (Скабичевский и др.). Второе — печаталось у Глазунова, издатель — Федор Алексеевич Некрасов. Корректурa была поручена Морозову. Он исправил ошибки, когда же собрался взяться за исправление пропусков, ему сказали, что Федор Алексеевич — коммерсант, и не стоит.

Суворинские издания — перепечатки с этого, с возрастающим враньем (до помещения дважды одной и той же строфы).

В 1876 г. Морозов переписал «Пир на весь мир» (рукопись была на один день, он просидел ночь над перепиской).

У Морозова — четырехтомное издание с вклейками и вписанными местами новоопубликованного.

* * *

Существуют *два разных текста* нецензурных мест «Воскресенья» Толстого. Оба одновременно изданы Чертковым в Лондоне.

«Легенда» сценична (менее конспективна, чем некоторые сцены «Живого трупа»).

20 (7) февраля

Стало известно, что Совет народных комиссаров согласился подписать мир с Германией. Кадеты шевелятся и поднимают головы.

Люба рыдала, прощаясь с Роджерс в «Elevation» (патриотизм и *ma femme*[81]), — оттого, что оплакивала старый мир. Она говорит: «Я встречаю новый мир, я, может быть,

полюблю его». Но она еще не разорвала со старым миром и представила все, что накопили девятнадцать веков.

Да.

Патриотизм — грязь (Alsace-Lorraine = брюхо Франции, каменный уголь).

Религия — грязь (попы и пр.). Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы «не достойны» Иисуса, который идет с ними сейчас; а в том, что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой.

Романтизм — грязь. Все, что *осело* догматами, нежной пылью, *сказочностью* — стало грязью. Остался один *ELAN*[82].

Только — полет и порыв; лети и рвись, иначе — на всех путях гибель.

Может быть, весь мир (европейский) озлится, испугается и еще прочнее осядет в своей лжи. *Это не будет надолго*. Трудно бороться против «русской заразы», потому что — *Россия заразила уже здоровьем человечество*. Все догматы расшатаны, им не вековать. Движение заразительно.

Лишь тот, кто так любил, как я, имеет право ненавидеть. И мне — быть катакомбой.

Катакомба — звезда, несущаяся в пустом синем эфире, светящаяся.

21 (8) февраля

Немцы продолжают идти.

Барышня за стеной поет. Сволочь подпекает ей (мой родственник). Это — слабая тень, последний отголосок ликования буржуазии.

Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно.

* * *

15 000 с красными знаменами навстречу немцам под расстрел.

Ящики с бомбами и винтовками.

Есенин записался в боевую дружину.

Больше уже никакой «реальной политики». Остается лететь.

Настроение лучше многих минут в прошлом, несмотря на то, что вчера меня выпили (на концерте).

* * *

«Петербургская газета» — обывательская. Газета нибелунгов (бывшая «Воля народа») сегодня опять кряхтит об Учредительном собрании.

«Знамя труда» опять не несут (все загулявшие), между тем сегодня ночью левые с.-р. должны были уйти из Совета народных комиссаров, не согласившись на сепаратный мир, подписываемый большевиками.

Сегодняшнее сообщение Совета — туманно и многословно.

* * *

Люба звонит в «Бродячую собаку» («Привал комедьянтов») и предлагает исполнять там мои «Двенадцать».

* * *

Слух о больших проскрипционных списках у кадет.

* * *

Лундберг: «Скифы» соответствуют «Клеветникам России». Случаются повторения в истории.

26 (13) февраля, ночь

Я живу в квартире, а за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством (называть его по имени, занятия и пр. — лишнее). Он обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным

чиновником, под глазами — мешки, под брюшком тоже, от него пахнет чистым мужским бельем, его дочь играет на рояли, его голос — тэноришка — раздается за стеной, на лестнице, во дворе у отхожего места, где он распоряжается, и пр. Везде он.

Господи, боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я. Он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы не соприкоснуться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, сатана.

1 марта (16 февраля)

Главное — не терять крыльев (присутствия духа).

Страшно хочу мирного труда; но — окрыленного, не проклятого.

Более фаталист, «чем когда-нибудь»

(или — как всегда).

Красная армия? Рытье окопов? «Литература»?

Всё новые и новые планы.

Да, у меня есть сокровища, которыми я могу «поделиться» с народом.

Ночью и сегодня. Посошков (яростный реформатор из народа) — через Ап. Григорьева.

Чаадаев — пройти и через ЭТО искушение.

Польский мессианизм (мои предложения Прже дне льскому).

* * *

Революция — это: я — не один, а мы.

Реакция — одиночество, бездарность, мять глину.

4 марта (19 февраля)

Между вечером и ночью, после чая, прогнущись после тяжелого сна, — часа три спал.

Делается что-то. Быть готовым. Ничего, кроме музыки, не спасет.

Европа *безобразничала* явно почти четыре года (грешила против духа музыки... Развивать не стоит, потому что опять злоба на

«войну» отодвинет более важные соображения).

Ясно, что безобразия не может пройти даром. Ясно, что восстановить попорченные суверенные права музыки можно было только *изменой* умершему.

9/10 России (того, что мы так называли) действительно уже не существует. Это был больной, давно гнивший; теперь он издох; но он еще не похоронен; смердит. Толстопузые мещане злобно чтут дорогую память трупа (у меня непроизвольно появляются хорей, значит, может быть, погибну).

Китай и Япония (будто бы — по немецким и английским газетам) уже при дверях. Таким образом, поругание музыки еще отмстит-ся.

Мир с Германией подписан (вчера или сегодня). (Не знаю, что это значит и как это отразятся на «военных действиях», т. е. прекратятся они хоть временно или нет; и, кажется, здесь этого никто не знает. Да и не очень в этом дело.)

«Восставать», а «не воевать» (левые с.-р.) — трогательно. Но боюсь, что дело и не в этом

тоже, потому что философия этого — помирить мораль с музыкой. Но музыка еще не помирится с моралью. Требуется длинный ряд *антиморальный* (чтобы «большевики изменили»), требуется *действительно* похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы *музыка согласилась помириться с миром*.

Происходит, кажется, нечто; то есть: по-видимому, произойдет (по)трясение между тем моментом, который сейчас есть (нерешительность), и будущим влитием желтой крови в белую (для уничтожения всего перечисленного). У Европы — склероз, она не гибка и будет еще истеричничать (гордиться, тыкать в нос желтым свою арийскую кровь, бояться насилия и т. д., то есть оттягивать, то есть еще и еще посягать на неминуемо долженствующую восстановиться музыку).

Кстати — «Μελος» (статья Вл. В. Гиппиуса).

Моя квартира смотрит на запад, из нее много видно.

10 марта (25 февраля)

Ежедневность, житейское, изо дня в

день — подло.

Что такое искусство?

Это — вырывать, «грабить» у жизни, у житейского — чужое, ей не принадлежащее, ею «награбленное» (Ленин, конечно, не о том говорил).

Марксисты — самые умные критики, и большевики правы, опасаясь «Двенадцати». Но... «трагедия» художника остается трагедией. Кроме того:

Если бы в России существовало действительное духовенство, а не только сословие нравственно тупых людей духовного звания, оно давно бы «учло» то обстоятельство, что «Христос с красногвардейцами». Едва ли можно оспорить эту истину, простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нем. У нас, вместо того, они «отлучаются от церкви», и эта буря в стакане воды мутит и без того мутное (чудовищно мутное) сознание крупной и мелкой буржуазии и интеллигенции.

«Красная гвардия» — «вода» на мельницу христианской церкви (как и сектантство и прочее, усердно гонимое). [Как богатое еврейство было водой на мельницу самодержавия,

чего ни один «монарх» вовремя не расчухал.]

В этом — ужас (если бы это поняли). В этом — слабость и красной гвардии: дети в железном веке; сиротливая деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки.

Разве я «восхвалял»? (Каменева). Я только констатировал факт: если взглядеться в столбы метели на *этом пути*, то увидишь «Исуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак.

4 апреля (22 марта)

Сегодняшнее заседание репертуарной секции, на которое мне очень не хотелось идти, было довольно интересное.

Пашковский (Донат Христофорович) — злой актер. Секция должна разделиться на четыре подсекции литературную, артистическую, «хозяйственную» и государственную, которые приведут в известность все, что есть на русском языке в репертуаре: 1) чисто русском, 2) переводном; 3) выяснить, чего нет, и коллегия переводчиков этим займется. Пусть университеты и студенты приведут в известность весь репертуар (Петербург — 6 букв, Ка-

зань — 5 букв). Тут он так выругал профессоров, что присутствующие запротестовали, и Мейерхольд просил не заносить этого в протокол.

П. О. Морозов возразил, что 99 % — дрянь, которой не стоит заниматься. Что лучший в России театральный каталог — библиотеки при бывших императорских театрах — у нас под руками. Что названий тут будут *сотни тысяч*.

В. К. Соловьев (председатель) возразил, что статистический метод признан неудовлетворительным в современной науке. — О «Ревизоре» (форма западная, а содержание русское).

Соловьев и *Вивьен* говорили о мелодраме и о романтическом театре. Плохие переводы мелодрам, кроме некрасовского («Материнское благословение»).

Мейерхольд предлагает: 1) Рыться в карточном каталоге и в старых изданиях, с тем чтобы вывести на свет погребенное (прежде всего двумя цензурами); 2) Издавать журнал «Репертуар». Времена «Пантеона» Ф. Кони, овеянного Гоголем. Перепечатать мелким шрифтом

и «удобно» старые пьесы. Статьи о театре и пр.; 3) Влияние на драматургов, побуждение их писать — и моральное («заказы») и материальное (повышение гонораров). Ссылка на Ремизова; 4) Публичное чтение пьес, диспуты и пр.

Молчали — К. Ляндау и я. Говорил еще Степанов

Вл. Як. (секретарь). Были званы Зелинский, Иванов-Разумник, Ремизов, не пришедшие.

Противоречий, по существу, пока, по-моему, не было, психологические уже были (Пашковский).

Весь вопрос в том, что из этого воплотится и можно ли воплощать сейчас, когда в воздухе — ужасное: тупое, ни с чем не сравнимое равнодушие. «Публике», кажется, уже ничего не нужно, она развращена, как никогда. «Народ» кажет отовсюду азиатское рыло (страшные симптомы: 1) районный совет хочет «приучать» исподволь свою публику репертуаром «легкой комедии», так как «рабочей аристократии» наберется в районе «человек 80» (Люба); 2) улица: свиные рыла... 3) деревенские вести: они собираются, по-видимому,

по-прежнему бездельничать и побираться, пока хватит, «налогами» на помещиков.

Перечислить и вспомнить я бы мог и еще, но все это — от «малого разума», так как «большого» во мне сейчас нет. После январских восторгов — у меня подлая склеротическая вялость и тупость.

Эти дни, тяготясь будущим (сегодняшним) заседанием, я запис в Вольфе (хроника) и планах о «Пантеоне», в этом мелькании старины: в куче навоза увязнешь прежде, чем найдешь жемчужное зерно.

* * *

Ф. А. Кони.

«Детский драматический вестник» 1829 г.

«Драматический вестник» 1808 г. (еженедельный, задуманный Шаховским).

Ряд статей о псевдоклассической драме. За строгий классицизм, но против Коцебу.

«Записки современники» С. П. Жихарева (Дневник чиновника — почти наполовину о театре: часть I — Дневник студента (1859), часть II — Дневник чиновника («Отечественные записки», 1855, №№ 4, 5, 7, 8, 9, 10). Его же — «Воспоминания старого театрала» («Оте-

чественные записки», 1854, № 10).

Катенин (классик) «воскресил Корнеля величавый» переводом «Сида».

Новость начала века — мелодрама и (водевиль). «Убийца и сирота» (1819), «Христофор Колумб», «30 лет, или Жизнь игрока».

Ончуков, Тихонравов.

* * *

Еще симптом: 1 мая по новому стилю праздновать не решаются, потому что оно приходится на седьмой неделе поста. Празднование откладывается на пасхальную неделю.

* * *

Коцебу. Ненависть к людям и раскаяние; комедия в 5 д. («Menschenhass und Reue») — 1789; первый русский перевод — 1792. Неизвестный читает «Ночи» Юнга

Штиллинга. — Простак. — Эйлалия. Вейнберг. «Европейский театр», т. I. Обойтись бы, что ли, без V акта (гнусная серость канона, всеуничтожающая пошлость морали).

25 (12) мая

Вот что я пробовал в конце 1917 (вихрь за-

цветал):

*плыл плыл
И шел и шел
снах
Затерян в безднах
Души скудельной
Тоски смертельной*

Бросаясь в вихорь вихревой

*Всадник мне навстречу
Смерть (4 раза)*

Женщина на лошади — в пруд

И каждая вена чернеет весной

Из фонтана всем телом дрожа...

Еще проба:

*В своих мы прихотях невольны,
Невольны мы в своей крови.
Дитя, как горестно и больно
Всходит по лестнице любви.*

*(Сребристый) месяц, лед хрустящий,
Окно в вечерней вышине,*

*И верь душе, и верь звенящей,
И верь натянутой струне.*

*И начиная восхожденье,
Мы только слышим без конца
пенье
лица.*

Еще (см. 48-я книжка):

*На белой льдине — моржий клык
К стене приемного покоя
Носилки прислонил*

Русский бред

Зачинайся, русский бред...

*...Древний образ в темной раке,
Перед ним подлец во фраке,
В лентах, звездах и крестах...*

*Воз скрипит по колее
Поп идет по солее...*

Три ... в автомобиле

*Есть одно, что в ней скончалось
Безвозвратно,
Но нельзя его оплакать*

*И нельзя его почитать,
Потому что там и тут,
В кучу сбившиися тупо
Толстопузые мещане
Злобно чтут
Дорогую память трупа —
Там и тут
Там и тут...*

*Так звени стрелой в тумане,
Гневный стих и гневный вздох*

*Плач заказан, снов не свяжешь
Бредовым*

Старое:

*Ты не получишь ничего,
Но быть дала ты обещанье
Хозяйкой дома моего.*

1903. «Нам довелось еще подняться...»

10. VI. Sprudel.

18. VII. Жницы входят на двор (записная книжка № 6).

Шум смерти

*Цыганка, стиснув зубы и качаясь,
поет «для них».
Я вошел туда. Толпа гудела.*

На эстраде
Стиснув зубы и качаясь, пела
Старая цыганка о былом.
В голосе гортанном и гнусавом
Я услышал тот степной напев
И опять
Стиснув зубы и сложивши руки
И качаясь, также погляжу,
И, припомнив молодость, от ску-
ки
приворожу.

<31 (18) мая>

**<Непосланное письмо к З. Н. Гиппи-
ус>**

Я отвечаю Вам в прозе, потому что
хочу сказать Вам больше, чем Вы —
мне; больше, чем лирическое.

Я обращаюсь к Вашей человечности, к
Вашему уму, к Вашему благородству,
к Вашей чуткости, потому что со-
всем не хочу язвить и обижать Вас,
как Вы — меня; я не обращаюсь поэто-
му к той «мертвой невинности», ко-
торой в Вас не меньше, чем во мне.

«Роковая пустота» есть и во мне и в
Вас. Это — или нечто очень большое,
и — тогда нельзя этим корить друг

друга; рассудим не мы; или очень малое, наше, частное, «декадентское», — тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают.

Также только вкратце хочу напомнить Вам наше личное: нас разделил не только 1917 год, но даже 1905-й, когда я еще мало видел и мало сознавал в жизни. Мы встречались лучше всего во времена самой глухой реакции, когда дремало главное и просыпалось второстепенное. Во мне не изменилось ничего (это моя трагедия, как и Ваша), но только рядом с второстепенным проснулось главное.

[Не знаю (или — знаю), почему оно не проснулось в Вас]

В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, как все кругом было трудно, потому что все узлы были затянуты туго оставалось только рубить.

Великий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напу-

тывает; только это будут уже не те узлы, а другие.

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало- могло быть во много раз больше.

Неужели Вы не знаете, что «России не будет» так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в 1-й год I века? Также — не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?

17 (4) июня

О «МАКБЕТЕ»

Морозов: Записки Аделаиды Ристори (кажется, переведены на русский язык) 80-х годов («Ricordi e studi artistici», 1887). Ее толкование: в противоположность Макбету, который обладает громадной физической силой, любит бой, великан, — его жена — маленькая, вся может поместиться на его ладони, вся — сила духа. Она не теряет присутствия духа тогда, когда он боится, и только во сне, в состоянии сомнамбулизма, проявляется то, что про-

исходит в ее душе.

Сальвини и Росси — оба школы Ристори. Сальвини, бывший в ее труппе, та ч играл Макбета: великаном, с гривой спутанных волос, с натренированными мускулами, в пестрой шотландской юбке.

Литература о «Макбете» (*русская*) — в издании Ефрона. Там и статьи о «Макбете».

Немцев надо бояться — они всегда рассуждали о том, что «хотел сказать Шекспир» (особенно Гервинус). Французы тоже философствуют по-своему. Одна из лучших книг о Шекспире — Даудэна (есть два перевода).

Гведич: Кронеберговский перевод все-таки лучший, хотя он больше подлинника стихов на 400 (то есть минут на 40) и приукрашен; например, слов: «Но эта тень не тень от летней тучки» — нет в подлиннике.

1 августа (18 июля)

«ЕЖЕГОДНИК ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ» 1909 ГОДА

I.

1) Писемский о «Горькой судьбине» (по поводу ее цензурных запрещений с 1859 по

1863 г.).

2) Ф. Батюшков разбирает «Власть тьмы» и «Плоды просвещения» (есть кое-что).

3) Статья Евреинова «Режиссер и декоратор».

4) Измайлов о гастролях *Грассо*. Народные сицильянские драмы — примитивные (*Malìa* — «Проклятие»). *Зудерман* — «Каменотесы» (бывший каторжник поступает на завод, его травят рабочие, любовь, заступается за обидчика женщина). — «Жуан-Хозе», народная сицильская драма «*Дицента*».

5) Рецензия П. О. Морозова на «Историю русского театра» Варнеке (бедность литературы).

II.

1) Л. Я. Гуревич — «Взгляд Гоголя на искусство актера и режиссера» (невежество актеров гоголевского времени, советы Гоголя Сосницкому и Щепкину, сопоставление взглядов Гоголя с подходом Художественного театра).

2) Вл. И. Немирович-Данченко — «Тайны сценического обаяния Гоголя».

3) Н. Попов — «Станиславский, его значение для современного театра».

4) Текст «Женитьбы» (отрывок в одном действии).

III.

1) Измайлов — «Ф. Кони и старый водевиль».

2) Ив. Щеглов — «Из записной книжки» (Коклэн в «Адвокате Пателене» и др.).

(См. стр. 68 II части: что такое «В борьбе за мужчину»[^] тетралогия Клары Фибих?)

IV.

1) Кашин — «Островский и старинная драма» (продолжение — 1910, IV).

VI–VII.

Иллюстрация после стр. 72: греческая театральная маска из мрамора (воспроизвести, если переведу «Аттиса» Катулли).

«ЕЖЕГОДНИК ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ» 1910 г.

I.

О пьесе Бьернсона: «Когда цветет молодой виноград» (в защиту молодежи).

II.

1) Ю. Веселовский — «Гуцков и Уриэль Акоста».

2) Стр. 112. *Стриндберг* говорит: театр не должен быть ни «библией для бедных», ни «политическим манежем или воскресной школой». Он довлеет себе.

3) Стр. 136 и ел.: о «Женитьбе Фигаро» в Московском Малом театре.

4) О. Морозов — рецензия на 2-ю часть «Истории русского театра» Варнеке.

III.

1) Ив. Щеглов — «Театральные огни» (Воспоминания и отрывки). Мистерия об Адаме и Еве и арлекинада в балагане Лемана.

2) П. О. Морозов- Воспоминания о нижегородском театре 60-х годов.

3) Стр. 43 — хронологический список водевилей Некрасова (дополнения Россиева — вып. V, стр. 140).

4) Сильвио — «Бьернсон и Стриндберг».

30 (17) августа

Весной 1897 года я кончил гимназические экзамены и поехал за границу с тетей и мамой — сопровождать маму для лечения.

Из Берлина в Bad Nauheim поезд всегда раскачивается при полете (узкая колея и ча-

стые повороты). Маму тошнило в окно, а я придерживал ее за рукава кофточки.

После скучного житья в Bad Nauheim'e, слонянья и леченья здорового мальчика, каким я был, мы познакомились с т-те С<адовской>.

Альмединген, Таня, сестра т-те С<адовской>, доктор, ее комната, хоралы, Teich[83] по вечерам, туманы под ольхой, мое полоскание рта *vinaigre de toilette* (!), [84] ее платок с *Peau d'Espagne*.

Летом мы вернулись в Шахматово. На вокзале в Москве нас встретила О. Ю. Каминская, которая приготовила маму к тому, что с дидей случился удар.

Осенью я шил франтоватый сюртук, поступил на юридический факультет, ничего не понимал в юриспруденции (завидовал какому-то болтуну — кн. Тенишеву), пробовал за чем-то читать Туна (?), какое-то железнодорожное законодательство в Германии (?!). Виделся с т-те С<адовской>, вероятно, стал бывать у Качаловых (Н. Н. и О. Л.) (?). К сожалению, не помню, как кончился год.

Весной следующего года на выставке (ка-

жется, передвижной) я встретился с Анной Ивановной Менделеевой, которая пригласила меня бывать у них и приехать к ним летом в Боблово по соседству.

С января уже начались стихи в изрядном количестве. В них — К. М. С<адовская>, мечты о страстях, дружба с Кокой Гуном (уже остывавшая), легкая влюбленность в m-те Левицкую — и болезнь. В Шахматове началось со скуки и тоски, насколько помню.

Меня почти спровадили в Боблово. Я приехал туда на белой моей лошади и в белом кителе со стэком. Меня занимали разговором в березовой роще mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.

Я был фронт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы». В Боблове жил Н. Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал). К осени жила Марья Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стрелицы.

Мы разыграли в сарае «Горящие письма» (Гнедича?), «Букет» (Потапенки), сцены из «Горя от ума» и «Гамлета». Происходила де-

кламация. Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен.

Сириус и Вега.

Кажется, этой осенью мы с тетей ездили в Трубицыно, где тетя Соня подарила мне золотой; когда вернулись, бабушка дошивала костюм Гамлета.

К осени, по возвращении в Петербург, посещения Забалканского стали сравнительно реже (чем Боблова). Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе, я увлекся декламацией и сценой (тут бывал у Качаловых) и играл в драматическом кружке, где были присяжный поверенный Троицкий, Тюменев (переводчик «Кольца»), В. В. Пушкарева, а премьером — Берников, он же — известный агент департамента полиции Ратаев, что мне сурово поставил однажды на вид мой либеральный однокурсник. Режиссером был — Горский Н. А., а суфлером — бедняга Зайцев, с которым Ратаев обращался хамски.

В декабре этого года я был с mademoiselle и Любовью Дмитриевной на вечере, устроенном в честь Л. Толстого в Петровском зале (на Конюшенной?). На одном из спектаклей в За-

ле Павловой, где я под фамилией: «Борский» (почему бы?) играл выходящую роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна.

Все эти утехи в вихре света... кончились болезнью.

Я валялся в казармах, в квартире верхнего этажа, читая массу книг (тогда, между прочим, — всего Писемского) и томясь... Приходил Виша Грек (тогда юнкер?).

В это время происходило «политическое» - 8 февраля и мартовские события у Казанского собора (рассказ о Вяземском). Я был ему вполне чужд, что выразилось в стихах, а также в той нудности, с которой я слушал эти разговоры у дяди Николая Николаевича (Бекетова) и от старого студента Попова, который либеральничал с мамой и был весьма надменен со мной.

Эта «аполитичность» кончилась плачевно. Я стал держать экзамены (я сидел уже второй год на первом курсе?), когда «порядочные люди» их не держали. Любовь Дмитриевна, встретившая меня в Гостином дворе, обошлась со мной за это сурово. На экзамене по-

литической экономии я сидел дрожа, потому что ничего не знал. Вошла группа студентов и, обратись к профессору Георгиевскому, предложила ему прекратить экзамен. Он отказался, за что получил какое-то (не знаю, какое) выражение, благодаря которому сидел в слезах, закрывшись платком. Какой-то студент спросил меня, собираюсь ли я экзаменоваться, и, когда я ответил, что собираюсь, сказал мне: «Вы подлец!» На это я довольно мягко и вяло сказал ему, что могу ответить ему то же самое. — Когда я, дрожа от страха, подошел к заплаканному Георгиевскому и вынул билет, Георгиевский спросил меня, что такое «рынок». Я ответил: «Сфера сбыта»; профессор вообще очень ценил такой ответ, не терпя, когда ему отвечали, что рынок есть «место сбыта». Я знал это твердо (или запомнил из лекции, или услышал от кого-то). За это Георгиевский сразу отпустил меня, поставив мне пять.

Не помню, однако, засел ли я на втором курсе на второй год (или сидел на первом два года). Во всяком случае, я остался до конца столь же чужд юридическим и экономиче-

ским наукам.

Приехали в Шахматове (лето 1899). Я стал ездить в Боблово как-то реже, и притом должен был ездить в телеге (верхом было не позволено после болезни).

Помню ночные возвращенья шагом, осыпанные светляками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любви Дмитриевны. — «Менделеевы» опять были в Боблове, но спектакли были как-то менее одушевленны.

Были повторения, а из нового — «сцена у фонтана» с Сарой Менделеевой, которую повторили в Дедове с Марусей Ковалевской.

В Шахматове, напротив, жизнь была более оживленной. Приезжали Соловьевы и, кажется, А. М. Марконет. Мы с братьями представляли пьесу собственного сочинения и «Спор греческих философов об изящном» на лужайке, а с Сережей — служили обедню в березовом кругу. Сережа чувствовал ко мне род обожания, ибо я представлялся ему (и себе) неотразимым и много видевшим видов Дон-Жуаном.

Любовь Дмитриевна уезжала к Менделее-

вым (кажется). Я ездил в Дедово, где неприлично и парнисто ухаживал за Марусей, а потом — с Сережей в Трубицыно. Там был разговор с Покотилковым о Сормовских заводах (почему-то).

К осени я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любви Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный вестник», где нашел «Зеркала» З. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось.

Тут произошло знакомство с Катей Хрустальной (осень в Петербурге). Юридический факультет, как и прежде, не памятен. (Должно быть, в ту осень профессор полицейского права Ведров говорил, грассируя: «В одну любовь, широкую, как море...» и т. д.)

В эту зиму (кажется, к весне 1900) произошло знакомство с А. В. Гиппиусом, который пришел ко мне за конспектом государственного права, услышав от кого-то, что мой конспект хорош. Мы стали видеться, я бывал у него (комната, всегда закрытая, за которой — молчанье большой квартиры, точно вымер-

шей: на дворе (Тарасовского дома) — запах то-полей).

В эту зиму было, должно быть, последнее объяснение с К. М. С<адовской> (или в предыдущую?). Мыслью я однако продолжал возвращаться к ней, но непрестанно тосковал о Л. Д. М<енделеевой>.

В начале 1900 я взял место на балконе Малого театра: старый Сальвини играл Лира. Мы оказались рядом с Любовью Дмитриевной и с ее матерью. Любовь Дмитриевна тогда кончала курс в гимназии (Шаффе).

Все еще возвращались воспоминания о К. М. С. (стихи 14 апреля). Отъезд в Шахматове был какой-то грустный (стихи 16 мая). Первое шахматовское стихотворение («Прошедших дней...», 28 мая) показывает, как овеяла опять грусть воспоминаний о 1898 годе, о том, что казалось (и действительно было) утрачено.

Начинается чтение книг; история философии. Мистика начинается. Средневековый город Дубровской березовой рощи. Начинается покорность богу и Платон. В августе (?) решено окончательно, что я перейду на филологический факультет. «Паскаль» Зола (и др.). Как

было в Боблове?

Осенью Любовь Дмитриевна поступила да курсы. Первое мое петербургское стихотворение -14 сентября. Лекции Ернштедта, хождения в университет утром. В сентябре — опять возвращается воспоминание о К. М. С<адовой> (при взгляде на ее аметист 1897 года). Начало богоборчества. Она продолжает медленно принимать неземные черты. На мое восприятие влияет и филология, и болезнь, и мимолетные страсти (стихотворение 22 октября) с покаяниями после них.

Тут я хвастаюсь у Качаловых своим Платоном. У Петра Львовича Блока читаю «Три смерти» (Люция; Петр Львович — Лукана; И. И. Лапшин — Сенеку).

К концу 1900 года растет новое. Странное стихотворение 24 декабря («В полночь глухую...»), где признается, что Она победила морозом эллинское солнце во мне (которого не было).

В январе 1901 г. — концерт Панченки (не к главному для меня). 25 января — гулянье на Монетной к вечеру в совершенно особом состоянии. В конце января и начале февраля

(еще — синие снега около полковой церкви, — тоже к вечеру) явно является Она. Живая же оказывается Душой Мира (как определилось впоследствии), разлученной, плененной и тоскующей (стихи 11 февраля, особенно -26 февраля, где указано ясно Ее *стремление* отсюда для *встречи* «с началом близким и чужим» (?) — и Она уже в дне, т. е. за ночью, из которой я на нее гляжу. То есть Она предана какому-то стремлению и «на отлете», мне же дано только смотреть и благословлять отлет).

В таком состоянии я встретил Любовь Дмитриевну на Васильевском острове (куда я ходил покупать таксу, названную скоро Краббом). Она вышла из саней на Андреевской площади и шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту — до 10-й линии, я же, не замеченный Ею, следовал позади (тут — витрина фотографии близко от Среднего проспекта). Отсюда появились «пять изгибов».

На следующее утро я опять увидал Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама).

Я покорился неведенью и боли (психологи-

чески — всегдашней суровости Л. Д. Менделеевой).

Бывала Катя Хрусталева, с которой я кокетничал своим тайным знанием и мелодекламировал стихи Ал. Толстого, Апухтина и свои.

К весне началось хождение около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как Видения (закаты). Все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева, книгу которых подарила мне мама на Пасху этого года.

А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые «Северные цветы» «Скорпиона», которые я купил, и Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее за тем *«мистическое лето»* эта книга играла также особую роль.

В том же мае я впервые попробовал «внутреннюю броню» — ограждать себя «тайным ведением» от Ее суровости («Все бытие и сущее...»). Это, по-видимому, было преддверием будущего «колдовства», так же как необычайное слияние с природой.

Началось то, что «влюбленность» стала меньше призвания более высокого, но объек-

том того и другого было одно и то же лицо. В первом стихотворении шахматовском это лицо приняло странный образ «Российской Венеры». Потом следуют необыкновенно важные «ворожбы» и «предчувствие изменения облика».

Тут же получают смысл и высшее значение подробности незначительные с виду и явления природы (болотные огни, зубчатый лес, свечение гнилушек на деревенской улице ночью...).

Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем.

Тут я ездил в Дедово, где уже не ухаживал за Марусей, но вел серьезные разговоры с Соловьевыми. Дядя Миша подарил мне на прощанье сигару и только что вышедший (им выпущенный) I том Вл. Соловьева.

Осенью Сережа приезжал в Шахматове. Осень была преисполнена напряженным

ожиданием. История с венком и подушкой произошла, кажется, в это лето (или — в предыдущее?). На фабрике я читал «Хирургию» Чехова. Спектаклей, кажется, не было. Были блуждания на лошади вокруг Боблова (с исканием места *свершений*) — Ивлево, Церковный лес. Прощание я помню: Любовь Дмитриевна вышла в гостиную (холодная яркая осень) с напудренным лицом.

Возвращение в Петербург было с мамой 6 сентября в одном поезде с М. С. Соловьевым, который рассказывал, что в Москве есть Боря Бугаев, что там обращено внимание на мои стихи. Рано утром он, сутулясь, вышел в Саблине, чтобы ехать в Пустыньку за бумагами, касающимися брата.

Сентябрь прошел сравнительно с внутренним замедлением (легкая догматизация). Любовь Дмитриевна уже опять как бы ничего не проявляла. В октябре начались новые приступы отчаянья (Она уходит, передо мной — «грань богопознания»). Я испытывал сильную ревность (без причины видимой). Знаменательна была встреча 17 октября.

К ноябрю началось явное мое *колдовство*,

ибо я вызвал двойников («Зарево белое...», «Ты — другая, немая...»).

Любовь Дмитриевна ходила на уроки к М. М. Читау, я же ждал ее выхода, следил за ней и иногда провожал ее до Забалканского с Гагаринской — Литейной (конец ноября, начало декабря). Чаще, чем со мной, она встречалась с кем-то, кого не видела и о котором я знал.

Появился мороз, «мятель», «неотвязный» и *царица*, звенящая дверь, два старца, «отрава» (непосланных цветов), свершающий и пользующийся плодами свершений («другое я»), кто-то «смеющийся и нежный». Так кончился 1901 год. Тут — Боткинский период.

Новогодний визит. Гаданье m-me Ленц и восторг (демонический: «Я шел...»).

11 сентября (29 августа)

ЯНВАРЬ 1901

1901 год начался одиночеством, углублением в себя, печалью о прошлом, в котором были некие «заветы». Этой печали суждено окрепнуть в надежду, что *зима* по помешает *мечте пророчески открыть под снегом цветистый прах*. [До конца января ОНА не упо-

минается в стихах, есть только ЕЕ музыка], несмотря на то, что *тяжкие года* сменяют *благоуханные дни*. [Психология этого времени: — против «борьбы» (на нее тратятся *пошлые силы*), против людей, против слов.]

Ноуменьность той силы, которая дает печали процвести надеждой. (Значение этого года и следующего объективное; об этом может засвидетельствовать А. Белый.)

29 января в песне *весеннего ветра и живых былей лучших дней* слышались *ее* звучные песни. Перед ней — *волны народа, толпой* которого я уже увлечен на *обожанье красоты* (этот мотив — еще в конце 1900 года). [Психология уже — *хотя против людей*, но с народом, как со стихией;] я же — *несвободный, как прежде*.

Таким образом, все уже сливается в этой весне (необычайно ранней — январской в январе: *былое с грядущим*, что в ветре).

ФЕВРАЛЬ 1901

Вечерами — уже *звуки живых голосов*, и *ее прах потревожен*. Былое воскресает. Песня *родная и знакомая*. Звезды — все те же, наро-

ды (не народ) — все те же, но душа, молча, уже готовит чудные дары своим богам в одиночестве. Она умащена, ловит зов другой души. МЕЧТА (термин Вл. Соловьева — действенный) становится УПОРНОЙ в искании (неудачно сказано и удачно поправлено: воскрешении) мертвого праха давней жизни. Над ней уже ответно загораются небеса. Сквозь суровость пути- райские сны в полнощном бденъи (сны — тоже термин Вл. Соловьева, тоже действенный). Эти сны райские, в отличие от других, которые объемлют дух страстной мглой (начинается борьба другая, борьба с адом, на которую тратятся не те пошлые силы, которые уходят на человеческую борьбу). На помощь призывается: 1) всемогущая сила бога и 2) «умо-сердечное» — Афина и Эрос (завершение мысли, возникшей в 1900 <году>, едва ли не предвестие той адской провокации с двойниками внутри, которая потом погубит), то есть соединение сил духовных с телесными.

Тогда же смысл ее печали (печаль — она, видимо, не разделяет событий) ищется в *природе*. согласие сил (моря и отраженных в нем

звезд) *страшит* ее и лишает надежды на свободу. В этой мысли, как я узнал впоследствии, оказалось родство с мыслью о плененной Мировой Душе (Святой Дух Оригена), которую лелеял последний — Вл. Соловьев (см. <том> IX, <стр.> 19 и многие другие места). Я этого всего еще не знал, но чуял Платона. При этом сам я был лишь *изумлен* (дауца^еатаг) отражением *небесных тел в земных морях*, очевидно, как древний философ-художник (язычник). — Далее, я молюсь (опять богу: *Более без лица, как всегда*) *извлечь меня, истомленного раба, из жалкой битвы* (очевидно, житейской, чтобы не уставать от феноменального и легче созерцать ноуменальное).

Вслед за тем, так как видимого участия той, которая была центром всех возникших событий, я продолжал не видеть, я стал думать, что ее стремления — выше моих и что я *заслоняю ей путь* [психологически: мешаю]: в ней — *огонь нездешних вожделений*, тогда как *моя речь — жалка и слаба*; она — *на рубеже неизвестной встречи с началом близким и чужим*. Она уже миновала *ночную тень и ликует НАДО МНОЙ*; я же, с *неисцелимой душой*

(психология — только «влюбленность»), *благословляю прошедшее и грядущее.*

МАРТ 1901

Звучная тишина (наполненная звуками) предвещала внезапную встречу с ней где-то на путях ее сквозь алый сумрак, где целью ее было *смыкание бесконечных кругов*. Я встретил ее здесь, и ее земной образ, совершенно ничем не дисгармонирующий с неземным, вызвал во мне ту бурю торжества, которая заставила меня признать, что *ее легкая тень пронесла свои благие исцеленья* моей душе, *полной зла и близкой к могиле.*

Моей матери, которая не знала того, что знал я, я искал дать понять о происходящем строками: «Чем больней...» (здесь уже сопротивление психологии: чем больней феноменальной душе, тем ясней *миры* — ноуменальные). Тогда же мне хотелось *ЗАПЕЧАТАТЬ* мою тайну, вследствие чего я написал зашифрованное стихотворение, где пять изгибов линий означали те улицы, по которым она проходила, когда я следил за ней, незамеченный ею (Васильевский остров, 7-я линия — Сред-

ний проспект — 8-9-я линии — Средний проспект — 10-я линия).

Ее образ, представший передо мной в том окружении, которое я признавал имеющим значение *не случайное*, вызвал во мне, вероятно, не только *торжество пророчесственное*, но и человеческую влюбленность, которую я, может быть, проявил в каком-нибудь слове или взгляде, очевидно вызвавшем новое проявление ее суровости.

АПРЕЛЬ 1901

Следствием этого было то, что я вновь решил *таить на земле от людей и зверей* (Крабб) *хранилище моей мысли, болея прежней думой и горя молитвенным миром под ее враждующей силой*. — После большого (для того времени) промежутка накопления сил (1-23 апреля) *на полях моей страны* появился какой-то бледнолицый призрак (двойники уже просят на службу?), *сын бездонной глубины*, которого изгоняет *порой дочь блаженной стороны*.

Тут происходит какое-то краткое замешательство («Навстречу вешнему...»). Тут же за-

каты брезжат видениями, исторгающими *слезы, огонь и песню*, но кто-то нашептывает, что я вернусь некогда на то же поле другим — *потухшим, измененным злыми законами времени, с песней наудачу* (т. е. поэтом и человеком, а не провидцем и обладателем тайны).

Где мысль о проклятии времени?

МАЙ 1901

Очевидно, под влиянием ее непрекращающейся (или растущей, или случайной) суровости — май начался теми же мрачными предчувствиями: я удалюсь в *страны холодные, немые, без любви и без весны*, где нет *страстей, любви матери*, где царит *равнодушие* и где *угасает* мое скитанье — без исхода (без конца), и... оказываюсь непричастным к совершающемуся (мысль о возможности моего участия явилась не сразу, но здесь она уже является, по-видимому, готовой): она *одинок*, в *отдаленъи* (от меня) *сомкнет последние круги*.

Следствием этого разрыва и очевидной усталости от напряжения является психологическое: какие-то «неверные красы» ее, ее

«изменчивая» душа (!?) — упадок стремления. В эти дни начала мая единственным напряженным напоминанием является тот голос, который говорит, что я ухожу, но закат вещает мне *таинственный возврат к оставленной земле.*

Следуют какие-то помехи (сумасшедший — кто это? Во мне же?). К середине мая звук с другого берега *темнеющей реки* кажется мне *ее ответом.* Я убеждаю ее, что, несмотря на все мои падения, *душа моя жива и не лживо зовет ее, тоскуя по ней и объемять лучшую жизни.* Следует род заклинания. Прежнее отсутствие ответа заставляет надеть броню, что выражается в ощущении себя как микрокосма, в котором *вся вселенная, все прошедшее и грядущее и с избытком все огни, какими горит она; потому — нет ни слабости, ни силы, ее участие или безучастие не трогает, провидцу не нужно сочувствия.* Я уже перешел граничную черту и только жду условленного виденья, чтобы отлететь в иную пустоту (которая также не страшна).

Сквозь эту броню пробиваются, однако, жаркие струи, в которых есть как бы оттенки

соблазна (женственная нежность образа, легкое пение, призрачный красный месяц, отражающийся в Неве, образ отроковицы — мидианки (Вл. Соловьев), пред которым я медлю, вместо того чтобы нести свою духовную лепту в далекие святыни).

Так, неготовым, раздвоенным я кончаю первый период своей мировой жизни — петербургский. [Здесь нет еще ни одного большого Т.].

К этому периоду относится 39 стихотворений.

30 (17) декабря

В. МАЯКОВСКОМУ

Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же традиционно, как оно. Разрушая постылое, мы так же скучаем и зееаем, как тогда, когда смотрели на его постройку. Зуб истории гораздо ядовитее, чем вы думаете, проклятия времени не избыть. Ваш крик — все еще только крик боли, а не радости.[85]

Разрушая, мы всё те же еще рабы старого мира: нарушение традиций — та же традиция. Над нами — большее проклятье: мы не можем не спать, мы не можем не есть.

Одни будут строить, другие разрушать, ибо «всему свое время под солнцем», но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение.

Дневник 1919 года

6 января[86]

Вчера утром звонок:

— Здрассте. Говорит Ионов. Комиссар такой-то. Я хотел предложить перенести печатанье ваших книг в типографию, какую я укажу. Предлагаю издать «Двенадцать» в Петроградском совдепе.

— Не находите ли вы, что в «Двенадцати» — несколько запоздалая нота?

— Совершенно верно. Один товарищ уже говорил об этом, но мы все-таки решили издать все лучшие произведения русской литературы, хотя бы имеющие историческое зна-

чение. Подумайте и, когда решите, приезжайте ко мне в Смольный.

Издавать Ионов хочет 50 000, с рисунками Анненкова. Звоню к Алянскому. Разговор с ним и с Анненковым. Алянский немного против, хотя искренно сочувствует нашим денежным интересам (с Анненковым).

Сегодня Алянский не поймал Белопольского, с которым нужно выяснить, как отнесется к этому вопросу комиссариат. Но они с Анненковым были у Горького, подносили ему «Двенадцать». Очень знаменательно, что говорил Горький.

Он говорил с ними с полчаса, очень доброжелательно, спрашивал, не встречается ли «Алконост» препятствий, узнав об Ионове и моих книгах, сказал, что такие факты надо собирать, что Ионов бездарен и многому навредил. Вообще сказал, что «Владимир Ильич, Анатолий Васильевич и я» держатся совсем другой точки зрения, что с такими явлениями надо бороться. На предложение написать что-нибудь для «Алконоста» о символистах сказал, что он бросил писать и занят только «селедками» (очевидно, деятельность в Совет-

те коммуны).

Соображения по таким же поводам — см. «Каталина» (которыми Иванов-Разумник предлагает мне открыть «Вольную философскую академию» во второй половине января).

Кроме того: *страшное* все это. Кто же победит дит на этот раз? Полная анархия (между прочим, провинция шлет град упреков комиссариату, зачем он издает классиков, а не политические брошюры) или новый «культурный порядок»?

Не знаю.

Честно ли говорить такую, например, прекрасную фразу: «В одной строке великого писателя содержится больше революционного пыла, чем в десятках бездарных брошюр» (так бы мог ответить комиссариат на упреки, к нему обращенные). Нет, не совсем честно, ибо и так и не так, в этом — уклончивость: правда, брошюрка бездарна, но в ней читается больше, чем написано, потому что она есть брошюришка, хлам, тряпье, возбуждающее в бедном больше доверия, чем длинная чистая книга. И в большой гениальной книге озлобленный бедняк не вычитает того, а иногда

вычитает то, что новую злобу посеет в его изозленной, забитой, испуганной душе.

Всякая культура — научная ли, художественная ли — демонична. И именно чем научнее, чем художественнее, тем демоничнее. Уж конечно, не глупое профессорье — носитель той науки, которая теперь мобилизуется на борьбу с хаосом. Та, наука — потоньше ихней.

Но демонизм есть сила. А сила — это победить слабость, *обидеть слабого*.

Несчастный Федот изгадил, опоганил *мои* духовные ценности, о которых я *демонически* же плачу по ночам. Но кто сильнее? Я ли, плачущий и пострадавший, или Федот,[87] если бы даже он вступил во владение тем, чем не умеет пользоваться (да ведь не вступил, никому не досталось, потому что все, вероятно, грабили, а грабить там — в Шахматове — мало что ценного).

Для Федота — двутривенный и керенка то, что для меня — источник не оцениваемого никак вдохновения, восторга, слез.

Так, значит, я — сильнее и до сих пор, и эту силу я приобрел тем, что у кого-то (у предков)

были досут, деньги и независимость, рождались гордые и независимые (хотя в другом и вырожденные) дети, дети воспитывались, их научили (учила кровь, помогала учить изолированность от добывания хлеба в поте лица) тому, как создавать бесценное из ничего, «превращать в бриллианты крапиву», потом — писать книги и... жить этими книгами в ту пору, когда не научившиеся их писать умирают с голоду.

Да, когда я носил в себе великое пламя любви, созданной из тех же простых элементов, но получившей новое содержание, новый смысл от того, что носителями этой любви были Любовь Дмитриевна и я — «люди необыкновенные»; когда я носил в себе эту любовь, о которой и после моей смерти прочтут в моих книгах, — я любил прогарцевать по убогой деревне на красивой лошади; я любил спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы «пофорсить», или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами, чтобы ёкнуло в груди так себе, ни отчего, кроме как от молодости, от сырого тумана, от ее смуглого

взгляда, от моей стянутой талии, и это ничуть не нарушало той великой любви (так ли? А если дальнейшие падения и червоточины — отсюда?) а, напротив, — раздувало юность, лишь юность, а с юностью вместе раздувался тот «иной» великий пламень...

Все это *знала* беднота. Знала она это лучше еще, чем я, сознательный. Знала, что барин — молодой, конь статный, улыбка приятная, что у него невеста хороша и что оба — господа. А господам, — приятные они или нет, — постой, погоди, ужотка покажем.

И показали.

И показывают. И если даже руками грязнее моих (и того не ведаю и о том, господи, не сужу) выкидывают из станка книжки даже несколько «заслуженного» перед революцией писателя, как А. Блок, то *не смею я судить*. Не эти руки выкидывают, да, может быть, не эти только, а те далекие, неизвестные миллионы бедных рук; и глядят на это миллионы тех же не знающих, в чем дело, но голодных, истрадавшихся глаз, которые видели, как гарцевал статный и кормленный барин. И еще кое-что видели другие разные глаза но такие же. И

посмеиваются глаза — как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь барин — за нас? Ой, за нас ли барин?

Демон — барин.

Барин — выкрутится. И барином останется. А мы — «хоть час, да наш».

Так-то вот.

Возвращаюсь к «политике». Подобное «социальное чувство» — у Мейерхольда; по-другому, но политически в эту сторону — у Маяковского (о, ничего общего, кроме «политики»!). Ионов — самой той породы. Оттого льнет Мейерхольд к Ионову, хочет за него ухватиться.

Другой «лагерь» — Горький. Отсюда — и борьба двух отделов и двух дам. Анатолий Васильевич мирит, вовсе будучи «не большевиком по темпераменту».

А мне: уйти наконец с моего водевильного председательского поста; остаться, в крайнем случае, редактором; подойти ближе к Вольной философской академии, где, я думаю, позволено будет думать о серьезном, а не о том, поверхностном и элементарном, над чем мыслят наши профессора (глупый Зелинский

и умный Котляревский).

Делая все дела, которые, даже если меня отпустят из «председателей», останутся пока слишком разнообразными и наполовину — бессмысленными (т. е. потому, что «в пределах государственных заданий»), надо все-таки временами окидывать взглядом этого Гейне, стихи которого так прекрасны, но личность оставляет желать многого.

7 января. Рождество

Решаясь включить в «Театр» «Песню Судьбы», из которой я стараюсь выкинуть все уж очень глупое (хорошего и глупого времени произведение), я окончательно освобождаюсь от воли М. И. Терещенки. Мы с ним в свое время загнипотизировали друг друга искусством. Если бы так шло дальше, мы ушли бы в этот бездонный колодезь; Оно — Искусство — увело бы нас туда, заставило бы забраковать не только всего меня, а и все; и остались бы: три штриха рисунка Микель-Анджело; строка Эсхила; и — все; кругом пусто, веревка на шею.

Если удастся издать — пусть будут все четыре тома — одной толщины, и в них — од-

но лучше, другое хуже, а третье и вовсе без значения, без окружающего. Но какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступна была она): вот — я- до 1917 года, путь среди революций; *верный* путь.

У Ионова в Смольном.

Сидит Ионов за переборкой в громадном зале. Там образовался приятный кабинет с книгами. А вокруг Ионова толпятся два самых плодовитых русских писателя: Вас. И. Немирович-Данченко и И. И. Ясинский.

Сколько видишь. Совсем становишься не похож на себя — прежнего: огрубевший, сухой, деловой, стареющий.

А вот у Книпович Е. Ф.: отец был юрист и законник; человек совершенно здоровый. Крепился, вдруг — нервный удар, и умер на месте.

26 марта

Вчера — большой день. Я прочел доклад о Гейне (положение дела с переводами его), затронув в нем тему о крушении гуманизма и либерализма (во «Всемирной литературе»).

Горький предлагает заменить слово «либе-

ралы» словом «нигилисты». Он делает это предложение со своей милой сконфуженной улыбкой (присутствие профессоров).

Ожесточенно нападает Волынский, который указывает, между прочим, на путаницу в терминологии (исконное, знакомое мне).

Левинсон ехидно спрашивает, не виноваты ли Тургенев. Я утверждаю, что первый виноват Тургенев. «И Герцен?» — спрашивает Горький. — И Герцен.

Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, перед чем гуманизму, в смысле «христианского отношения» и т. д., придется временно ступать. «Или надо доходить до святости», или уступать. Он переводит вопрос на излюбленную свою тему этих дней (еще на днях он сказал: «Все равно придет мужик и всем головы отвинтит») — о борьбе деревни с городом. Ссылается на съезды бедноты. Говорит, что предстоит отчаянная борьба деревни с городом, в которой не поздоровится не только капиталистам, но и писателям и артистам. В заключение говорит мне с той же милой улыбкой: «Между нами — дистанция огромного разме-

ра, я — бытовик такой, но мне это понятно, что вы говорите, я нахожу доклад пророческим, извиняюсь, что говорю так при вас».

«Но ведь вы говорите, Алексей Максимович, что гуманизм должен ступать временно», — с удовлетворением и в один голос спрашивают профессора.

Горький на это ничего не отвечает.

Волынский говорит, что он находит доклад не только не пророческим, но близоруким.

Батюшков, мрачно молчавший, говорит, что он, конечно, не согласен, но что он надеется, что разногласие — только в терминах.

Тихонов молчит.

Браун находит интересным мое сближение Гейне с Вагнером. Упоминает о доле правды в докладе.

Гумилев говорит, что имеет много сказать, и после закрытия заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. Совдепы — гунны.

Чуковский сочувствует мне с маленьким выжиданием.

Горький предлагает посвятить этому вопросу отдельное заседание.

Я высказываю опасение, что это — превратится в религиозно-философское собрание, в интеллигентский спор об «интеллигенции и народе».

Горький полагает, что интеллигенция сильно изменилась, и что доклад произведет новое действие.

Левинсон осторожно ехидствует, что сопоставление имен ему пока ничего не сказало и потому он воздерживается от суждения.

Доклад назначен на 2 апреля.

После этого Батюшков, докладывающий о предисловиях Зелинского к Иммерману, принужден во всем согласиться с моей оценкой. Только все смягчает и смазывает.

27 марта

Вершина гуманизма, его кульминационный пункт — Шиллер. Широкий и пыльный солнечный луч, бьющий сквозь круглое стекло. Озаряющий громадный храм стиля барокко — «просвещенную» Европу. Оттого Шиллер так бесконечно близок сейчас, что он так

озаряет, так в последний раз соединяет в себе искусство с жизнью и наукой, человека с музыкой.

Вслед за этим непосредственно человек разлучается с музыкой; человечество, о котором пел маркиз Поза в пыльном солнечном луче, идет своими путями — государственными, политическими, этическими, правовыми, научными.

Искусство, артистицизм, музыка начинает струиться своим путем.

Страшный Кант ставит пределы познанию. В ответ на этот вызов, брошенный закрывающимся гуманизмом, взлизывают на поверхность гуманного мира первые пламенные языки музыки, которые через столетие затопят пламенем весь европейский мир.

Статья Бенуа о барокко в словаре.

Лицо Европы озаряется совершенно новым светом, когда на арену истории выступают «массы», народ бессознательный носитель духа музыки. Черты этого лица искажаются тревогой, которая растет в течение всего века.

Непрестанные революционные взрывы, от которых воздух не очищается, а только все

больше сгущается.

Появление Э. По, Байрона, Гейне.

Новейший гуманизм: отделение литературы от искусства. Мыслить без музыки. Кому мы обязаны пошлятиной *belles lettres*? [88] Борьба гуманной критики с искусством. Стремление запаять гроб искусства. Та последовательность (поразительная), с которой преследовали художников — вплоть до могилы. Другие способы — снисходить; отводить под руку и шептаться: это ведь не совсем так... внушать художнику (дитяти).

А какие *когда-то* артистические имена: Петрарка, Боккаччо, Пико де ла Мирандола, Рейхлин, Эразм, Гуттен...

* * *

Почему так мрачно извне? — Потому что весело внутри. *Работу* бросают, *да*: иначе — не начать труда (вчерашнее).

Русская интеллигенция — устремление к религии, опять — преждевременное, новая антимзыкальность. Кончается не мир, а процесс.

28 марта

«Быть вне политики» (Левинсон)? — С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству расправляться с людьми, как ему угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит — кто-то будет только «с политикой» и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно, т. е. воевать, сколько ему заблагорассудится, заключать торговые сделки с угнетателями того класса, от которого мы ждем проявления новых исторических сил, расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской жизни. Мы же будем носить шоры и стараться не смотреть в эту сторону. Вряд ли при таких условиях мы окажемся способными оценить кого бы то ни было из великих писателей XIX века. Мы уже знаем, что значит быть вне политики: это значит — стыдливо закрывать глаза на гоголевскую «Переписку с друзьями», на «Дневник писателя» Достоевского, на борьбу А. Григорьева с либералами; на социалистические взрывы у Гейне, Вагнера,

Стриндберга. — Перечислить еще западных и наших. — Это значит — «извинять» сконфуженно одних и приветствовать как должное политическую размягченность, конституционную анемию других — так называемых «чистых художников». Если я назову при этом для примера имя нашего Тургенева, то попаду, кажется, прямо в точку, ибо для наших гуманистов нет, кажется, ничего святее этого имени, в котором так дьявольски соединился большой художник с вялым барствующим либералом-конституционалистом. Нет, мы должны разоблачить это — не во имя политики сегодняшнего дня, но во имя музыки, ибо иначе мы не оценим Тургенева, т. е. не полюбим его по-настоящему.

Нет, мы не можем быть «вне политики», потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было. В частности, секрет некоторой антимузикальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости. Если не разоблачим этого мы, умеющие любить Тургенева, то разоблачат это идущие за

нами люди, не успевшие полюбить Тургенева; они сделают это гораздо более жестоко и грубо, чем мы, они просто разрушат целиком то здание, из которого мы умелой рукой, рукою, верной духу музыки, обязаны вынуть несколько кирпичей для того, чтобы оно предстало во всей своей действительной красоте — просквозило этой красотой... Быть вне политики — тот же гуманизм наизнанку.

31 марта

Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом «хлынуть». Таков закон всякой органической жизни на земле — и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм.

Вся короткая история человечества, которая сохранилась в нашей бедной памяти, есть, очевидно, смена эпох, из которых в одной — музыка замирает, звучит заглушенно, чтобы с новым волевым напором хлынуть в другой, следующий за нею.

Такова великая музыкальная эпоха гума-

низма эпоха возрождения, наступившая после музыкального затишья средних веков.

Продолжение:

Великое, музыкальное, синтетическое, культурное движение гуманизма, изживая само себя, накануне XIX столетия встретилось на пути своем с новым движением, идущим ему на смену (движение масс); об это новое движение и разбился гуманизм; разбился его музыкальный стиль — барокко. Одна мощная струя разлетелась на тысячу мелких ручейков, и каждый в отдельности потерял свою силу. В брызгах, которые взлетели над разбившимся потоком, радугою заиграл его отлетающий дух — дух музыки. И дух музыки соединился отныне с новым движением, идущим на смену старому.

Те ручейки, которые разбежались во все стороны, разбиваясь и ветвясь все дальше и дальше при встречах с новыми и новыми препятствиями, послужили силами для образований, которые мы все привыкли, обобщая, называть образованиями европейской цивилизации. Она сохранила за собою эпитет «гуманной», но чем больше ветвилось движе-

ние, чем более покидал его дух музыкальной спаянности, цельности, дух культуры, — тем больше она теряла право на этот эпитет; тем больше она и держалась за него (вырожденный аристократ).

Научное движение принимает характер позитивизма и матерьялизма; оно разбивается на сотни отдельных движений (методов, дисциплин). Предлог — многообразии изучаемого мира; но скрытая причина — оставленность духом музыки. Отдельные дисциплины становятся все более недоступными для непосвященных. Является армия специалистов, отделенных от непосвященных стеною своей кабинетной посвященности.

Непосвященные, между тем, волею истории становятся постепенно все более властными хозяевами ее судеб. Они напоминают о себе непрекращающимися отныне революциями.

Движение цивилизации, стая посвященных в таинства кабинетной науки и европейской биржи, продолжает писать на своих знаменах старые гуманистические лозунги; оно борется с одряхлевшими формами государ-

ственности, весьма справедливо называя их средостением, но не предполагая, что эти самые формы являются единственной отныне поддержкой самой цивилизации; они не знают, что то мощное движение, которое расшатывает эти государственные формы с другой стороны, стихийно хлынет и дальше, едва пробьет для себя достаточно широкую брешь.

Как бы в предчувствии катастрофы, завоевывает себе огромное, неподобающее место то явление, по существу уродливое, которое носит имя популяризации знаний. Глубокий компромисс, дилетантизм, гибельный в итоге как для самого знания, так и для тех, кто воспринимает его в таком безвкусном растворе; морфин, возбуждающий деятельность мозга на несколько часов для того, чтобы потом бросить человека в прострацию.

В ответ на это — синтетические призывы к *gaia scienza*. [89] Ницше сходит с ума. Носителям призывов такого рода вообще приходится пока плохо, они задыхаются в атмосфере, отравленной гуманной цивилизацией.

То же явление — во всех областях: в политике бесконечное мелькание государствен-

ных форм, судорожное перекраиванье границ (в ответ на это — революции, которые пытаются всегда ввести в русло, определить как движения национальные, как освободительные (от гнета), но в которых остается всегда неопределимым и невводимым в русло основное и главное — волевой, музыкальный порыв); в литературе — школы, направления; то же — в отдельных искусствах. Самое разделение — искусство и литература, в котором первое — нечто безответственное, второе — нечто грузное, питательное, умственное.

В ответ на это — синтетические стремления Вагнера («Опера и драма»).

Что же, цивилизация — обогащение мира? Нет, это перегружение мира, загромождение его (Вавилонская башня). Ибо все — множественно, все разделено, все не спаяно; ибо не стало материи, потребной для спайки. Музыка была тем цементом, который создавал культуру гуманизма; когда цемента не стало, гуманистическая культура превратилась в гуманную цивилизацию.

В Западной Европе, где хранилась память о великом музыкальном прошлом гуманиз-

ма, цивилизация все время силится вступить во взаимодействие с новой силой, на стороне которой теперь дышит дух музыки. Это тончайшие, своеобразнейшие взаимодействия и сплетения, исследование которых займет со временем немало томов. Подчас различить, где в одной личности, в одном направлении кончается цивилизация и начинается культура, нелегко. Я уверен, однако, что это должно быть различено и прослежено во всех тонкостях, и что такова именно задача будущего историка культуры XIX века.

Не то — в бедной, варварской России, где никакой памяти сохраниться не могло, где такого прошлого не было. Здесь будут наблюдать гораздо более простые, грубые и потому — более искренние, наивные проявления разделения. Здесь, в простоте душевной, провозглашают сразу, что сапоги выше Шекспира; с другой стороны, пьяненькие представители плохонькой культуры и неважной музыки — захудалые носители музыки, российские актеры дубасят в темном переулке «представителей цивилизации» — театральных критиков, попадая при этом, как водится,

в самых неповинных в цивилизации, самых культурных и музыкальных людей, как, например, Аполлон Григорьев.

Все это — весьма наивное и жалкое проявление, но, по существу, — все то же оно; все те же два духа борются в древней Европе и в юной России, и нет существеннейшего различия между ними при всем громадном видимом различии, потому что мир стоит уже под знаком духовного Интернационала; под шумом обостренных националистических распрь и раздоров уже предчувствуется эпоха, когда самые молодые расы пойдут рука об руку с древнейшими под звуки той радостной музыки, которая прозвучит для разделявшей их цивилизации как похоронный марш.

Мне кажется, что в той «великой битве» против «гуманизма» (*grosse Schlacht der Zeit* [90]) — за *артиста* много пролито крови писателями германскими и русскими; напротив, изрядно сэкономили свою драгоценную кровь французы и англичане. Это естественно — у них музыкальная память слабее. Напротив, она громадна у немцев; у нас — память стихийная, мы слышали не Гуттена, не

Лютера, не Петрарку, но ветер, носившийся по нашей равнине, музыкальные звуки нашей жестокой природы, которые всегда стояли в ушах у Гоголя, у Достоевского, у Толстого.

7 апреля

Я получил корректуру статьи Вяч. Иванова о «кризисе гуманизма» и боюсь читать ее.

* * *

Французы и англичане менее задеты гуманистическим движением, чем средняя Европа и даже — чем Россия. У них другие пути преобладали. Потому я говорю главным образом о средней Европе, которая нам ближе и духовно и географически была всегда; наша галломания никогда не была органичной, и, напротив, всегда была органичной — германомания, хотя она и принимала у нас часто самые отвратительные прусские формы. Быть может, одной из важных причин крушения у нас «пушкинской» культуры было то, что эта культура становилась иногда слишком близкой французскому духу и потому — оторвалась от нашей почвы, не в силах была удержаться в ней под напором внешних бед (Ни-

колаевского режима). Германия для Пушкина — «ученая и туманная»...

* * *

Основные положения, которые я хотел защитить: теоретические и практические.

1) *Практические*: выбор для «Всемирной литературы», руководясь музыкой.

2) В стихах и прозе — в произведении искусства главное: дух, который в нем веет; это соответствует вульгарному «душа поэзии», но ведь — «глас народа глас божий»; другое дело то, что этот дух может сказываться в «формах» более, чем в «содержании». Но все-таки главное внимание читателя нужно обращать на дух, и уже от нашего умения будет зависеть вытравить из этого понятия «вульгарность» и вдохнуть в него истинный смысл, который остается неизменным, так что «публика» в своей наивности и вульгарности правее, когда требует от литературы «души и содержания», чем мы, специалисты, когда под всякими предлогами хотим освободить литературу от принесения пользы, от служения и т. д.

Я боюсь каких бы то ни было проявлений

тенденции «искусство для искусства», потому что такая тенденция противоречит самой сущности искусства и потому что, следуя ей, мы в конце концов потеряем искусство; оно ведь рождается из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души *массы*. Великое искусство рождается только из соединения этих двух электрических токов.

3) Сознательное устранение политических оценок есть тот же гуманизм, только названку, дробление того, что недробимо, неделимо; все равно что — сад без грядок; французский парк, а не русский сад, в котором непременно соединяется всегда приятное с полезным и красивое с некрасивым. Такой сад *прекраснее* красивого парка; творчество *больших* художников есть всегда прекрасный сад и с цветами и с репейником, а не красивый парк с утрямбованными дорожками.

5 апреля

А наш гуманизм — уже уличный: трамвайный разговор — самое дно. Общество покро-

вительства животным, благотворительность, приветственный адрес начальству (скрежеща зубами).

7 апреля

Примеры переоценок: Гейне и народолюбец. Несмотря на физическое отвращение, Гейне чувствует, в чем дело («Силезские ткачи»). Он артист. Народолюбец — при любви — не чувствует.

Тургенев — вскрыть его неартистичность.

В артисте — отсутствие гуманной размягченности, острое сознание. Оптимизм, свойственный цивилизованному миру, сменяется трагизмом: двойственным отношением к явлению, знанием дистанций, умением ориентироваться.

11 июня. Ольгино и Лахта

Чего нельзя отнять у большевиков — это их исключительной способности вытравлять быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это — факт.

В прошлом году меня поразило это в Шувалове. Но то, что можно видеть в этом году на

Лахте, — несравненно ярче.

Жителей почти не осталось, а дачников нет. Унылые бабы тянутся утром к местному совету, они обязаны носить туда молоко. Там его будто бы распределяют.

Неподалеку от совета выгорело: в одну сторону — дач двенадцать, с садами и частью леса. Были и жилые. Местные пожарные ленились качать воду, приезжала часть из Петербурга. По другую сторону — избушки огородников. Прошлогоднее пожарище в центре так и стоит.

В чайной, хотя и стыдливо — в углу мало-заметном, — вывешено следующее объявление:

*НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ОСТАВЛЯТЬ ПОСЛЕ
СЕБЯ ГРЯЗИ*

ни физической, ни моральной.

Заведующий

Заведующий, по-видимому, бывший трактирщик.

Когда я переспрашивал, к какому комиссариату относится ограбленный бывший «замок», вокруг которого все опоганено, как водится, он (или его сосед — «член совета») дол-

го молчал; наконец нерешительно ответил, что это — «министерство народного просвещения».

«Замок» называется очень сложно — что-то вроде «экскурсионного пункта и музея природы» (так на воротах написано). Там должны поить чаем детей из школ.

Сегодня понаехало, по-видимому, много школ, но чаю не дали, потому что не было кипятку, — «не предупредили заранее». Учительнице пришлось вести детей в чайную, где ей очень неохотно дали чаю — за большие деньги.

В чайной пусто, почти нет столов, и граммофон исчез. Около хорошенькой сиделицы в туфлях на босу ногу трутся штуки четыре наглых парней в сапогах, бывших шикарными в 1918 году. Тут же ходят захватанные этими парнями девицы.

Ольгинская часовня уже заколочена. Сохранились на стенах прошлогодние надписи, русские и немецкие.

Из двух иконок, прибитых к сухой сосне, одна выкрадена, а у другой — остался только оклад. Лица святых не то смыты дождем, не

то выцарапаны.

На берег за Ольгиным выкинуты две больших плоскодонных дровяных барки, куски лодок, бочки и прочее. Как-то этого в этом году не собирают — вымерли все, что ли?

Загажено все еще больше, чем в прошлом году. Видны следы гаженья сознательного и бессознательного.

«Ох, уж совет, — говорит хорошенькая сиделица. — Ваш совет уничтожить надо». И прибавляет сонно: «А Кронштадт второй день горит, кажется, форт Петр».

Действительно, из Кронштадта утром шел бурый дым — последствие взрыва сегодняшней ночи: в 2 часа дом наш потрясся; на улице был ветер, в море, вероятно, шторм. И, однако, черное рогатое облако, поднявшееся в стороне Кронштадта, долго не расходилось — так тяжел этот черный дым, что ли?

Никто ничего не хочет делать. Прежде миллионы из-под палки работали на тысячи. Вот вся разгадка. Но почему миллионам хотеть работать? И откуда им понимать коммунизм иначе, чем — как грабеж и картеж?

13 июля

Из предисловия проф. Зелинского к «Сафо» Грильпарцера: «Левкадская» скала, с которой Сафо бросилась в море, — «белая» скала. Ее свойство — даровать человеку забвение того, что делает его жизнь невыносимой. «Черным по белому» пишет память. «На белом камне белая черта», — говорили древние греки о неразличимом. Белый цвет — цвет забвения. «Белый кипарис» осеняет на том свете источник Леты, — его следует опасаться душе, учат орфические «книги мертвых». Мимо «белой скалы» ведет Гермес души покойников в «Одиссее» (XXIV, 11). Им надлежало забыть все земное и стать бессознательными; позднее их поили для этого из родника Леты. Белая скала находилась в Магнессии на Меандре, над речкой Летеем; она, и здесь сопоставлена с водой забвения. По-видимому, с этой «белой скалы» хотел броситься в седые волны Анакреонт, терзаемый любовью (в одном своем стихотворении). Белая скала даровала забвение не только от любви, преступников также сбрасывали с нее в воду чтобы они волною забвения очистились от греха.

Силен Еврипида сравнивает усладу вина, дающую забвение от забот, с исцеляющим прыжком с белой скалы. И Девкалион бросился с белой скалы.

Дневник 1920 года

<Лето> НЕИЗДАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ ПОЛОНСКОГО (1819–1898)

(Альманах «Творчество», 2, Москва-Петроград, 1918, стр. 5–8).

*Ты моя раба, к несчастью!..
Если я одною властью,
Словно милость, дам тебе —
Дам тебе — моей рабе,
Золотой свободы крылья,
Ты неволю проклянешь
И, как дикая орлица,
Улетишь и пропадешь...*

*Если я, как брат, ликуя,
И любя, и соревнуя
Людям правды и добра,
Дам тебе, моя сестра,
Золотой свободы крылья,
Ты за всё меня простишь*

*И, быть может, как голубка,
Далеко не улетишь?!*

(Из тетради 50-х годов)

*Когда я люблю,
Мне тогда не до песен,
Когда мир любви мне становится
тесен,
Тогда я пою!*

(Студенческие годы)

*Где ты, наивных лет мечта
И сердца чистое виденье:
Языческая красота
И христианский луч смиренья?!*

1851

*Я часто сердцем разумею,
Я часто думаю умом.*

1851

*Когда я слышу твой певучий голо-
сок,
Дитя, мне кажется, залетный ве-
терок
Несет ко мне родной долины зву-
ки,
Шум рощи, колокол знакомого се-*

ла
И голос той, которая звала
Меня проститься с ней в послед-
ний час разлуки.

1851

Не сердце разбудить, не праздный
ум затмить
Не это значит дать поэту вдох-
новенье.
Сказать ли Вам, что значит
вдохновить?
Уму и сердцу дать такое настрое-
нье,
Чтоб вся душа могла звучать,
Как арфа от прикосновенья...
Сказать ли Вам, что значит
вдохновлять? —
Мгновенью жизни дать значенье,
И песню музы оправдать.

1856

Жизнь наша — капля, канет
жизнь
В бездонный океан забвенья, —
И где тогда наш славный труд,
Все наши грезы и сомненья?!

*Возникнет город на костях,
Где был чертог — пройдет дорога
И вихрь подымет пыль, смешав
Прах нищего и полубога.*

1888

В альбом Г... В...

*И дождь прошумел, и гроза уня-
лась,
А капли всё падают, падают...
Смыкаю глаза я, ночник мой по-
гас,
Но прежние грезы в полуночный
час
Не радуют душу, не радуют...*

*И дрогнет душа, потому что она
Несет две утраты тяжелые:
Утрату любви, что была так
полна
Блаженных надежд в дни, когда
мать-весна
Дарила ей грезы веселые;*

*Другая утрата — доверчивый
взгляд
И вера в людей — воспитавшая*

*Святую мечту, что всем людям
я брат,
Что знанье убьет растлевающий
яд
И к свету подымет все падшее.*

1888

2 сентября

Очень развитой глаз видит на северном небе более 5000 звезд. В телескоп видно до 1 200 000 000.

Каждая из звезд есть солнце и, вероятно, окружена своими планетами.

Наша солнечная система несется к созвездию Геркулеса со скоростью 3–7 миль в секунду. Мы приближаемся к звезде Вега со скоростью 11 миль в секунду.

Земля — одна из небольших планет солнечной системы. Вся звездная куча, в которой летит земля, есть одна из бесчисленных систем, и размеры нашей — ничтожны, они выражаются лишь в миллионах миль.

Диаметр и масса солнца превосходят диаметр и массу всех вместе взятых планет системы.

Солнце и планетная система, по теории Канта — Лапласа, представляла вращающуюся массу газов, первобытную космическую туманную массу. Когда жар ее стал остывать, когда она стала охлаждаться, она сократилась до объема солнца. Внешние слои охлаждались и сокращались быстрее, отрываясь от главной массы кольцами. Кольца разрывались и образовали планеты.

(Неймайр, I, 60–65)

<22 октября>

Вечер в клубе поэтов на Литейной, 21 октября, — первый после того, как выперли Павлович, Шкапскую, Оцуца, Сюннерберга и Рождественского и просили меня остаться.

Мое самочувствие совершенно другое. Никто не пристаёт с бумагами и властью.

Верховодит Гумилев — довольно интересно и искусно. Акмеисты, чувствуется, в некотором заговоре, у них особое друг с другом обращение. Все под Гумилевым.

Гвоздь вечера — И. Мандельштам, который приехал, побывав во врангелевской тюрьме. Он очень вырос. Сначала невыноси-

мо слушать общегумилевское распевание. Постепенно привыкаешь... виден артист. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только. Гумилев определяет его путь: от иррационального к рациональному (противуположность моему). Его «Венеция». По Гумилеву — рационально все (и любовь и влюбленность в том числе), иррациональное лежит только в языке, в его корнях, невыразимое. (В начале было Слово, из Слова возникли мысли, слова, уже непохожие на Слово, но имеющие, однако, источником Его; и все кончится Словом — все исчезнет, останется одно Оно.)

Пяст, топорщащийся в углах (мы не здороваемся по-прежнему). Анна Радлова невпопад вращает глазами. Грушко подшлепнутая. У Нади Павлович больные глаза от зубной боли. Она и Рождественский молчат. Крепкое впечатление производят одни акмеисты.

Одоевцева.

М. Лозинский перевел из Леконта де Лилля — Мухаммед Альмансур, погребенный в саване своих побед. Глыбы стихов высочайшей пробы. Гумилев считает его переводчи-

ком выше Жуковского.

Гумилев и Горький. Их сходства: волевое; ненависть к Фету и Полонскому — по-разному, разумеется. Как они друг друга ни не любят, у них есть общее. Оба не ведают о *трагедии* — о двух правдах. Оба (северо) — восточные.

Статья В. М. Алексеева о китайской литературе. Новые горизонты и простор для новых обобщений. Связь ее со «Всемирной литературой» и с тем, что есть в акмеизме.

Как всегда бывает, пока я записываю эти строки, звонит один из стоящих на страже моей — Р. В. Иванов, и предлагает председательствовать на заседании Вольфилы в годовщину ее, посвященном Платону. А я-то «уклоняюсь в Аристотеля»!

Рассказы Тихонова о загранице на днях. Полное прекращение революции в Европе (т. е. революции большевистской). Скандинавия ломится от товаров, люди семипудовые, полное равнодушие ко всему, пропорциональное поправение Стортинга (Брантинг удален потому, что замышлял кое-какие социальные реформы). Обращение с большеви-

ками там. Однако свобода печати (больше-
вистская газета печатается беспрепятственно
и имеет некоторое количество читателей).
Падение театра. Постройка целого города с
рабочими садами для типографии в Стокголь-
ме. Готовность печатать для России.

Англия переваривает войну иначе. Боль-
шая обеспеченность рабочих (в дни скачек
несколько фабрик стоят, потому что рабочие
уехали на скачки). Рядом с этим падение про-
изводительности на 20 % — потеря охоты «ра-
ботать на других». Социализация может про-
грессировать и в Англии, но в совершенно
иных формах, чем у нас (о чем говорил и
Уэллс в Смольном).

Когда русские (красные) подходили к Вар-
шаве, Ллойд-Джордж был за войну с Россией.
Тред-юньоны выступили с полной авторитет-
ностью против войны; но вовсе не против
войны с Россией; они выступили бы так же,
если бы им предложили воевать с кафрами,
неграми, — Европе вообще *довольно войны*.

Русскими вообще интересуются, но плохо
знают. Много говорится о большевистских
зверствах. Г-н Красин считается приличным

представителем, потому что он приехал с дочерьми, которые говорят по-английски. Как допрашивает полиция.

Германия оправляется от войны. Цены везде увеличились в два-три раза, не больше.

Прекращению большевизма в Европе много способствовали не только английские рабочие, побывавшие здесь, но и шведские, в ужасе возвращавшиеся домой, не добравшись до Урала, куда их наняли.

<7 ноября>

*Ты говоришь, рабом не будешь,
Молиться станешь мне одной,
Что век меня ты не забудешь,
Лишь только б я была с тобой.*

Не уверяй, брось!

И не целуй, брось!

И всё лишь обман, любви туман!

*К себе ты страсти не возбудишь,
Не верю я любви твоей!
Моим ты никогда не будешь,
И не отдам души моей.*

И т. д. Слова и музыка И. А. Бородина

Я степеней и воли дочь,
Я забот не знаю,
Напляшусь за целу ночь —
День весь отдыхаю.

Захочу — полюблю,
Захочу — разлюблю,
Я над сердцем вольна,
Жизнь на радость мне дана!

Наш отец — широкий
Дон, Наша мать — Россия!
Нам повсюду путь волен,
Все места родные!

Подари мне, молодец,
Красные сапожки!
Разорю тебя вконец
На одни сережки!

Сочинение Я. И. Шишкина

Все говорят, что я ветрена бываю.
Все говорят, что любить я не могу,
Но почему же я всех забываю,
Лишь одного я забыть не могу?

Многих любила, всех я позабыла,
Лишь одного я забыть не могу!
Но почему же я всех забываю,
И лишь его я забыть не могу?

Не отравляйте душу мне боль-
ную,
Не вспоминайте о нем, я вас мо-
лю!
Лучше в могилу кладите живую,
Я не скажу вам, кого я люблю.

(Цыганская)

Везде и всегда за тобою,
Как призрак, я тихо брожу,
И с тайною думой порою
Я в чудные очи гляжу.

Полны они негой и страстью,
Они так приветно глядят,
И сколько любви, сколько счастья
Они мне порою сулят.

Быть может, и время настанет,
С тобою не будет меня,
И в очи те чудные станет
Смотреться другой, а не я.

Другому приветно заблещут
Твои огневые глаза, —
И вспомнишь их, сердце трепещет,
И тихо струится слеза.

(Цыганский)

Я грущу, если можешь понять
Мою душу доверчиво-нежную,
Приходи ты со мной попенять
На судьбу мою бурно (странно)
мятежную.

Мне не спится в тоске по ночам,
Думы мрачные сон отгоняют,
И горячие слезы к очам,
Как в прибое волна, приливают.

Как-то странно и дико мне жить
без тебя,
Сердце лаской любви не согрето.
Но мне правду сказали, что будто
моя
Лебединая песня пропета.

(Музыка М.Я. Пуаре; В.Панина)

Не уходи, побудь со мною,
Здесь так отрадно, так светло.

*Я поцелуями покрою
Уста, и очи, и чело.*

*Не уходи, побудь со мною,
Я так давно тебя люблю.
Тебя я лаской огневою
И обожгу и утомлю.*

*Не уходи, побудь со мною.
Пылает страсть в моей груди,
Восторг любви нас ждет с то-
бою,
Не уходи, не уходи.*

...

*Если жизнь не мила вам, друзья,
Если сердце терзает сомненье,
Вас рассеет здесь песня моя,
В ней тоски и печали забвенья.*

*Дай, милый друг, на счастье руку,
Гитары звук разгонит скуку,
Забудь скорее горе злое,
И вновь забьется ретивое.*

*Наливайте бокалы полней,
Позабудем о жизни тяжелой,
И под звук моей песни веселой*

Вам покажется жизнь веселей.

*Я спою вам, друзья, про любовь,
Всех страданий виновницу злую,
Каждый вспомнит свою дорогую,
И сильнее заболит ваша кровь...*

...

*Дремлют плакучие ивы,
Низко склонясь над ручьем,
Струйки бегут торопливо,
Шепчут во мраке ночном.*

*Думы о прошлом далеком
Мне навевают они,
Сердцем больным, одиноким,
Рвусь я в те прежние дни.*

*Где ты, голубка родная,
Помнишь ли ты обо мне?
Так же ль, как я, изнывая,
Плачешь в ночной тишине?*

...

*Джень дем мэ препочто,
Джонь дем мэ провавир
Имел мэ, имел мэ сила зуралы.
Эх, распашел тум ро,*

*Сиво граи пошел,
Ах, да распашел, хорошая моя!*

*Поденьте, поденьте бокалы про-
скалинт.
Чевеньте, чевеньте бравинта сэг-
эдых...*

*Карин мэ наджава, карин мэ не
пойду,
Кэ ей проминутка мэ саж завер-
ну...*

*Черные очи, белая грудь
До самой зари мне покоя не дают.*

*Налейте, налейте бокалы вина,
Забудем невзгоды, коль выпьем до
дна...*

...

*Я вам не говорю про тайные стра-
данья,
Про муки страстные, про жгучую
тоску,
Но вы всё видите, прелестное со-
зданье,
И руку ласково вы жмете бедня-*

ку.

*В вас нет любви ко мне, но вы душою нежной,
Душою женственной умеете щадить
Разбитые сердца и дружбой безмятежной
Мятежную любовь хотите усыпить.*

*Но если б знали вы, как сильно сердце бьется
(стонет?), Какая боль в груди, какой огонь в крови,
Когда мой робкий взгляд во взгляде вашем тонет,
Лишь дружбу видит в нем и тщетно ждет любви!*

...

*Быть может, и мы разойдемся,
И бог весть, сойдемся ли вновь.
Быть может, и мы посмеемся
Над тем, что будила любовь.*

*Но пусть и любим я не буду,
Другие тебя увлекут,*

*Но верь, я тебя не забуду
За несколько светлых минут.*

*Быть может, не в силах бороться
Мне будет с тоской о тебе,
Быть может, вся жизнь разо-
бьется,
И дух мой угаснет во мне (в борь-
бе?),*

*Но пусть и в живых я не буду,
Пусть труп мой в могилу кладут,
И там я тебя не забуду
За несколько светлых минут.*

(Это научил меня любить в молодости Ко-
ка Гун. Кажется, было записано в его альбоме,
и сам он писал это в альбом какой-то девуш-
ке.)

*Забыты нежные лобзанья,
Уснула страсть, прошла любовь,
И радость нового свиданья
Уж не волнует больше кровь,*

*На сердце гнет немых страданий,
Счастливых дней не воротить,
Нет сладких грез, былых мечта-
ний,*

Напрасно верить и любить.

*Так ветер всю красу наряда
С деревьев осенью сорвет
И по тропам унылым сада
Сухие листья разнесет.*

*Их далеко разгонит вьюга,
Покрывши снежной пеленой,
Навек разделит друг от друга,
Крутя над мерзлую землей.*

(Музыка А. Ленина)

*Жалобно стонет ветер осенний,
Листья кружатся поблекшие.
Сердце наполнилось тяжким со-
мнением,
Помнится счастье утекшее.*

*Помнятся вешние песни веселые,
Нежные речи приветные,
Очи лазурные, рученьки белые,
Ласки любви бесконечные.*

*Всё, что бывало, любил беззавет-
но я,
Всё, во что верилось мне, —
Все эти ласки и речи приветные*

Были лишь грезы одни.

Грезы, — так что же, к чему пробуждение?

Осень, и холод, и тьма,
Или исчезла пора увлечения,
Счастье, любовь без ума?

Или исчезли навеки дни счастья,
И осужден я судьбой
Жить без любви и без слова участия,
Жить с моей старой тоской?

«УГОЛОК»

Слова В. Мазуркевича

Дышала ночь восторгом сладострастья,
Неясных дум и трепета полна,
Я вас ждала с безумной жаждой счастья,
Я вас ждала и млела у окна.

Наш уголок я убрала цветами,
К вам одному неслись мечты мои,
Мгновенья мне казались часами,
Я вас ждала, но вы... вы не при-

шли...

*Мне эта ночь навяла сомненья,
И вся в слезах задумалась я.
И вот теперь скажу без сожаленья:
Я не для вас, а вы не для меня!*

*Любовь сильна, но страстью поцелуя!
Другой любви вы дать мне не могли.
О, как же вас теперь благодарю я
За то, что вы на зов мой не пришли!*

...

*Да, я влюблен в одни глаза,
Я увлекаюсь их игрою!
Как хороша их глубина!
Но чьи они, я не открою.*

*Едва в тени густых ресниц
Блеснут опасными лучами,
И я готов упасть уж ниц
Перед волшебными глазами!*

В моей душе растет гроза,

*Растет, бушуя и ликуя!
Да, я люблю одни глаза,
Но чьи они — не назову я!*

...

*Я тебя бесконечно люблю,
За тебя я отдам мою душу,
Целый мир за тебя погублю,
Все обеты и клятвы нарушу.*

*Для меня ты на небе звезда,
Твоего только жду приговора,
Оторвать не могу никогда
От тебя восхищенного взора.*

*Я тебя ведь, как бога, люблю,
Пред тобою одним лишь немею.
Я тебя бесконечно люблю
И, увы, разлюбить не умею.*

(Слова В. Мятлева, музыка К В. Зубова)

Все это переписано 7 ноября из «Полного сборника романсов и песен в исполнении А. Д. Вяльцевой, В. Паниной, М. А. Каринской». Еще бы найти: «Как хороши те очи...», потом — «Колокольчики, бубенчики», где сказано: «Бесконечно жадно хочется мне жить!».

8 ноября

Лазарь Васильевич Мартынов, сибирский крестьянин, 22-х лет, матрос, учится в консерватории у Исаченки и служит сотрудником в Большом драматическом театре:

*Я был на тюремном свиданье
(Любовных свиданий там нет.
Там горе одно и страданье
На всё наложили свой след).*

Поет про море, про цветы («душа поэта»).

*В длинной юбке со цветами,
С мотылочками на ней,
Увлекается садами
(Как идет всё это к ней).
Если дернуть вдруг за юбку,
Сразу свалится она...
...трубку ...
да бутылочку вина.*

To Sally[91]

*Я хочу лететь к тебе
Мотылочком-невеличкой
И вопрос задать тебе:
Ты, Sally, будешь большевичкой?*

...

*А когда восходит солнце,
Это прелести одне,
Всюду отблески червонца
Рассыпаются в волне...*

(Из «Песни матросов»)

*Небовых лишь седин,
Вдаль простерших свой хвост...*

Эти строчки мне запомнились наизусть.

9 ноября

Уэллс, сидя в квартире Горького, написал дополнение к автобиографии за годы войны. Удивительно, сколько он написал за это время, и все — социальный вопрос. В одном из романов он описывает страну, дошедшую вследствие войны до одичания, голода и анархии. Считая события нашего времени великими, он теперь думает более всего о воспитании молодых поколений в духовном интернационализме. Он написал историю, составленную с /^националистической точки зрения, — так, по его мнению, ее нужно преподавать во всех странах — единообразно. В конце заметки он пишет, что Россия, обни-

щавшая и голодная под влиянием царского режима и «отвратительной» политики Антанты, не умерла, но представляет из себя удивительнейшую страну в мире. Здесь он разговаривал с Лениным и Троцким. Он будет способствовать сближению Англии и России, столь далеких друг от друга в настоящее время.

16 ноября

На днях в председатели *Всероссийского профессионального союза писателей* выбрали все-таки *М. Горького*, хотя и с массой оговорок. Волковысский рассказал, как разделились голоса в Москве: А. Белый, Бердяев и Шпет горячо протестовали против Горького. У нас без оговорок были только А. В. Ганзен и Чуковский. Волынский своего хода мыслей не изложил, Замятин, Губер, Ирецкий, Волковысский, Мазуркевич и я говорили помногу.

* * *

Вечер у *Браза*. *Холличер* (Herr Hollitscher?) — венгерец, 55-ти лет, теперь работает в немецких и американских газетах. С красной звездой, низким лбом, густыми, се-

деющими и вьющимися волосами, глубоко спрятанные суровые и добрые глаза на широком лице. Вечер состоял в том, что мы «жаловались», а он спорил против всех нас.

«Не желайте падения этой власти, без нее будет еще гораздо хуже». «Народ угнетали всегда, теперь он угнетает нас». «Через три года наступит или полное одичание, или небывалая жизнь». «Правы те, кто теперь на врагелевском фронте». «Простой народ, когда его угнетали, говорил о боге; мы, когда нас угнетают, говорим о том, что нам больно. Потому что цивилизованные люди ни во что не верят. Впрочем не все». «Я не коммунист, а анархист, но работаю с коммунистами, считая коммунизм ступенью к анархизму». «Как жаль, что русская интеллигенция так развращена. Из всего этого (т. е. из наших слов) я вижу, что нужно два-три поколения (чтобы сменились)...» «Коммунизм не политическая экономия только, это — метафизика и мистика».

Около пяти часов подряд он печально возражал, часто сердясь, — тогда его голос становился металлическим и немного крикливым. «Начало настоящего коммунизма — не 25-е

октября, а первый субботник. Ясно, чтобы поднять страну, доведенную до этого царем и войной, нужно без отдыха работать. Здесь никто ничего не делает. Власть, работающая за десятерых каждый, не виновата, что столько маленьких воров вокруг. Контроль, по мере удаления от центра, слабеет». — В конце вечера я уже не находил возражений, тем более что сосед мой и хозяин дома все более увлекался собственным красноречием, рисуя, отнюдь не привлекательные для меня картины буржуазного мира... Но... во что лее у вас верить, дорогой Негг Hollitsher?

Шаляпин е Еремке («Вражья сила» Серова) достигает изображения пьяной наглости, хитрости, себе на уме, кровавости, ужаса русского кузнеца. Не совсем только, не хватает заурядности, он слишком «Шаляпин», слишком «Мефистофель» вообще местами, а не заурядный русский дьявол.

В Германии, говорит *Холличер*, готовится то же самое. Фабриканты предпочитают закрывать фабрики, чтобы не платить огромных денег рабочим и огромных налогов. В минуту, когда здесь тронут Ленина, в Берлине

потухнет свет и остановится водопровод. «Если мы уйдем, — сказал Троцкий, — мы так хлопнем дверь, что вся Европа затрясется».

22 ноября

В поисках легкой и веселой комедии, которой жаждет вся наша труппа.

«Un monsieur, qui suit les femmes» — Вольф, II, 181.

Аверкиев. Фрол Скобеев, т. I — Вольф, III, 39, Гнедич в сборнике исторической секции, 41.

«Сидоркино дело», т. III-Вольф, III, 72.

Барьер и Мюрже. Богема, комедия в 5 действиях, перевод с французского В. Саблина (литографированное издание Рассохина, М., 1899).

«Дядька в затруднительном положении» — Вольф, II, 165.

Анри Бекк.

«Трактирщица» Гольдони.

Лопе де Вега. Собака садовника (Собака на сене).

Дюма-сын. Le demi-monde — Вольф, III, 155 и ел.

Погосский.

Пальм.

Ф. Мельяк. Фру-Фру.

Скриб. Рассказы королевы Наваррской.

Сарду. Madame «с сажень». Andria — Вольф, III, 60.

«Адвокат Пателен».

«Испанский дворянин» («Дон Сезар де Базан») — Вольф, II, 174 и III, 11.

«Les folies dramatiques» — Вольф, II, 174.

«Лев Гурыч Синичкин»- 5 действий.

Вечер старинных водевилей.

«Вот так пилюли» — «Репертуар и Пантеон», 1842.

«Заколдованный принц карликов» — Вольф, II, 115, Гнедич в сборнике исторической секции — 7.

Тирсо — Благочестивая Марта.

«Русская свадьба» — Сухонина.

Уайльд. Идеальный муж. Веер лэди Уиндермер.

«Плоды просвещения».

«Женитьба Белугина».

Баяр. Le mari a la campagne — Вольф, II, 111; искать перевод (у меня есть указания).

Барьер. Les jocrisses de l'amour — Вольф, III,

157–158.

«Les memoires du diable» — Вольф, II, 103;
«Репертуар и Пантеон», 1842, № 11.

12 декабря

ШЕКСПИР

1564 — рождение. Old merry England.[92]

1582 — женитьба на Анне Гесуэ (18 лет ему).

1583–1585-трое детей.

1585–1587. Уехал из Стратфорда в Лондон.
«Браконьерство». Актер. Сначала — присматривал за лошадьми или помощник суфлера?

1593–1594. «Венера и Адонис» и «Лукреция».

1596 — смерть единственного сына Гамнета.

1597 — покупка большого дома в Стратфорде.
1599 — получил дворянский герб.

1601 — смерть отца. Гибель Эссекса и Соутгемптона.

1602 — покупка земли под Стратфордом.

1603 — смерть королевы Елизаветы.

1607 — выдал замуж старшую дочь.

1608 — смерть матери.

1616 — смерть.

37 драм

1591 или около: «Тит Андроник». «Король Генрих VI» (I часть). «Два веронца». «Комедия ошибок».

1592 — «Король Генрих VI» (II часть). «Бесплодные усилия любви». «Ромео и Джульетта». «Король-Генрих VI» (III часть).

1594 — «Усмирение строптивой». «Король Ричард III».

1595 — «Венецианский купец». «Сон в Иванову ночь».

1596 — «Король Джон». «Король Ричард II».

1597 — «Король Генрих IV» (I часть).

1598 или около — «Конец делу венец». «Король Генрих IV» (II часть).

1599 — «Много шуму из ничего». «Король Генрих V».

1600 — «Виндзорские кумушки».

1601 — «Двенадцатая ночь». «Как вам это нравится».

1602 — «Гамлет».

1603 — «Юлий Цезарь». «Мера за меру».

1604 — «Отелло».

1604–1605 — «Король Лир».

1606 — «Макбет».

1607 — «Тимон Афинский».

1608 — «Антоний и Клеопатра». «Перикл».

1609 — «Троил и Крессида». «Кориолан».

1610 — «Зимняя сказка». 1610–1611 — «Цимбелин».

1611 — «Буря».

1613 — «Король Генрих VIII».

Первый период: 1590–1594 — Подражательность и очарование жизнью (?).

Второй период: 1594–1601 — Беззаботность. «Фальстафовский».

Третий период: 1601–1609 — «Душевный мрак» (?). «Гамлетовский».

Четвертый период: 1609–1616 — Примиренность (!).

13 декабря

Вчерашнее экстраординарное соединенное заседание режиссерского управления и местного комитета в театре по поводу заявления Юрьева об уходе.

Конечно, очень тяжело. Юрьев очень много ломался над всеми два года. Ломался гораз-

до больше, чем имел право по своим размерам. И вот всеобщее озлобление сказалось. Люди вопили от ярости (конечно, в воплях было много и актерского). «Благородство» и «ревность о доме» во всех таких случаях внушает мне не полное доверие, я всегда вижу что-то второе, не слишком казистое (как среди актеров, так и среди литераторов). Вообще, когда патетически говорится о нравственности, она в большей опасности.

Я нашел в себе силу указать на свою точку зрения: считая поступки Юрьева возмутительными и разделяя мнения присутствующих, я хотел бы, однако, чтобы кара была мягче, ограничилась бы воздействием товарищей, местного комитета, общего собрания, «профсоюза» даже, прессы даже — только чтобы дело не дошло до «милиции», потому что Юрьев — художник, а искусство с воздействиями какой бы то ни было власти несовместимо.

За это я претерпел нападение Монахова, Лаврентьева, Старостина и Андреевой. Лаврентьев вопил, что Юрьев вовсе не художник, а только работник, что всем, что он дал, он

обязан тому окружению, которое дал ему театр. Мысль, не лишенная доли истины, но чувствуется личная обида. Андреева, по обыкновению, выплюнула на меня всю свою злобу... на этот раз лучшей ее язвой было — обозвать меня «зрителем», У Крючкова злобно косился рот. Старостин по-мужицки сказал, что Юрьев, хоть и художник, досадил всем столько и все столько от него терпели, что щадить его не стоит. Общее мнение было таково, что надо устроить, чтобы не он ушел, а его с позором ушли.

Я не раскаиваюсь в том, что оказался в роли защитника, хотя и очень слабого, но услышанного, Юрьева, которого вовсе не обожаю. Однако же дело обойдется для Юрьева без полиции не благодаря мне, а благодаря тому, что на днях Крючков, совместно с «профсоюзом», потерпел жестокую неудачу на этом деле в опере. Именно: Мозжухину не дали той же красной строки, и он отказался петь. Милиция привела его в театр. Он все-таки не пел. У него разлилась желчь, и он стал героем, «пострадав» и получив много сочувствий от труппы и публики.

Юрьев хотя и слабый, но представитель классической традиции в театре. Классика, в отличие от романтики и натурализма, состоит в том, что дается зрителю твердый каркас, такие зрители, как я, умеющие смотреть, украшают этот каркас любимыми узорами; вот я и украшал Юрьева и сразу отличил его от всех других, как предмет, годный для украшения, когда в первый раз пришел на «Дон-Карлоса» в Большой драматический театр, еще не служа там. Юрьев говорит, движется, гримируется, носит себя так, что фантазии зрителя просторно. Вот почему он — художник. Есть совершенно обратное — наполнять себя содержанием, которое достойно того, чтобы его воспринимал зритель. Это делают актеры обратного типа. В отношении Позы мы и хотим пробовать в этом направлении (с Мичуриным!).

Вчитываясь в «Карлоса» с целью указать новому составу путь возможных уклонений от игры прежних исполнителей и поговорив об этом с Лаврентьевым (как всегда, отрывисто, полунамеками), — я пришел к следующе-

му.

Всего прочнее позиция Монахова. Он плохо забывается, когда перечитываешь драму. У него многое от Шиллера. Тем не менее можно попытаться, не нарушая Шиллера, придать Филиппу черты менее «благообразные», более отталкивающие, отвратительные, слюнявые, старческие, острые, жестокие. Вспомнил де-Костеровского Филиппа.

Карлоса в театре, конечно, не было и тени, о чем, к сожалению, нельзя говорить труппе. Чего же требовать от г. Максимова?

Карлос — чист, необыкновенно юн и попадает в странные положения, не то, что неудачливые или ложные, но близко к тому. Он постоянно разочаровывается, постоянно ломают ему душу, причем он еще и пассивен по сравнению с Позой. Однако гамлетизма в нем вовсе нет. Это — юноша, которому суждено не жить, а погибнуть, на всех его делах — печать этого.

Поза (новый, не «классический») должен быть наполнен содержанием большим чем его слова; сила убеждения разлита в нем; он и наивнее, и проще, и, может быть, даже менее

красив, и вместе — общественнее.

Он воспитывает и держит Карлоса так же, как великий инквизитор — Филиппа; но до какой степени противоположны эти воздействия и влияния!

Сила добра и сила зла. Так купаться в лучах этого добра может только человек, так легко и широко дышащий, как Шиллер. В литературе почти нет подобных образцов естественного, непринужденного изображения добра, — вот в чем сила Шиллера. Он сам — Поэза.

Еще о Филиппе: монаховский Филипп — величавый король, который теряет равновесие в течение этой драмы. Можно сыграть давно потерявшего равновесие, «сладоэстрастно» ищущего опоры («человека»), самого себя обманывающего старика.

* * *

Большой старый театр, в котором я служу, полный грязи, интриг, мишуры, скуки и блеска, собрание людей, умеющих жрать, пить, дебоширить и играть на сцене, — это место не умерло, оно не перестало быть школою жизни, пока жизнь вокруг стараются убить.

Разные невоплощенные Мейерхольды и многие весьма воплощенные уголовные элементы еще всё сосут, как пауки, обильную русскую кровь; они лишены творчества, которое ведь требует крови («здоровая кровь — хорошая вещь»), поэтому они, если бы и хотели обратного, запутывают, стараются опутать жизнь сетью бледной, аскетической, немощной доктрины. Жизнь рвет эту паутину весьма успешно, у русских дураков еще много здоровой крови. Когда жизнь возьмет верх, тогда только перестанет влечь это жирное, злое, вислое и не очень-то здоровое гнездо, которому имя — старый театр.

16 декабря

*Der Mensch ist nicht geboren, frei zu
sein,
Und fer den Edlen ist kein schnner
Glbck,
Als einem Fbrsten, den er ehrt, zu
dienen.*

(Goethe. «Т. Тассо», 930–932). 24 декабря

24 декабря

С месяцц тому назад *Мейерхольд* поручил мне рассмотреть пять премированных московским Театральным отделом революционных пьес, с целью указать, годны ли они к печати.

Все пьесы — весьма любопытные человеческие документы; тем не менее все они не театральны, а литературную критику может выдержать только одна «Захарова смерть», драма в 4-х действиях Александра Неверова.

«Захарова смерть» — бытовая драма, написанная хорошим литературным языком, очень правдиво изображает некоторые черты современной деревенской жизни. В стариках, носителях старого уклада жизни, автор подчеркивал главным образом отрицательное, соответственно заданию, но художественное чутье все-таки заставило его быть правдивым, и старики вышли неправыми, но милыми и живыми. Носители нового — сбившиеся с пути бабы, девки, мужики и казаки; герои пьесы — Григорий и Надежда, на словах. — светлые личности, ищущие нового, на деле — пока только разрушающие ста-

рую жизнь: Григорию удалось по ходу пьесы пока только уморить родителей, сойтись с чужой женой и убежать от белых. Никаких дальнейших перспектив автор не открывает, но он верен бытовой правде; поэтому его драма оставляет у читателя доброе и грустное впечатление, позволяя ему сделать какой угодно вывод и не насиловать его совести; а так как совесть влечет человека к новому, если над ней не производится насилия, и обратно — неизбежно умолкает под гнетом насилия, и тогда человек все прочнее утверждает в старом, — то следует признать, что г-ну Неверову удалось, не давая никаких словесных обещаний и не скрывая печальной правды, склонить читателя к новому.

Такова судьба всякого подлинного литературного произведения.

Да, эта моя мысль, так выраженная, ясна и хороша не только для рецензии. Еще раз: (человеческая) совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого, но умирающего и разлагающегося — в пользу но-

вого, сначала неуютного и немилрого, но обещающего свежую жизнь.

Обратно: под игом насилия человеческая совесть умолкает; тогда человек замыкается в старом; чем наглей насилие, тем прочнее замыкается человек в старом. Так случилось с Европой под игом войны, с Россией — ныне.

Дневник 1921 года

3 января

Новый год еще не наступил — это ясно; он наступит, как всегда, после Рождества.

В маленьком пакете, спасенном Андреем из шахматовского дома и привезенном Феродем осенью: листки Любиных тетрадей (очень многочисленные). Ни следа ее дневника. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архива, повестки, университетские конспекты (юридические и филологические), кое-какие черновики стихов, картинки, бывшие на стене во флигеле.

На некоторых — грязь и следы человеческих копыт (с подковами). И все.

4 января

1 января не было ничего, кроме мрачной тоски. 2-го на «Венецианском купце» — мрачайшие слухи о московском съезде и о русских за границей (униженных). 3 января окончена разборка архива моего (новогоднего). Днем — Е. Ф. Книпович, которая была в прошлом году самым верным другом нашей несчастной квартиры. Вечером была Павлович, я видел ее мельком. Сегодня — на Моховой и в домовом комитете за продовольственными карточками. Все, что я слышу от людей о Горьком, все, что я вижу в г. Тихонове, — меня бесит. Изозлился я так, что согрешил: маленького мальчишку, который, по обыкновению, катил навстречу по скользкой панели (а с Моховой путь не близкий, мороз и ветер большой), толкнул так, что тот свалился. Мне стыдно, прости мне, господи.

В. М. Алексеев докладывал сегодня о литературной жизни Англии по «Athaeneum»'у за 1920 год. И это было мрачно. С. М. Алянский звонил: он обвенчался в синагоге; в синагоге, как следует, торжественно; второе — о Лурье

ни слуху ни духу, вечер останавливается из-за него; третье — г-н Ионов соизволил позволить печатать III том. Я позволю это только Алянскому.

5 января

Е. Ф. Книпович принесла нам елку. — М. Э. Павлова, М. И. Бенкендорф.

Вторая (открытая) генеральная «Синей птицы». Как это выпивает всего — мелькание театральное. Как я вообще устал.

* * *

В чистом виде, или по крайней мере в книге «Lessectes et societfts secrets du compte de Conteulf de Cantelen, edit. 1780, Paris» (?), легенда гласит:

Первый созданный Демиургом (богом Адонаи) ангел Денница не желал уступить никому первенства, за что был свергнут с неба. Бог создал людей — Адама и Еву, и поселил их в Эдеме. Денница, тоскующий о небе, пролетал над Эдемом и увидел Еву. Плодом их любви был Каин. Его свободная душа, искра Денницы, была бесконечно выше души раба Авеля, сына раба же — Адама. Но Каин был добр к

Авеля и служил опорой немощной старости Адама. Бог из ревности к гению Денницы изгнал Адама и Еву из Эдема (?). Адам и Ева за это возненавидели Каина и всю любовь перенесли на Авеля, который отвечал презрением и гордостью на любовь Каина. У братьев была сестра Аклиния, связанная с Каином любовью, но ставшая супругой Авеля, по воле ревнивого бога (?). Бог боялся свободной души Каина и не желал ему потомства. Каин в нетерпении убил Авеля, бог проклял его. Каин посвятил себя и все свое потомство от Аклинии на служение потомкам Адама и Авеля. Он научил их земледелию, его сын Енох — семейной жизни, внук Ламех — общественной жизни и музыке, правнук Тувалкуин — плавлению металлов, его сестра Ноэма — пряже и тканью; дальнейшие потомки — письму и чтению. Но все потомки Каина были печальны, сознавая несовершенство своих дел и не будучи в состоянии проявить свет Денницы до конца вследствие проклятия Адонай.

Правнуком Тувалкуина был *Адомирам*, строитель Соломонова храма, посланный Соломону добрым царем тирским Хирамом.

Из этой легенды профессор Мишеев сделал драму в 4-х действиях и 12-ти картинах — «В дни царя Соломона», с эпиграфом «Есть конец страданью, нет конца стремленьям (?)», посвятил Горькому и потрафил моде: «человек» (потомок свободного Денницы) гибнет от царя (остающегося, как и бог, в дураках), но «правда торжествует». Царица Савская Балкис, конечно, влюбилась в Адонирама (хотя Соломон влюбился в нее). Есть ряд эффектных ролей и положений. Нельзя отказать пьесе в интересности, но жаль, что в ней так много для карьеры, для моды и много пошлостей.

Этот профессор Мишеев — талантливый, пошлый, бестактный поляк, неумный, но очень сметливый господин, служил у нас в театре год назад по литературной части. Выпер его Лаврентьев. Мишеев, по его словам, знал моего отца. Карьерист. Горький, читая пьесу, все время поправлял слог, как он делает это всюду.

6 января (24 декабря, Сочельник)

Письма и посылка от Н. А. Нолле. Н. А. Пав-

лович принесла елку. Телефон, письмо.

Очень тяжело: ссоры с Любой, подозрения относительно ее. С мамой тоже. К ночи — разговор с Любой, немного помогший. Мои артериосклерозы.

7 января (25 декабря, Рождество)

Хороший день. Люба вселится в гостях у Дельвари. Последнее чтение «Тассо» Гёте. — Вечером — Л. А. Дельмас.

8 января

Окончено последнее чтение «Тассо» Гёте.
ГЁТЕ. «ТОРКВАТО ТАССО»

(Перевод В. А Зоргенфрея)

*Талант растет в тиши уедине-
нья,*

Характер образуется в борьбе.

(304–305)

*Людей боится, кто не знает их,
А кто от них бежит, тот знать
не может.*

(310–311)

...я не одержим

Неистовым влечением к свободе.
Не для свободы создан человек,
Для благородного удела нет
Прекраснее, чем служба государю,
Которого он чтит.

(928–932) (Тассо).

Тассо

Век золотой — куда он отлетел?
Его напрасно жаждут все сердца.
Тот век, когда свободно по земле
Людей стада блаженные бродили;
Когда под сенью дуба векового
Луг тешил взор пастушке с пас-
тухом, —
И зарослей весенние побеги
Приютом были пламенной люб-
ви;
Когда в струях прозрачного пото-
ка
Резвилась нимфа на песчаном дне;
Когда в траве скрывался боязливо
Безвредный гад, и дерзкий фавн
встречал
Бестрепетного юноши отпоры;
Когда и зверь в долинах и горах,
И птица в воздухе вещала людям:

Позволено, что нравится тебе.

Принцесса отвечает, что «добрые» воссоздадут золотой век, который существовал не более, чем теперь; если он был, он может и повториться.

*И ныне наслажденье красотой
Связует много родственных сердец;
И лишь девиз нам должно изменить:
Позволено то, что пристойно,
друг.*

(979-1006)

Декабрь 1920

Перевод довольно близок к подлиннику. Число стихов оригинала. Утечки образов мало. Соблюдаются по мере возможности мужские и женские окончания (кое-где переставлены). Редактируется по юбилейному изданию (Goethes Samtliche Werke... 12-er Band).

В переводе Яхонтова число строк не соблюдено, текст удлиннен. Мужские и женские окончания соблюдены в гораздо меньшей степени.

EIN[93]

1) Папа умеет приносить пользу родным, и он усердно служит труду; таким образом, он *разом* (mit *einer* Sorge) исполняет два долга (Антонио).

2) Образы живого мира стройно обращаются вокруг *одного* мудрейшего человека (Тассо).

3) *Одна* страна соединила всех (Тассо).

4) *Один* взгляд, встретившийся со взглядом принцессы, исцелил от страсти (Тассо).

5) Неужели в *одной* сестре были все совершенства для принцессы (Тассо).

6) *Одной, одной* я обязан всеми своими стихами (Тассо).

7) Смири мое неистовство *одним* взглядом (Тассо — Альфонсу).

8) Слова Леоноры: Антонио и Тассо враги потому, что природа не создала из них *единого*. «В *одном* лице счастливы и могучи и радостны прошли бы жизнь они».

9) Слова Альфонса к Тассо:

*Не оскорбляй усердием чрезмерным
Природы, что живет в твоих сти-*

*хах,
Не слушайся советов посторонних!
Многообразны мысли тех, кто в жизни
И в мнениях не сходны меж собой,
Но мудро сочетает их поэт
В творении едином, не боясь
Быть не по нраву многим, — тем скорее
Понравится он многим.*

10) Тассо: В городе среди многих тысяч людей нетрудно скрыться одному.

11) Тассо: У герцога замки и сады готовы для приема круглый год, тогда как он гостит в них один день, один лишь час в году.

12) Тассо: Друг друга знают лишь рабы, к одной скамье прикованные на галере.

* * *

*С самим собою быть наедине
Приятно, только! так ли уж полезно?
Нельзя познать себя через себя;
Коль мерить меркой собственной,
то мы
Порой ничтожны слишком, а по-*

рой
Значительны чрезмерно; человек
Себя лишь в человеке познает И в
жизни.

(Слова Антонио; 1237–1243)

Слова Леоноры:

Всё преходящее хранится в песне.
Пускай тебя круг времени
умчит —
Пребудешь ты блаженной и пре-
красной.

(1950–1952)

Слова Антонио:

С чужими мы всегда настороже,
Мы зорки, ищем их благоволенья,
Чтобы его использовать потом;
Меж тем с друзьями держишься
вольней;
Любовь их нас баюкает; свой нрав
Мы проявляем, страсть наружу
рвется,
И всех больше раним мы того,
Кого на деле всех нежнее любим.

Слова Тассо:

Луна, что ночью радует тебя,

Сиянием своим чаруя взор
И сердце, — днем она по небоскло-
ну
Невзрачным, бледным облачком
плывет.

(2257–2260)

Тассо об Антонио:

Противно это умничанье, это
Желанье вечно поучать других.
Не разузнав, что слушатель,
быть может,
И без того идет путем добра,
Толкует он о том, что сам ты
знаешь
Не хуже; а когда ты говоришь,
Не слушает, тебя не замечает.

(2289–2295)

Слова Тассо:

И к чему;
Всегда быть справедливым?
Разрушать Свое же «я»?
Всегда ли справедливы
К нам ближние?
Нет, несомненно, нет!
Потребна людям в круге тесной
жизни

И ненависть, не меньше чем любовь.

Иль ночь нужна не так же, как и день?

И сон не так, как бдение?

(2342–2349)

Тассо (к Антонио):

*Давно тиранство дружбы знаю я,
И, кажется, оно невыносимей
Всех остальных тиранств. Ведь
ты себя*

*Считаешь правым только потому,
му,*

Что думаешь иначе. Признаю:

Ты мне добра желаешь; но не требуй,

Чтобы к добру; я шел твоим путем.

(2681–2687)

* * *

В театре — может быть, и я уйду наконец. Лаврентьева обходят. «Синяя птица» — второй удар по театру (после Юрьева).

После премьеры «Синей птицы» — к Монахову (его 25-летний юбилей). Мало водки... скука.

9 января

Приехала Муся Менделеева.

Часов в 5–6 придет Чуковский. Конечно, оказалось, что заболел.

Звонил г. Белопольский, предлагая мне по поручению г. Ионова продать III том государственному издательству. Я сказал, что хочу, чтобы книга вышла в «Алконосте».

Я напрасно ходил регистрироваться на Измайловский проспект.

Е. Ф. Книпович — Чуковский были.

У Павлович вечером (в Доме искусств). Ей «Петербург» и «Двенадцать».

В. Городецкий, химик, спирт, Маруся.

Театр: по-видимому, Гришина, как опытного антрепренера, тянет к второму сорту, в чем его поддерживает отдел. Лаврентьев обижен («Синяя птица» без «управления», деньги, самолюбие). Я сказал ему, что если он уйдет, уйду и я. Мы с Щуко убеждаем его в ущербности от ухода Юрьева. Постановка «Синей птицы» — гальванизация трупа с негордыми средствами — неразрывно связана с тем, как выпирали Юрьева. Андреева брызжет слюной

от злости при его имени. Отвратительно было поведение Монахова на общем собрании, когда был приглашен дать объяснения Юрьев. Еще один удар после этих двух болезненных (уход Юрьева и «Синяя птица») — и Большой драматический театр потеряет благородное лицо, превратится в грязную лавку.

11 января

Моховая: «Седое утро» — Грушко. Мое возражение от Волынского. «За гранью прошлых дней» — В. П. Измалковой. Сдать «Тассо».

Ночью зовут на маскарад (Миллионная, 29) — школа ритма Ауэр. — Скучно, мы <с> М. Неслуховской, Н. Павлович и Рождественским. Протарабанила меня m-lle Тарабани.

12 января

Муся уехала — замуж выходить. Она была очень хорошая.

13 января

Утром Алянский сообщил о подлости, которую чинит мне г. Ионов, — лучше не вспоминать: так тяжело и тоскливо в этот день.

14 января

Новый 1921-й год. На Моховую я не ходил.

Н. А. Павлович (Пяст хочет со мной помириться; ей о поэме — все-таки не действует. — Стихи на Новый год и подарок мне от М. Неслуховской — Вергилий).

14 января

Л. Урванцов. «Человек, который смеется» (по роману В. Гюго) в 5-ти действиях и 7-ми картинах хорошо сделанная мелодрама, конец несколько скомкан и наивен. Есть погромные, по нашему времени, ноты (против «господ», хотя и английских, XVII века). В Большом драматическом театре не пойдет, что уже решили.

15 января

Заседание в Доме литераторов (ибо я избран в «члены комитета»): продовольствие, Кривенко, Кони, Султанова, Карпов, Котляревский, санатория в Лесном и т. д. Оттуда — к Алянскому (заявление об Ионовской пакости и письмо Луначарскому). Оттуда — в те-

атр: Лаврентьев еще никаких разговоров не имел думает и пьет; о замечательной речи Ленина на съезде профессиональных союзов.

Вечером в театре. Отвратительная «Синяя птица», которую хвалят «Известия» и «Жизнь искусства». Холст Бережного, Нина и т. п.

17 января

Можно регистрироваться на Измайловском проспекте для получения «бессрочного отпуска». — Второй раз зря потерял утро.

Алянский передал мое заявление Ионову.

* * *

Утренние, до ужаса острые мысли, среди глубины отчаянья и гибели.

Научиться читать «Двенадцать». Стать поэтом-куплетистом. Можно деньги и ордера иметь всегда...

О Чапыгине — спасает наш язык («Гореславич»).

О Пушкине: в наше, газетное время. «Толпа вошла, толпа вломилась... и ты невольно устыдилась и тайн и жертв, доступных ей». Пушкин этого избежал, его хрустальный звук различит только кто умеет. Подражать ему

нельзя; можно только «сбросить с корабля современности» («сверхбиржевка» футуристов, они же — «мировая революция»). И все вздор перед Пушкиным, который ошибался в пяти-стопном ямбе, прибавляя шестую стопу. Что, студия стихотворчества, как это тебе?

18 января

Утром в постели: мысли об окончании «Возмездия».

Моховая: Л. Рейснер — Рильке и пр. (Ларисы так и не было). Горькому — о стихах Ник. Колоколова. «Картины»: «Гореславич», драма А. Чапыгина. Чуковский и Жирмунский о Байроне. Я стригся и был у Весневского — сап<ожки> Л<юбы>.

Окончен карточный каталог моих русских книг (по 1920 г. включительно).

Крещенский сочельник.

19 января (6 января — Крещение)

Пушкинский план. Василевский.

Вечером в театр велела Павлова прийти (?). Рецензия о Палее Марии Эриковне. Книжка — Вольф-Израэль. В декорационной (сыно-

вья Бенуа и Добужинского за работой). В «библиотеке». Лаврентьев вчера объяснялся с Гришиным и Крючковым.

20 января

«Дон-Карлос», чтение и разговоры в кабинете Лаврентьева. А. Пиотровский назначил, что придет опять приставать ко мне с Парижской коммуной, но не пришел.

21 января

На третий раз мне удалось зарегистрироваться в одном из хлевов на Дворцовой площади у хамов-писарей и бедного забитого чиновника.

В результате страшного дня между мамой и Любой произошел разговор, что надо разьезжаться.

Алянские у нас вечером. Мрачные рассказы.

* * *

Пушкин. Если бы можно было издать маленького Пушкина, «все, что нужно», — и только. Е. Ф. Книпович думает, что нельзя, т. е. что Пушкин — только весь. Все-таки.

1812-13-14 — вовсе пустые.

1815. «Слеза». См. романсы (Батюшков: «Гусар, на саблю опираясь...»). Е. П. Бакунина?

1816. «Певец». «Бакунинский год». «Слово милой». Мария Смит, а скорее — Бакунина. 24 л<ет>. «Уныние» («Умру — любя» — Карамзин).

1817. «Торжество Вакха». «Добрый совет». «По-нашему», это — не перевод. Однако почитесь, как надо переводить! (Парни).

1818. «К Чаадаеву» («Любви, надежды, гордой славы...»). «К портрету Жуковского» («завистливая даль»: «invida aetas» — Hor<atio>, I, 11).

1819. «На лире скромной...» Фрейлине Плюсковой? «Деревня». Вот, например: это обратило особое мое внимание, а Е. Ф. Книпович считает, что не нужно вовсе. Вяземский (его стихи и: «о преувеличениях насчет псковского хамства»). Александр I — «bonsentiments», [94] а через 17 лет у Пушкина — «чувства добрые» (Погодин и Достоевский). «Возрождение» («Художник-варвар...»). «Зеленая лампа». «Руслан» тут был.

1820. «Мне бой знаком...»

1821. Кажется, пустой.

Е. Ф. Книпович считает, что надо попробовать начать с конца (с блестящего и настоящего Пушкина). Попробую.

1836. «Из VI Пиндемонте» (чтобы не узнали). Вот свобода! Потебня: «Поэт может настаивать на своем праве (на личную свободу), потому что цель его деятельности не может быть определена ни им самим, ни другими заранее. Но ведь и там, где эта цель заранее со стороны определима, вмешательство в самый способ ее достижения портит дело. И извозчик, нанятый до места или на час, хочет, чтобы его не дергали и не мешали править лошадьми». Вообще — Ефрон, VI, 492. Грибоедов о свободе. Безумная *прихоть* певца (Фет). «Я памятник себе воздвиг...» Державин и Гораций. Переделка Жуковского. «Von sentiments» Александра I 17 лет назад, по поводу «Деревни». «Кжене» («Пора, мой друг, пора...»).

1835. «Вновь я посетил..». «Когда владыка ассирийский...» (см. «Юдифь» Мея). «Жил на свете рыцарь бедный...» (из «Сцен из рыцарских времен»).

1834. «Сказка о золотом петушке».

1833. «Медный всадник».

1832. «Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...» (К жене?) [Подражания Дату]. Терцина Пушкина на одну стопу длиннее дантовской.

1831. «Эхо». «Клеветникам России».

22 января

Письмо Лундберга из Берлина.

Тяжело.

Может быть, во время спектакля — продолжение чтения «Дон-Карлоса»? После «спальни» говорить речь Монахову, по случаю 25-летия, от управления.

Я как в тяжелом сне. Колкости Максимова и (обычные) Андреевой m-me, однако, заметны.

23 января

Всего тяжелее.

Годовщина Франца, ничем не отмеченная.

Вечером — Л. А. Дельмас.

24 января

«Возмездие» (продолжено?). Редакция

«Романтической школы» (последнее чтение). Письмо к Н. Н. Скворцовой. Вечером Павлович — слухи.

25 января

Карточки Кубу? Возражение от Волынского на Моховой. Очевидно, я болен: устаю, голова плохо думает, страшно тяжело. Слухи об Ионовской злобе на меня. Вечером Е. Ф. Книпович.

Вечером — в театр (во время «Лазурного царства» чтение «Дон-Карлоса»), — опять не вышло, проваландались так.

26 января

Звонил Гордин: 1) Ясинский хочет послать мне письмо (? Ионовская клика?), 2) приглашает дать статью для «Красного балтийца».

Окончено последнее чтение «Романтической школы». Редакция «Новой весны» Гейне.

Вечером — О. Форш и Н. Павлович.

27 января

Книжка Пиотровскому.

Весь день, засыпая временами, влачусь по

«Новой весне» Гейне, медленно, иногда — с успехом.

Вечером Павлович, принеся керосин, развела мистику, от которой маме стало плохо.

28 января

Всю ночь — черные сны, а также — очень грозные полусны, полуявь.

Редакция «Новой весны». Павлович присылает письмо — нужное.

Народный дом — «Моцарт и Сальери» и «Торжество Вакха» (я приглашен). Пушкин, иногда музыка. Дельмас, которую я уже ревную.

29 января

Редакция «Новой весны». Сильные морозы. Вечером — в театре. Гришин заказывает пантомиму (?).

30 января

Весь день у нас Иванов-Разумник. Совещаемся об установлении сношений с Лундбергом в Берлине.

Премьера в Любином театре («Любовь и зо-

лото» Радлова). М. И. Бенкендорф — ее намеки (?). Рядом опера, где Л. А. Дельмас.

31 января

Редакция «Новой весны».

Отвечаю Лундбергу.

* * *

Предоставляю издательству «Скифы» (Verlag «Skythen») в Берлине в лице Евгения Германовича Лундберга полное и исключительное право на издание на русском, немецком, французском и других языках моих стихотворений, статей и драм, на защиту моих интересов и на ведение переговоров от моего имени с берлинскими театрами, с Бургтеатром в Вене и другими по поводу постановки вышеуказанных драм.

Дорогой Евгений Германович! Ваше письмо от 16 ноября 1920 года дошло до меня недавно. Все, что Вы пишете, весьма для меня важно как с внутренней, так и с внешней стороны. Подробности рассказал мне Разумник Васильевич. Посылаю Вам авторизацию в форме частного письма (иной, кажется, нет; если есть, сообщите форму, и я перешлю но-

вую), а также книги, которые Вам могут понадобиться, — пока свои, надеюсь в будущем прислать и не свои. В переводы Р. фон Вальтера верю; перевод Жува (в «La vie ouvrière») мне тоже не нравится, за исключением нескольких строк. Очень интересуюсь вышедшими книгами и, как Вы, конечно, помете, гонораром. Говорят, что мне следует заключить с издательством договоры на известное количество экземпляров или лет. Если Вы находите это нужным, пришлите мне проект такого договора. Сообщите, пожалуйста, как обстоит дело с театрами. Нельзя ли охранить мои материальные права за границей? Пока мне определенно известно, что мои книги издадут и в Париже (Яков Поволоцкий) и в Берлине (кроме Вас — «Слово»). Очень надеюсь и рассчитываю на установление сношений с Вами во всех смыслах. Сердечно Вам преданный.

2 февраля

...Издательство «Алконост» не стесняется рамками литературных направлений. Тот факт, что вокруг него соединилась группа пи-

сателей, примыкающих к символизму, объясняется, по нашему убеждению, лишь тем, что именно эти писатели оказались по преимуществу носителями духа времени.

Группа писателей, соединившаяся в «Алконосте», проникнута тревогой перед развертывающимися мировыми событиями, наступление которых она чувствовала и предсказывала; потому — она обращена лицом не к прошедшему, тем менее — к настоящему, но — к будущему. Этим определяется лицо издательства и его название.

<Между 2 и 5 февраля>

Пушкину в молодости, когда он еще был «веселым юношей» и т. д. («Вновь я посетил...», Морозов, II, 207),

*Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой*

(1,241 — «На лире скромной...»).

Это — 1819 год.

Прошло 17 лет, Пушкин «истомлен неравною борьбой» и т. д. (II, 207). Он опять говорит о какой-то «иной свободе» и определяет ее:

никому
Отчета не давать, и т. д.

(«Из VI Пиндемонте» — II, 212)

Эта свобода и есть «счастье». «Вот счастье, вот права!» То «счастье поэта», которое у «любителей искусств» «не найдет сердечного привета, когда боязненно безмолвствует оно» (II, 129, «Анониму»). Праздность вольную, по-другу размышленья (I, 247).

5 февраля

Позвонила библиотекаряша Пушкинского Дома. Завезла альбом Пушкинского Дома.

6 февраля

Следующий сборник стихов, если будет: «Черный день».

Для того, чтобы уничтожить что-нибудь на том месте, которое должно быть заполненным, следует иметь наготове то, чем заполнить. — Для того, чтобы соединить различное в одном месте, нужно, чтобы это место было пригодно для объединения (способно объединить). — Для того, чтобы что-нибудь сделать, надо уметь. — Заставить делать то, чего тот,

кого заставляют, не умеет, бесполезно или даже вредно для дела. — Для того, чтобы писать на каком-нибудь языке, следует владеть этим языком, по крайней мере быть грамотным. — Занимая время и тратя силы человека на пустяки, не следует рассчитывать, что он ухитрится это самое время и эти самые силы истратить на серьезное дело.

И много других простых изречений здравого смысла, которые теперь совершенно забыты. Пушкин их хорошо помнил, ибо он был культурен.

7 февраля

Перед нашими глазами с детства как бы стоит надпись; огромными буквами написано: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет многие дни нашей жизни.

Имена основателей религий, великих полководцев, завоевателей мира, пророков, мучеников, императоров — и рядом это имя: Пушкин.

Как бы мы ни оценивали Пушкина — человека, Пушкина — общественного деятеля, Пушкина — друга монархии, Пушкина — дру-

га декабристов, Пушкина — мученика страстей, все это бледнеет перед одним: Пушкин — поэт. Едва ли найдется человек, который не захочет прежде всего связать с именем Пушкина звание поэта.

Что такое поэт? — Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это — это носитель ритма.

В бесконечной глубине человеческого духа, в глубине, недоступной для слишком человеческого, куда не достигают ни мораль, ни право, ни общество, ни государство, — катятся звуковые волны, родные волнам, объемлющим вселенную, происходят ритмические колебания, подобные колебаниям небесных светил, глетчеров, морей, вулканов. Глубина эта обыкновенно закрыта «заботами суетного света».

*Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он <малодушно> погружен.*

Когда глубина эта открывается,

Бежит он, дикий и суровый,

*И страхов и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы,*

потому что там ему необходимо причаститься родной стихии для того, чтобы напоминать о ней миру звуком, словом, движением — тем, чем владеет поэт.

Вслед за этим происходит второе действие драмы знаменитое столкновение поэта с *чернью*, т. е. с существами человеческой породы, в которых духовная глубина совершенно заслонена «заботами суетного света»; это — не звери, не птицы, не осколки планет, не демоны, не ангелы, а только — люди.

Они требуют от поэта пользы, они требуют, чтобы он «сметал сор» с их «улиц шумных», потому что не могут, не умеют и, между прочим, никогда не сумеют воспользоваться большим — тем, что предлагает им поэт.

Третье, и последнее действие, драмы заключается в борьбе поэта с чернью, в неизбежном приспособлении поэта, как несовершенного организма, пригодного только к внутренней мировой жизни, к черни, как организму, пригодному только к жизни внеш-

ней. Оно заканчивается всегда гибелью поэта, как инструмента, который ржавеет и теряет звучность в условиях окружающей внешней жизни. Эта жизнь права: ей ничего, кроме пользы, и не нужно, большее — для нее враг, ибо оно стремится уничтожить ее, чтобы создать на ее месте новую жизнь. Инструмент гибнет, звуки, им рожденные, остаются и продолжают содействовать той самой цели, для которой искусство и создано: испытывать сердца, производить отбор в горах человеческого шлака, добывать нечеловеческое — звездное, демоническое, ангельское, даже и только звериное — из быстро идущей на убыль породы, которая носит название «человеческого рода», явно несовершенна и должна быть заменена более совершенной породой существ. Все добытое и отобранное таким образом искусством, очевидно, где-то хранится и должно служить к образованию новых существ.

В таких поневоле шатких и метафорических выражениях я хотел дать понятие о происхождении, сущности и цели ритма, носителем которого является в мире поэт.

Описанные фазисы приобщения поэта к стихийному ритму, борьба за ритм с чернью и гибель поэта — я назвал не трагедией, а только драмой; действительно, в этом процессе и нет ровно ничего «очищающего», никакого катарсиса; происходит борьба существ, равно несовершенных, вследствие чего победа не остается ни за кем: ни за погибшим, ни за погубившим. Тот, кто бывает «всех ничтожней меж детей ничтожных мира», не есть какое-то необычайное существо, чьей гибели сопутствуют небесные знамения; также и тот, кто погубил, не есть представитель какой-нибудь особенной силы; это — чернь как чернь.

Ночь на 7 марта

<Проект письма А.Н. Лаврентьеву и А.И. Гришину>

Дорогие Андрей Николаевич и Александр Ильич! Название «председателя управления», как Вы знаете оба, было для меня всегда мучительно и тягостно, ибо не соответствовало ни в какой мере тому, что я делал в театре. Сейчас я вновь поднимаю этот во-

прос и обращаюсь к Вам первым, как к главным руководителям, хозяевам театра, со следующим предложением: если Вы находите, что моя работа продолжает быть нужной театру, я прошу меня назначить и назвать «заведующим литературной частью» или вообще как-нибудь «по литературной части». Вся разница будет в том, что я не буду заседать в управлении, что, как Вы знаете, бывает редко и чего я делать вовсе не умею... Жалованье прежнее и место в партере, хотя бы похуже (где Щуко). Какие-нибудь выдачи, если будут.

4 марта

Вдохновение.

1. Определение Пушкина (Морозов, VI, 19).

2. Родэн: «Гениальности можно достигнуть не мгновенными вспышками и преувеличенной чувствительностью, а упорным проникновением и любовью к натуре. Таковы были средневековые строители» («Искусство и печатное дело», 1910, № 6–7, Киев, стр. 262).

3. Рейнольдс: «Величайшие природные дарования не могут продовольствоваться од-

ним своим запасом. Тот, кто предпримет рыться только в своем уме, не заимствуя ничего от других, вскоре доведен будет до одной скудости, до самого худшего из всех подражаний. Он принужден будет подражать самому себе и повторять то, что прежде уже неоднократно повторял» («Врубель» Яремича, стр. 22).

4. *Врубель*: «Вдохновение — порыв страстный неопределенных желаний, — есть душевное состояние, доступное всем, особенно в молодые годы; у артиста оно, правда, несколько специализируется, Направляясь на желание что-нибудь воссоздать, но все-таки остается только формой, выполнять которую приходится не дрожащими руками истерики, а спокойными — ремесленника. Пар двигает локомотив, но не будь строго рассчитанного сложного механизма, не доставай даже в нем какого-нибудь дрянного винтика — и пар разлетелся, растаял в воздухе, и нет огромной силы, как не бывало» («Врубель» Яремича, стр. 42).

5 марта

«АПОЛЛОН», 1914

(10 номеров, 1-2, 6-7 — двойные)

№№ 1-2. Французское собрание Щукина С. И. много репродукций со статьей Я. Тугендхольда. — Н. Долгов. «Каратыгин и Мочалов», статья и рецензия на книгу Patouillet об Островском.

3. Чурлянис, репродукции и статья Вяч. Иванова.

4. Сапунов. Много репродукций со статьями.

5. Новая петербургская архитектура. Китайская живопись.

6-7. Серов — репродукции. Зак — репродукции. Статья Ю. Слонимской о пантомиме. Статья Долгова «Сценический стиль тридцатых годов».

8. Архитектурные офорты И. А. Фомина.

9. О. Вальдгауэр. Античные расписные вазы в императорском Эрмитаже (с репродукциями). Статья Ю. Слонимской «Зарождение античной пантомимы».

10. Репродукции с Добужинского, Бенуа, Стеллецкого, Петрова-Водкина и др. Статьи И. Эйгеса о Лермонтове и А. Эфроса о живописи

театра.

«АПОЛЛОН», 1913

(10 номеров)

1. Скульптуры императорского фарфорового завода. — Норвежец Эдв. Мунк. — Статьи г-да Гумилева и Городецкого об «акмеизме» и «адамизме» (всех своих заметок, к сожалению чернилами, мне стереть не удалось).

2. Новая петербургская, архитектура.

3. О. Вальдгауэр. Античная скульптура в императорском Эрмитаже (с многочисленными репродукциями).

4. А. Я. Головин.

5. Врубель. — В. Чудовский высказывает оригинальное мнение об Ибсене:

«Ибсен когда-то был нужен нашим первым символистам; этим тараном били они по каким-то твердыням врагов: вообще все скандинавские туманы казались благоприятной погодой для каких-то стратегических обходов. Теперь же мы знаем, что нет ни одной хоть сколько-нибудь ценной идейки, которую мы бы не могли, даже в то время, получить, минуя Скандинавию.»

Но, главное, мы можем подсчитать, какой ущерб мы потерпели среди туманов: чей меч не заржавел? А все, чего не видно, было во мгле!

На Ибсене — неизгладимая печать провинциализма. Под видом мировых задач он разрешал лишь домашние свары норвежских обывателей, идейные и классовые счеты далеких захолустий. И что нам, русским 1913 г., от того, что у него бывали перепевы великих идей? Да и то ли у него — великие идеи, что он не любил людей, не почитал семьи и брака, не уважал традиций, обличал деревенских пасторов, не понимал общественного мнения и солидарности людской, был „индивидуалистом“, выскочкой в делах культуры и не хотел знать ее истории? Но вот с чем приходится считаться: вожди нашего недавнего блестящего возрождения... все еще не могут отказаться от прежнего заблуждения. Им дороги воспоминания! Нужны новые люди, чтобы низвергнуть старых мнимых богов. Мы, люди нового призыва, мы просто не чувствуем больше этого бывшего обаяния; для нас слава Ибсена — слово,

случайно выпавшее из непонятных уже для нас речей».

6. Современная русская графика и рисунок, статья Н. Радлова со многими репродукциями.

7. То же. — Ван-Гог (статьи Шервашидзе и Тугендхольда и письма). — «Юношеские произведения Рих. Вагнера» Ашкинази.

8. Скульптуры А. Т. Матвеева. — А. Ф. Гауш. — Продолжение писем Ван-Гога.

9. Сарьян. — Коненков. — Сомов. — Продолжение писем Ван-Гога.

10. Н. Н. Ге. — Окончание писем Ван-Гога (всего во всех номерах — 20).

«АПОЛЛОН», 1912

(10 номеров, 3–4 двойной, 20 номеров «Русской художественной летописи» и «Литературный альманах»)

1. Адарюков. Очерк по истории литографии в России (с репродукциями). Там — о «Русском художественном листке» Тимма (I. 1851 — 20. XII. 1862): «гордость русской литографии». Печатаны сначала в два тона в литографии Мюнстера, а с 1861 г., когда Тимм за-

вел собственную литографию, — в 4–5 и более тонов. Одних портретов более 400, множество с натуры. Рисунки, кроме Тимма, Штернберга, А. Чернышева, кн. Г. Г. Гагарина, Рыбинского, А. Боголюбова, И. К. Айвазовского, обоих Шарлеманей, К. А. Трутовского, М. А. Зичи, Г. Горшельта, И. И. Соколова, Заурвейде, М. О. Микешина и многих других, менее известных. — Рецензия Гумилева на «Ночные часы».

2. Коненков. — Александр Бенуа и Бартрам об игрушках (с цветными репродукциями).

2-А. Французские художники из собрания И. А. Морозова (со многими репродукциями). Статья (г. С. Маковского) и каталог. Статья Вяч. Иванова «О лиризме Бальмонта».

5. Выставка «Сто лет французской живописи».

6. Богаевский.

7. Бар. Врангель об искусстве времени императрицы Елисаветы.

8. Этюды А. Иванова в Румянцевском музее. — Рецензия Гумилева о моем «Собрании стихотворений» изд. «Мусагета» (1-е издание).

9. Лиотар (со статьей Александра Бенуа). Alex.St. «К истории типа Пьеро» («О воз-

возможности воскрешения пантомимы»).

10. В. А. Серов. Окончание статьи Alex. St. o типе Пьеро.

«АПОЛЛОН», 1911

(10 номеров и «Русская художественная летопись» — 20 номеров)

1. Вермеер Дельфтский (со статьей Н. Врангеля). — Курбэ (со статьей Мейер-Грефе).

2. Украинский барокко. Выставка «Мир искусства». — М. В. Добужинский.

3. Иеронимус Босх (Bosch, XV–XVI век), со статьей А. Трубникова. — Г. Крымов.

4. Стеллецкий. — Г. Моро.

5. Барон Врангель. Историческая выставка архитектуры в Академии художеств (со многими репродукциями). — Несколько репродукций с Чурляниса (со статьей). — Несколько репродукций Венецианова.

6. Голубкина. — Французские картины в Кушелевской галерее (со статьей Н. Врангеля). — Кн. Волконский о Далькрозе.

7. Французский пейзаж. — Ж. Сера (Seraut, 1859–1891).

8. Судейкин. — Царскосельская юбилейная

выставка. — Заметка Пяста: «Стихи о Прекрасной Даме».

9. Голландцы и фламандцы XVII века, со статьей Трубникова. — Международная выставка в Риме (Зулоага, Англада, Ходлер, Цорн и др.).

10. Собрание И. С. Остроумова (со статьей Н. Врангеля). — Выставка Кипренского.

7 марта

В 1918–1919 гг. я получал случайные номера журнала «Рабочий мир» изданием «Московского центрального кооператива». Журнал по большей части — марксистский, конечно; тем не менее, несмотря на сотрудничество Львова-Рогачевского и т. п., там попадались культурные статьи: например, «Вершины жизни» Машковцева — об искусстве; «Приезд послов в старой Москве» — с иллюстрациями; «Как смотреть картины» Бакушинского — с иллюстрациями: Левитану отдается предпочтение перед Шишкиным; «Искусство свободного воспитания тела» (о Дункан и Далькрозе) — Х. Веселовского; о художнике Федотове — с иллюстрациями. — По-видимому, и

этот журналчик заглох.

При Временном правительстве, начиная с мая 1917 года и окончившись лишь после октябрьского переворота (последний, 24-й, номер я видел в феврале 1918-го, он помечен 1 февраля), выходил журнал Родзянко «Народоправство». Редактировал Чулков Г. П., писали Бердяев, Вышеславцев, Алексеев и другие московские профессора, Чулков, Зайцев, Ремизов, священник Сережа Соловьев, Пришвин, Ал. Толстой, Вяч. Иванов, Кондорушкин и др. Очерки Ремизова назывались «Всеобщее восстание». Чулков негодовал на Горького по поводу его презрения к русским и обожания евреев. Интересны записи «солдатских бесед», подслушанных каким-то Федорченко — отрывки (№№ 9, 10, 11, 12, 13). Это — самое интересное.

Бердяев после октября (№ 15) пишет многословно и талантливо, что революции никакой и не было, все галлюцинация, движения в хаосе и анархии не бывает, все еще пока — продолжение догнивания старого, пришло смутное время (стихи В. Иванова в журнале называются «песнями смутного времени»),

все революционные идеи давно опошлелись, ненависть к буржуазии есть исконная ненависть темного Востока к культуре, «одолел германский яд», Россия не выдержала войны. Мораль: покаяться и смириться, жертвенно признать элементарную правду западничества, необходим долгий труд цивилизации.

Чулков спорит, говоря, что «происходящее» есть мрачная контрреволюция, а в марте революция была.

Но записи Федорченко всего интереснее, хотя не знаешь, кто он и чем окрашивает, что слышит, что выбирает. Выходит серо, грязно, гадко, полно ненависти, темноты, но хорошо, правдиво и совестно.

В 1915–1916 гг. Рейснеры издавали в Петербурге журнальчик «Рудин», так называемый «пораженческий» в полном смысле, до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый. Мамаша писала под псевдонимами рассказы, пропахнувшие «меблирашками». Профессор («Барон») писал всякие политические сатиры, Лариса — стихи и статейки. Злые карикатуры на Бальмонта (№ 1), Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу «Кра-

сы» Ясинского и «Биржевки» (№ 1). Лариса (Л. Храповицкий) о грязи и порнографии Брюсова. Отвратительная по грязи карикатура на Струве (№ 3). Ругают Л. Андреева (после уже того, как он выгнал их из своего дома, как рассказывали они сами мне). Мамаша пишет «Из воспоминаний поруганного детства», папаша — статью «Дураки» (№ 4) очень зло. Там же — карикатуры на С. Венгерова и на Горького. Прозрачная статья о Распутине под заглавием «Свинья», с рисунком (свинья на кровати среди голых женщин). Карикатуры на Тарле, Э. Гримма, Добиаш-Рождественскую, Кареева (№ 5). На Бурцева и его «Былое» — там же. В № 6 — связанные внутренне статьи Ларисы (Л. Храповицкий) и Н. А. Нолле — «Цирк» и «Театр». В том и другом — особенный злой taedium,[95] ненавистничество особого рода. Под этими статьями (или «стихотворениями в прозе»?) карикатура: Плеханов — крестоносец (топоро-молотоносец) опирается на еврейского банкира в перстнях, с толстой чековой книжкой. В № 7 — объявление «Куваки», а из одного из номеров профессор, отдавая мне комплект журнала, тщатель-

но и собственноручно вытаскивал объявление о военном займе во весь лист. Статья Ларисы «Через Ал. Блока к Северянину и Маяковскому», где обо мне сказано лестно: что я не был никогда революционером и реформатором, что я большой и незабываемый, мое влияние громадно, как влияние абстрактной идеи, что у меня — полутона, бледный цветок, завершение и пр. Там же — карикатура на Андреева, мечущего грома на Горького за «Две души». В № 8 профессор Рейснер пишет статью о Либкнехтах, протестовавших против войны (сочувственную — как ее пропустили?), а затем следует статья о путешествии Чуковского к союзникам с карикатурой: Чуковский в виде клоуна. Это — последний номер, заканчивающийся объявлением о «Куваке» (Воейкова!).

Журнальчик очень показателен для своего времени: разложившийся сам, он кричит так громко, как может, всем остальным о том, что и они разложились. Эта злоба и смрад меня тогда, сколько помню, касались мало, я совсем ушел в свою скорлупу. Да и журнальчик я увидал только прошлой осенью, в период

краткого знакомства с Рейснерами.

До какой степени все это не похоже (более, чем обезьяна не похожа на человека, гораздо более) на какую-нибудь «*La Guerre Illustrée*», которую надо, впрочем, сравнивать с журнальчиком генерала Дубенского или уж хоть с «Отечеством» г. Гржебина!

«Летопись». С Тихоновым я связался (т. е. он со мной) осенью 1915 г., когда переводились армяне (приходил армянин), латыши (приходил и латыш) и финны (от малороссов, а потом от евреев я отказался). Первый номер «Летописи» вышел в декабре 1915 г. (единственный). Там сразу начались выдержки из дневника Толстого (редакция Хирьякова). Появились «Две души» Горького.

В 1916 г. № 1 — «Хозяин и работник» Толстого (первоначальный вариант). Через весь год пошли «В людях» Горького; дневник Толстого (декабрь, январь). Статья А. Куте ля о Томазо Сальвини.

№ 3 — Письма Толстого к Файвелю Бенцеловичу Гецу.

№ 4 — Толстой. «Рассказ о каторжнике Федорове» (стр. 64–70). А. Смирнов. «Творец душ»

(300-летний юбилей Шекспира). Базаров в статье «Заколдованное царство» (стр. 218–219) упоминает обо мне и относит меня к символистам, которым «выпало на долю превратить болезнь в добродетель, воспеть импотентность оторванной от жизни мечты, как состояние несравненно более высокое, чем жизненное творчество» (основной смысл моих «Лирических драм»).

С № 7 начинается роман Уэллса «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» (№№ 8, 9, 10, 11, 12 — конец). С № 9 возобновляется дневник Толстого. Продолжение в № 12. № 11 — непечатанные главы из «Воскресения» Толстого. С 1 № 1917 г. начинается автобиография Шаляпина, роман Барри «Белая птичка», «Рубенс» Верхарна (под редакцией В. Брюсова). Дальше я уже этого чужого журнала не получал.

В 1916 году, под влиянием войны на Кавказе, мода на армян, поддерживаемая Брюсовым, выучившим армянский язык и составившим и московскую «Поэзию Армении» и петербургский «Армянский сборник» «Паруса» (с Горьким), — стал выходить в Москве

«Армянский вестник» (1916 г. — 48 номеров и 1917 — 52 номера). Статейки Брюсова об армянской поэзии, воспроизведения памятников армянской старины, переводы отрывков поэтов и прозаиков.

9 марта

Еще один конкурс «революционных» пьес («ПТО»).

10 марта

«Русская мысль», 1915, № 11 (ноябрь) — в отделе «В России и за границей» — заметка: «Александр Блок о России» Ю. Никольского (стр. 16–19). (Журнал с 1910 (или 1911?) года до половины 1915-го погиб в Шахматове).

1916: №№ 2 и 3 — Избранные места из писем Флобера в переводе С. Франка.

№ 5 — Неизданные и малоизвестные стихотворения Ан. Григорьева, сообщенные Влад. Княжниным (дополнить мою редакцию — НН! отдел «Материалы», стр. — 130–135).

1917, май-июнь, — «История одной дружбы» (Фет и Полонский) Ю. Никольского.

«Ежемесячный журнал литературы, науки

и общественной жизни». СПб., редактор и издатель В. С. Миролубов.

1914: 12 №№;

1915: 12 №№ (один двойной — сентябрь — октябрь),

1916: 12 №№ (два двойных — июль-август, сентябрь-октябрь);

1917: 12 №№ (в 5-ти уже книжках);

1918: 6 №№ (и 3-х книжках).

11 марта

«Предварительный» разговор с Лаврентьевым и Гришиным на тему — см. 1 марта — так все и не выходил. То заняты, то войдет Павлова. А я присматриваюсь недаром не выходит. Такая пакость и гнусность прет из театра, что, может быть, если «понизить» свой сан добровольно, уговорить их, чтобы меня сделали их подчиненным (чего я и хотел), — они меня внутренне съедят или взвалят на меня работы раба. Погодим пока.

10 апреля

Вчера вечером и сегодня днем в театре занимались составлением протокола и положе-

ния об автономии для Луначарского. Чтобы я сочинил протокол, мне дали полкружки водки, от чего сочинение замедлилось. В театре полный упадок настроения и усталость к весне, несмотря на возвращение торговли, ресторанов и пр., которого ждут. Андреева с Крючковым уезжают за границу окончательно. В Германии жизнь стоит 22 000 марок в месяц. Горький поедет в мае, говорят. Я пробовал навести Лаврентьева и Гришина на «Розу и Крест». Лаврентьев отмычался, Гришин, подумав, сказал: «Может быть, после Кальдерона».

17 апреля

Заключительные слова «Золота Рейна», вложенные в уста Rheinstijchter:

*Traulich und treu
ist's nur in der Tiefe;
falsch und feig
ist was dort oben sich freut! [96]*

18 апреля

Опять разговоры о том, что нужно жить врозь, т. е. маме отдельно, — неотступные, смутные, незабываемые для меня навсегда оставляющие преступление, от сознания ко-

того никогда не освободиться, т. е. никогда не помолодеть. И в погоде, и на улице, и в Е. Ф. Книпович, и в m-me Marie, и в Европе — все то же. Жизнь изменилась (она изменившаяся, но не новая, не *nuova*), вошь победила весь свет, это уже совершившееся дело, и все теперь будет меняться только в *другую* сторону, а не в ту, которой жили мы, которую любили мы.

20 апреля

Орг прислал «Русскую мысль» П. Струве, январь — февраль 1921 года. Та же обложка — только прибавлено: «Основана в 1880 году». Передовая от редакции — «К старым и новым читателям „Русской мысли“», как весь номер, проникнута острым национальным чувством и «жертвенной» надеждой на возрождение великодержавной России. «Русская революция отнюдь еще не закончилась», «мы» не должны останавливаться ни перед какой жестокой правдой, «темная и сложная стихия» русской революции еще *далеко* не сказала своего последнего слова, мы «решили быть трезвыми до беспощадности».

Две публичные лекции П. Б. Струве — «Размышления о русской революции».

Начало «Воспоминаний кн. Евг. Н. Трубецкого» (70-е «гимназические» годы в Москве и в Калуге).

Вольные сонеты, подписанные: Вл. Н-ий...

К. Зайцев. «В сумерках культуры» (цитируются, между прочим, «Скифы»).

П. Савицкий. «Европа и Евразия» (по поводу брошюры кн. Н. С. Трубецкого «Европа и человечество»).

Начало дневника З. П. Гиппиус. Это очень интересно, блестяще, большею частью, я думаю, правдиво, но — своекорыстно. Она (они) слишком утяжелена личным, тут нет широких, обобщающих точек зрения. Может быть, на обобщения такого размера, какие сейчас требуются, они и вовсе неспособны. Патриотизм и национализм всей «Русской мысли» — тоже не то, что требуется. Это — правда, но *только часть*. У Зинаиды Николаевны — много скверных анекдотов о Горьком, Гржебине и др.

Рассказ Бунина и пьеса Сургучева.

Статья «Идея родины в советской поэзии»

Петроники. Разбираются издания «Скифов» в Берлине. Все эти стихи, начиная со «Скифов», «прожжены идеей Отечества», тогда как «советская власть самое слово „патриотизм“ сделала ругательным». О Белом, Клюеве и Есенине. «Историко-литературное наблюдение: обе поэмы А. Блока, возникшие как отражение революции, „Скифы“ и „Двенадцать“, являются в отношении к поэзии Блока, взятой как совокупность, некоторой кульминацией пушкинского начала в его творчестве, подлинным подобием „Клеветникам России“ и „Медному всаднику“ — несмотря на различия между обеими группами произведений, вытекшие из различия эпох... Поэтический же язык (в широком смысле этого слова), которым говорят коллеги А. Блока по „советской поэзии“, [97] не есть отличительно „пушкинский“, но некоторый иной — символический — язык».

У меня — «политические рассуждения в стихах».

«Перечтя эти и подобные им стихи, невольно приходишь к заключению, в котором, как кажется, мерцает сияние некой, еще

не раскрывшейся, но уже близкой Исторической Истины: никогда, быть может, за все существование российской поэзии, от „Слова о полку Игореве“ и до наших дней, — идея Родины, идея России не вплеталась так тесно в кружево и узоры созвучий и образов религиозно-лирических и символических вдохновений, — как в этих стихах „советских поэтов“, стихах служителей того режима, который, казалось, отменил самое понятие Родины и воздвиг гонение на всех, кто в политической области исповедовал „любовь к Отечеству“ и „народную гордость“».

Далее — о «Скифах»: «Не содержится ли в словах „Мильоны вас“ и т. д. исповедование российского могущества, мысль о военной силе Родины (как и в „Клеветниках России“)... Интересно, что аналогия между „Клеветниками России“ и „Скифами“ замечается даже в деталях (Пушкин — „Иль мало нас?“ Блок — „Нас тьмы, и тьмы, и тьмы“)... Охотно допускаем, что А. Блок не сознавал, что делал, когда писал эти строки: ведь все же он поэт „советский“. Тем замечательнее было бы несоответствие замысла и непосредственной

правды поэтических слов... Только один упрек можно сделать „Скифам“ с точки зрения русского патриотического сознания: поэт переоценивает силу России... Действительно ли мы настолько сильны, чтобы мог „хрустнуть“ скелет Европы „в тяжелых, нежных наших лапах“?.. Об этом можно спорить, здесь недопустимы сомнения».

Исторические материалы и документы — «Идеология махновщины» — протокол заседания 1919 г. в селе «Гуляй-поле» (анархисты).

Критика и библиография — о патриотизме Н. Авксентьева (в Париже возродилось «Русское богатство» под названием «Современные записки» со статьей «Patriotica», но уже не П. Струве, а... Н. Авксентьева); к-во «Мысль» выпустило в Берлине «антологию современной русской поэзии», которая начинается, разумеется, с «Двенадцати». — Некролог Шахматова. — Наконец, выписываю целиком статью «П. Струве» (по поводу софийского издания «Двенадцати»).

11 мая

1 мая, в первый день Пасхи, мы выехали

на извозчике Е. Я. Билицкого, в международном вагоне, с Чуковским и Алянским в Москву. На вокзале меня встретила Н. А. Нолле в царском автомобиле Л. Б. Каменева с большим красным флагом. Три вечера в Политехникуме (мои с Чуковским), устроенные Облонской с полным неумением, проходили с возрастающим успехом, но получил я гроши, кроме цветов, записок и писем. Еще я читал в «Доме печати» (где после была — «пря» — «коммунист», П. С. Коган, С. Бобров, «футурист»), в «Studio Italiano» (приветствие Муратова, Зайцев, милая публика) и в Союзе писателей. Болезнь мешала и читать и ходить. Я ездил в автомобиле (литовском, Балтрушайтиса) и на извозчиках, берущих 10-15-25 тысяч, всегда вдвоем с беременной Н. А. Нолле (иногда и с П. С. Коганом). Свидания были с Зайцевыми, Чулковым, И. Н. Бороздиным.

5 мая Н. А. Нолле пошла в Художественный театр, рассказала Немировичу и Станиславскому о моей болезни и потребовала денег за «Розу и Крест». Каменный Немирович дал только 300 тысяч. Постановку поставили опять в зависимости от приезда заграничной

группы и т. д. Стали думать, кому продать. Остановились на Незлобине, к театру которого близок П. С. Коган. Управляющий делами Браиловский вычислил, что до генеральной репетиции (в сентябре), если приравнять меня к Шекспиру и дать четверной оклад лучшего режиссера РСФСР, нельзя мне получить больше 15 миллиона. Станиславский звонил мне каждый вечер, предлагая устроить мой вечер у него для избранной публики в мою пользу, платную генеральную репетицию оперной студии с ним, продажу Луначарскому каких-нибудь стихов для Государственно-го издательства миллиона за 15 (предложение самого Луначарского). От всего этого я, слава богу, сумел отказаться.

Узнав о цене Браиловского, Станиславский позвонил Шлуглейту (театр Корша), который наговорил ему, по его словам, что я — Пушкин, что он не остановится перед 2–3 миллионами и дает сейчас 500 тысяч, чтобы я приостановил переговоры с Незлобиным. Узнав об этом от П. С. Когана, Браиловский мгновенно приехал на мой вечер в Политехникум и на слова Н. А. Нолле, что меня устроят 5 мил-

лионов, сказал, минуту подумав, что он готов на это, а на следующий день привез мне 1 миллион и договор, который мы и подписали. Все это бесконечно утомляло меня, но, будем надеяться, сильно поможет в течение лета, когда надо вылечиться.

Визит к Каменевым в Кремль с Коганами, ребенок Ольги Давыдовны, вид на Москву, чтение стихов.

П. С. Коган, убежденный марксист, хорошо действующий на меня своей мягкой манерой, много раз доказывал мне ценность искусства и художников с точки зрения марксизма и рассказывал, что приходится преодолевать Каменеву и Луначарскому, чтобы защитить нас.

Я был у Кублицких. Нежность Андрюши. Им живется плохо.

В Москве зверски выбрасывают из квартир массу жильцов — интеллигенции, музыкантов, врачей и т. д. Москва хуже, чем в прошлом году, но народу много, есть красивые люди, которых уже не осталось здесь, улица шумная, носятся автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуванчики,

баранчики), грозы и ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре.

Мама в Луге, Е. Я. Билицкий помог ей доехать бумагами, письмами, провизией и лошадью.

Люба встретила меня на вокзале с лошадью Билицкого, мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно: тень чувства).

25 мая

Наша скучная и мрачная жизнь в первые пять месяцев: отношения Любы и мамы, Любин театр (иногда по два раза в день на Кронверкский и обратно). С 30 марта по 3 апреля Бу болела (доктор Сакович). Чаще всего у нас Е. Ф. Книпович. Потом — *** (в начале кронштадских дней я прервал с ней отношения), Алянский, Р. В. Иванов, Чуковский, Зоргенфрей (раз), Женя Иванов (раз), Л. Э. Браз, Ф. Ф. Нотгафт. Случайные — некий Штейнгарт, те Паскар. Приезжали в феврале Верховский и Сухотин. Л. А. Дельмас, разные отношения с ней.

Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызали, в нашей квартире я только молчал.

«Службы» стали почти невыносимы. В Союзе писателей, который бессилён вообще, было либеральничанье о свободе печати, болтовня о «пайках» и «ставках». Моя переписка с Ионовым, окончившаяся его покаянием в апреле. В «Союзе» — «профессор» Сазонов со своим заграничным займом, депутации (я, Волковысский и Волынский) у Озолина («губчека»). — В феврале меня выгнали из Союза поэтов и выбрали председателем Гумилева. В театре — арест «Петьки или Леньки», путаная болтовня с Лаврентьевым, юбилейное кабаре 14 февраля (спирт, «Сон Блока» — Голубинский), генеральная «Слуги двух господ», «автономия». Дом искусств «закрывали» и опять открыли.

Чтобы выцарапать деньги из Берлина, я писал Лундбергу через Орга, сочинял проект командирования Алянского за границу. Ответов нет.

У Добужинского я смотрел эскизы к «Розе и Кресту», некоторые очень хороши, все — немного деревянно.

Чуковский написал обо мне книгу и читал ряд лекций. Отсюда — наше сближение, вечер в театре 25 апреля, снимались Наппельбаумом.

Я заходил к А. Белому по делу в «отель Спартак», где он поселился. Дела и ничего не вышло.

3 марта объявили «осадное положение», потом скоро — «военное». От канонады дребезжали стекла. 24-го открыли театры.

Много сил ушло на продажу и переправку книг в лавку Дома искусств.

Жизни не украшали писание в альбомы, чтение скверных стихов (исключение — драмы Шагинян), клянченье гибнущей на Удельной Свиридовой, Голлербах, его болтливые письма и скандал с Гумилевым.

Май после Москвы я, слава богу, только маюсь. Я не только не был на представлении «Двенадцатой ночи» и в заседаниях, но и на улицу не выхожу и не хочу выходить.

Мама после моего отъезда в Москву, при большой помощи Билицкого, уехала в Лугу и живет у тети.

18 июня

Что я собирал в своих «архивах» (и не храню больше — сейчас предаю огню):

1902. Речь Мережковского об «Ипполите» из «Нового времени».

1904. Объявление войны Японии.

1906. Рецензии о театре Коммиссаржевской, статьи из «Понедельников», повестки из театра.

1907. Повестки барона Дризена. Фельетоны А. Белого, Мережковского.

1909. Фельетоны. Религиозно-философское общество. «Интеллигенция и народ». Смерть отца и И. Анненского.

1910. Вырезки из газет, которые я почему-то стал одно время выписывать (наследство). Анонимный пасквиль на Бенуа.

1911. «Вооруженный мир, близость большой войны» (Мертваго, «Утро России»). Бейлис. — Очевидно, я бы настрочил когда-нибудь мемуары с цитатами в три сажени — пухлую книгу! О, мерзость! — Покушение на Дубасова, Мариавиты, юбилей Бальмонта.

1912. Китайская республика, кровавый навет, английские гости, Гермоген и Илиодор,

Флорищева пустынь, смерть Г. Банга, юбилей Стриндберга, Ведрин в Пиренеях, смерть В. Лаврова, Бенуа и футуристы, смерть гр. Д. А. Милютина, Горький о современности (в «Русском слове»), гибель «Титаника» (апрель), смерть Стриндберга, Териокское казино (Люба), гибель Сапунова, смерть Н. Анненского, самоубийство генерала Ноги, дело Мережковского («Павел I»), война Турции с Черногорией, выставка Кульбина, смерть П. И. Бартенева, Мережковский заступает за «Заложников жизни» Сологуба в Александринке («Осел и розы»), смерть Бравича.

1913. Забастовки 9 января. «Электра» Штрауса. Беспокойные статьи Вл. Гиппиуса в газетах. «Кармозина» у Зонова. Хрусталев-Носарь обвиняется в краже. «Русская молва» и споры с Мережковским. Арест А. Мгеброва. «Гибель Надежды» в Студии Художественного театра. Бейлис и поход на Розанова в Религиозно-философском обществе. Горький о карамазовщине. Оправдание Бейлиса. Бальмонт отбывает с помпой за границу.

1914–1915–1916. Мережковский валит на «декадентов» самоубийства. В газетах подни-

мают дело с разоблачением интимных отношений Мережковского к Суворину. Самоубийство эго-футуриста Игнатьева. Мои вечера, устраиваемые «Тремя апельсинами». Книга Флоренского. «Не подходите к ней с вопросами», кукольный театр и многое, многое...

Мне трудно дышать, сердце заняло полгруды.

20 июня

Полежаев (1807–1838) уже скучен. Плохой поэт. К обычному выбору хрестоматий, всегда немножко слишком обильному, я прибавил бы «Цыганку» («Кто идет перед толпою по широкой площади с загорелой красотой на щеках и на груди?..»).

Козлов — старый поэт, друг Жуковского, родился в 1779, окончательно ослеп в 1821. Верховский (в «Поэтах пушкинской поры») пропускает хорошее, беря посредственное.

«На погребение английского генерала сэра Дж. Мура» («Не бил барабан...»).

«Плач Ярославны» (из хороших переделок).

«Вечерний звон» (...лежать и мне в земле

сырой...).

Между прочим, он перевел «Романс Дездемоны» (изд. 3-е, 1840, ч. II, стр. 208).

«Нас семеро...» (из Во — тсворта).

Мерзляков (17781830). «Велизарий» («Малютка, шлем нося...»), «Среди долины ровныя...».

Ф. Глинка (1788). «Вот мчится тройка удалая...»

Кн. Вяземский (1792). «Тройка мчится, тройка скачет...», «Здравствуй, в белом сарафане...»

Н. Ф. Павлов (1805–1864). «Не говори, что сердцу больно...»

Цыганов (1800). «По полю, полю чистому...», «Не шей ты мне, матушка...»

Кукольник. «Песня Рахили» (цитируется Достоевским):

*Загорит,
Заблестит
Луч денницы...*

И. Аксаков. «Прямая дорога, большая дорога...», «Жар свалил. Повеяла прохлада...»

Петр Вейнберг. «Я вам не говорю про тай-

ное страданье...», «Он был титулярный советник...»

Ф. Берг. «Зайнъка у елочки попрыгивает...»

Стихотворение Дм. Фон Лизандера

*Меж лиц, изнуренных
Безумством житейских волне-
ний,
И их пресыщенных,
То грустных, то злых выражений,*

*Средь дикого шума
Их ложной и пошлой забавы,
Свободная дума
Томится, как цвет, вне дубравы:*

*И лица и звуки
Звучат безразлично и блещут;
От встреч, от разлуки
Ни сердце, ни мысль не трепе-
шут...*

*Глядишь — и не видишь.
Иль призраки видишь немые:
Любя, ненавидишь
Иль любишь, то годы иные.*

*И грустный и бледный
Стоишь средь толпы одиноко —
И, с мыслью бедной,
Ты, сердце, далеко, далеко...*

1843 год

* * *

МЕЙ

Еврейские песни. I. «Поцелуй же меня, выпей душу до дна...» II. «Хороша я и смугла, дочери Шалима!..» III. «Я — цветок полевой, я — лилея долин...» IV. Сплю, но сердце мое чуткое не спит.

(«Эх, пора тебе на волю, песня русская...» и «Жи́ды, жи́ды, как дико это слово! Какой народ! Что шаг, то чудеса!..» — Это все, я думаю, из пьяных стихов и безответственных мыслей.)

Из древнего мира. «Галатея». «Плясунья» («Окрыленная пляской без роздыху...»).

Камеи II. «Ты на Юлию смотришь, художник...»

Из преданий и современной жизни. «Сумерки» («Оттепель... Поле чернеет...»).

Переводы. Красинский: «Спишь ты... Ангел ночи...» Шотландские легенды: «Энни Лехро-

3 июля

Нумера оставшихся записных книжек: 1-12, 14-18, 20-33, 39, 41-42, 44-50, 52-53, 56, 60-61.

1. Осень 1901 — май 1902. Большею частью черновые стихи. Мистика, университетские занятия. Деревня.

2. Июль-август 1902. Черновые стихи, деревня, Москва, Рогачево.

3. Август — осень 1902. Переезд в Петербург. Черновые стихи. У Мережковских в «За-клинаньи» (21-22.IX). Ольга Любимова. У мамы — М. В. Лапина, самоубийство ее брата. Смерть бабушки. «Ипполит».

4. Осень 1902 — весна 1903. Письма. Кое-какие черновики.

Восстанавливаю в памяти более подробно: Соборы (Казанский, Исаакиевский). Лесной парк — лиловое небо. Ал. Мих. Никитина — ее подруга на Мещанской. До востребования. Около курсов. С 8 декабря — Серпуховская. Дни и вечера там. Евангелъе на Кабинетской. 6 и 11.XII — концерты Олениной. Изредка у

Мережковских. Середина декабря — болезнь, Виша. Переписка (в одном городе), иногда — с телеграммами, с немедленным беспокойством, как только нет письма. Никакого настоящего лечения, встал рано, опять слез, опять письма. 28 декабря — разговор с мамой. У Кублицких, у дяди Николая (всего этого могло бы и не быть). 2 января — она — *невеста*. 16 января 1903 года. 30 января — в «Новом пути» — Брюсов и Перцов (яд Брюсова). 31 января — очень неприятный конец Серпуховской. Мистическая записка под полом. Уже заботы («вместе сняться», «шпага»). Взаимные экзамены; мои: греческий («Пир»), латинский (Norat. od. II), Платонов, Форстен (Бергер), Введенский, Шляпкин (отдельно — Жуковский). Мода на взаимные посылки стихов не прошла и после смерти Соловьевых (я шлю Бугаеву). Снялись у Здобнова.

5. 1903 — весна и лето за границей. Черновые стихи. Объявлены женихом и невестой. Белые ночи — в Палате. Дмитрий Иванович слоняется по светлым комнатам, о чем-то беспокоясь. В конце апреля я получил от отца 1000 руб., с очень язвительным и настави-

тельным письмом. 24 мая вечером мы исповедались, 25-го утром в Троицу — причастились и обручились в университетской церкви у Рождественского.

Счеты, счета с мамой — как бы выкроить деньги и на границу (я сопровождаю ее лечиться в Bad Nauheim), и на свадьбу, и на многое другое — кольца, штатское платье (уродливое от дешевизны). В конце мая (по-русски) уезжаем в Nauheim. Скряжническое и нищенское житье там, записывается каждый пфенниг. Покупка плохих и дешевые подарков. В середине европейского июля возвращаемся в Россию (через Петербург в Шахматове), немедленные мысли о том, какие бумаги нужны для свадьбы, оглашение, букет, церковь, причт, певчие, ямщики и т. п. — В Bad Nauheim'e я большей частью томился, меня пробовали лечить, это принесло мне вред. Переписка с невестой — ее обязательно-ежедневный характер, раздувание всяких ощущений — ненужное и не в ту сторону, надрыв, надрыв...

Приложения

Автобиографические материалы

Признания

Главная черта моего характера ... Нерешительность

Качество, какое я предпочитаю в мужчине ... Ум

Качество, какое я предпочитаю в женщине ... Красота

Мое любимое качество ... Ум и хитрость

Мой главный недостаток ... Слабость характера

Мое любимое занятие ... Театр

Мой идеал счастья ... Непостоянство

Что было бы для меня величайшим несчастьем ... Однообразие во всем

Чем я хотел бы быть ... Артистом императорских театров

Место, где я хотел бы жить ... Шахматово

Мой любимый цвет ... Красный

Мое любимое животное ... Собака и лошадь

Моя любимая птица ... Орел, аист, воробей

Мои любимые писатели прозаики — иностранные ... —

Мои любимые писатели прозаики — русские ... Гоголь, Пушкин

Мои любимые поэты — иностранные ... Шекспир

Мои любимые поэты — русские ... Пушкин, Гоголь, Жуковский

Мои любимые художники — иностранные ... —

Мои любимые художники — русские ... Шишкин, Волков, Бакалович

Мои любимые композиторы — иностранные ... —

Мои любимые композиторы — русские ...

Мои любимые герои в художественных произведениях... Гамлет, Петроний, Тарас Бульба

Мои любимые героини в художественных произведениях... Наташа Ростова

Мои любимые герои в действительной жизни... Иоанн IV, Нерон, Александр II, Петр I

Мои любимые героини в действительной жизни ... Екатерина Великая

Мои любимые пища и питье ... Мороженое

и пиво

Мои любимые имена ... Александр, Константин и Татьяна

Что я больше всего ненавижу... Цинизм

Какие характеры в истории я всего более презираю ... Малюта Скуратов, Людовик XVI

Каким военным подвигом я всего более восхищаюсь ... Леонида и 300 спартанцев

Какую реформу я всего более ценю ... Отмена телесных наказаний

Каким природным свойством я желал бы обладать ... Силой воли

Каким образом я желал бы умереть ... На сцене от разрыва сердца

Теперешнее состояние моею духа ... Хорошее и почти спокойное

Ошибки, к которым я отношусь наиболее снисходительно ... Те, которые человек совершает необдуманно

Мой девиз ...

*Пусть чернь слепая суетится,
Не нам бессильной подражать... и
т. д.*

<Автобиографическая справка>

Блок Александр Александрович, сын профессора Варшавского университета А. Л. Блока. Родился в СПб. в 1880 г. Учился в одной из классических гимназий и в Университете на юридическом и филологическом факультетах. Начал печатать стихи с 1903 г. в «Новом пути», «Северных цветах», альманахах «Гриф», «Журнале для всех», «Вопросах жизни». Помещал литературные заметки в «Новом пути», «Весах» и «Вопросах жизни». В конце 1904 года выпустил первый сборник лирических стихотворений: «Стихи о Прекрасной Даме». Москва, 1905. К-во «Гриф».

<31 октября 1905>

Автобиографический очерк

Я, сын профессора Варшавского университета А. Л. Блока и дочери бывшего ректора СПб. университета А. Н. Бекетова, родился 16 ноября 1880 г. в СПб., среднее образование получил в СПб. Введенской гимназии и в 1898 году поступил на юридический факультет СПб. университета. Пробыв здесь три года и выдержав экзамен на 3-й курс, я перешел на 1-й курс историко-филологического факультета. В течение первых двух лет я представил

четыре реферата по классической филологии — профессору Холоднюку (о Горации и Вергилии) и профессору Придику (об Анакреоне и Аристофане). Поступив на славяно-русское отделение, я занимался главным образом историей русской литературы и русского языка и представил рефераты профессору Шляпкину (главы из зачетного сочинения «Болотови Новиков») и профессору Соболевскому (два реферата по исследованию языка в апокрифе «Смерть Авраама» и в «Хождении Иоанна Богослова»). В 1903 году я женился на дочери профессора Д. И. Менделеева. В текущем году, занимаясь историей русской литературы, я составил для печати, по поручению С. А. Венгерова, «Очерк критической литературы о Грибоедове». В последние годы, сотрудничая в некоторых журналах и газетах, я имею литературный заработок.

Александр Блок

1906 года

Марта 1

<Краткая автобиография>

Александр Блок — родился в Петербург 16.XI.1880. Отец — А. Л. Блок — профессор

Варшавского университета. Мать — дочь А. Н. Бекетова, бывшего ректора Петербургского университета, и Е. Г., рожденной Карелиной — переводчицы.

Мною занимались литературой и другие члены семьи, так что все детство и отрочество я провел в старинной дворянской атмосфере с литературными вкусами. Классическая гимназия и Юридический факультет имели мало влияния, гораздо больше филологический факультет. В 1903 г. я женился на Любви Дмитриевне Менделеевой. Основные литературные влияния — Шекспир, Гёте, Достоевский, Фет, Полонский, Вл. Соловьев, Вал. Брюсов. Главные факторы творчества и жизни — женщины, петербургские зимы и прекрасная природа Московской губернии. Долгая замкнутость в самом себе создала отчужденность от людей и мира, но освобождение наступает, надеюсь, хотя и медленно. Думаю, что ему особенно способствует с ранних лет зреющая любовь к театру; благодаря этой любви и моей странно веселой судьбе, которая всегда со мной, я надеюсь не считаться исключительно пловцом по туманным морям

лирики, хотя ей и посвящены мои первые книги («Стихи о Прекрасной Даме» 1905 г., «Нечаянная Радость» и «Снежная маска» 1907). Готовлю издание лирических драм («Балаганчик», «Король на площади» и «Незнакомка»), из которых первая была поставлена на театре Коммиссаржевской в конце 1906 года.

Александр Блок

<около 8 мая 1907>

<Автобиографическая справка>

Родился в Петербурге в 1880 году. Учился в классической гимназии и на филологическом факультете Петербургского университета. В 1904 году выпустил в свет первую книгу лирики: «Стихи о Прекрасной Даме» (Москва. К-во «Гриф»); в 1907 году еще две книги лирики: «Нечаянная Радость» (Москва. К-во «Скорпион») и «Снежная маска» (Петербург. К-во «Оры»). Готовлю к печати книгу лирических драм: «Балаганчик», «Король на площади» и «Незнакомка» (Петербург. К-во «Шиповник»). Веду критический отдел в «Золотом руне» и сотрудничаю в нескольких журналах и газетах.

С.-Петербург

Сентября 20-го 1907 г.

<Автобиографическая анкета>

Имя ... Александр

Отчество ... Александрович

Фамилия ... Блок

псевдоним ...

День ... 16

Месяц ... Ноября

Год рождения ... 1880

Место ... Петербург

Начало литературной деятельности

... Март 1903 г. — в журнале «Новый путь»

Главные станции на жизненном пути ...

Женитьба в 1903 г. (17 августа). Другое — определяется этапами литературного творчества

Подпись ... *Александр Блок*

День, месяц, год, место ... *13 III 08 СПб.*

<Из первой редакции автобиографии>

За первые напечатанные вещи я не получил гонорара. Мои рецензии и заметки подвергались иногда легкому исправлению. Первые деньги получил я от редактора «Журнала для всех» Виктора Сергеевича Миролубова; хотя

он был вместе с тем и издателем, а, по выражению Лескова, «издатель — всегда издатель», — я встречал не много людей с такой открытой душой, как у него.

Критических отзывов о моей первой книге было не много; больше всего, насколько я знаю, о второй. Впрочем, они всегда попадались мне случайно. Мне приходилось читать о себе и заметки и целые статьи, но почти никогда они не останавливали моего внимания. За немногими исключениями (замечания Брюсова, Вяч. Иванова, Д. В. Философова, В. И. Самойло), они меня ничему не научили; были и буренинско-праздные, и фельетонно-хлесткие, и уморительно-декадентские, но везде — ложка правды в бочке критических вымыслов, хулиганской ругани, бесстыдных расхваливаний, а иногда, к сожалению, намеки во все не литературного свойства. Важнейшими приговорами, кроме собственных, были для меня приговоры ближайших литературных друзей и некоторых людей, не относящихся к интеллигенции.

Печатание никогда не было для меня важным событием, потому что я привык строго

отделять его от писания. Под псевдонимом я никогда не печатался, изредка подписывался только инициалами.

От цензуры страдал я не много. Не могу сказать того же о неисправности в платеже, которая в последнее время со стороны некоторых издателей сделалась систематической.

На серьезные опечатки я могу жаловаться тоже лишь в последнее время, когда невежество корректоров приняло баснословные размеры. Корректоры и издатели, имеющие уважение к слову, должны знать, что существует *математика слова* (как математики всех других искусств), особенно — *е стихах*. Поэтому менять их по собственному вдохновению, каковы бы они, с их точки зрения, ни были, — по меньшей мере некультурно.

Теперешние внешние обстоятельства моего писательства я не могу считать особенно трудными. Однако ни одна из моих книг не потребовала второго издания. Стихи читаются мало, а мне пока всего доступнее и дороже язык стихов.

<Октябрь 1909>

<Автобиографическая запись>

Родился 16 ноября 1880 года в Петербурге. Первые стихотворения были напечатаны в Студенческом сборнике (студентов СПб. Университета и учеников Академии художеств, 1900 г.).

Ал. Блок

<7 или 8 февраля 1913>

<Автобиографическая анкета>

Имя, отчество и фамилия ... Александр Александрович Блок

Год, месяц и число рождения ... 16 ноября 1880 года

Место рождения ... Петербург

Звание и образовательный ценз ... Потомственный дворянин, окончивший курс Императорского Петербургского университета.

Время и место напечатания первого произведения и его заглавие ... Три стихотворения без заглавия в сборнике студентов Петербургского Университета (редакция Б. Никольского и И.Е. Репина — 1902(?))

1-я книга (название, год и место издания, изд-во, число стр. и экземпляров, цена) ... «Стихи о Прекрасной Даме», Москва, ноябрь 1904, изд-во «Гриф» (С.А. Соколова), стр. 140,

экз. 1200

Перечень изданных книг ... «Стихи о Прекрасной Даме» (1-е изд. 1904, 2-е — 1911), «Нечаянная Радость» (1-е — 1907, 2-е — 1912), «Снежная маска» (1907), «Земля в снегу» (1908), «Лирические драмы» (1908), «Снежная ночь» (1912), «Ночные часы» (1911), «Прама-терь» Грильпарцера (перевод — 1909), «Стихотворения Аполлона Григорьева» (редакция), «Переписка Флобера» (в трёх томах — редакция), «Стихи о России» (1915)

Сотрудничество в журналах, газетах и альманахах ...

Начинал в «Новом пути» (1903) и «Северных цветах» (1903). Остальных названий несколько десятков

Критика (наиболее значительные статьи и рецензии) ... Бывали и целые статьи и фельетоны (журналы, газеты, альманахи, словари). Отдельные книжки: П. Жуков. Л. Андреев и А. Блок. Уфа, 1915

Какие писатели оказали наибольшее влияние ... Жуковский, Владимир Соловьев, Фет.

Кредо или девиз ...

В царство времени всё я не верю,

*Силу сердца в себе берегу,
Роковую не скрою потерю,
Но сказать навсегда — не могу.*

Вл. Соловьев

Подпись ... Александр Блок

Дата ... 23 января 1915 г. г. Петроград

**Моя декламация, роли, заметки
стихи разных поэтов, выписки из
книг и пр**

**<1898 г.> и позднейшие университет-
ские времена
<Извлечения>**

10 июля 1899 г. я получил лавровый венок
за исполнение роли Скупого рыцаря.

Для костюма Скупого рыцаря нужно:

1) рубашка с кружевным воротом и рука-
вами,

2) черные брюки до колен, 3) черные чул-
ки, 4) ботинки с боковыми вырезами, 5) чер-
ный (бархатный) кафтан, 6) черная шпага.

Для грима: длинные седые волосы, седые
усы, закрученные остро наверх, всклокочен-

ные седые брови. Увеличить глаза. Эспаньолка (седая), бритые седые щеки. Лицо худое, бледное, энергичное. Глаза блестящие. Губы сухие, запекшиеся. Несколько черных зубов. На лбу, на щеках, под глазами — морщины (см. грим Дальского).

<Шекспир. «Юлий Цезарь».

Монолог Антония: «О мощный Цезарь! ты лежишь во прахе...»>

Как образец — Сарматов из театра Литературно-артистического кружка, сезон 1897–1898 <года>.

Костюм Гамлета: сапоги с разрезами, черные чулки, брюки до колен, кожаный пояс, шпага, стилет, куртка с открытой шеей, белая рубашка, плащ, (шляпа с пером), сак для платка, черные перчатки.

<Шекспир. «Гамлет», акт III, сцена 4-я.

Монолог Гамлета: «Да, я говорю тебе: убить...»>

Общий характер — злорадство наболевшей души. Драматичность и сила монологов идет crescendo[98] и во всей силе проявляется

уже перед самым явлением духа, когда Гамлет вне себя повышает голос, ругаясь над королем. Страшное напряжение чувства усиливается при явлении духа, когда Гамлет падает на колени и говорит прерывающимся голо-сом. Здесь переигрывать нельзя ни в каком случае, и предыдущие монологи должны идти постепенно, с редкими порывами страсти.

<Я. Полонский. «Жницы».>

Наступили сумерки. Луна необыкновенно ярка и потому уже начинает бросать свои «влажные» лучи на природу, еще освещенную отражением «последнего луча денницы». Издали доносится певучий звук пастушьей свирели.

Август 1899. Трубицыно. Образ Иисуса Христа, рисованный тетей Соней. Похож на итальянскую живопись. — Голландские картины (2). — Старая ваза, желтая с черным рисунком. — Портрет Мансурова (старинный). — Головка (русские картины). — Старая шифоньерка красного дерева. — Старая картина в духе Белладжио, найдена на Урале; французы

В 1812 г. сложили ее вчетверо и смяли.

<1901>

<Заметки о Гамлете>

Гёте объясняет все поведение Гамлета словами его:

*Порвалась связь времен; о, проклят жребий мой!
Зачем родился я на подвиг роковой!*

Когда на слабого от природы возложено великое дело, ему остается только чувствовать свое ничтожество и придавленность под непосильной ношей. Не герой не может свершить героического. От природы Гамлет прекрасен — чист, благороден, нравствен, но ему не по силам обязанность, которую он не может сбросить с себя по ее святости, не может исполнить по собственной слабости. Так думает Гёте.

Кажется, и трагическое действие при такой теме не может развиваться правильно. Главное лицо трагедии все время делает шаг вперед и шаг назад (по Гете!), путается и изворачивается, а с ним изворачивается и драма

[99], ибо от него зависит.

Известная мне литература о Гамлете (и доступная)такова:

Из «дешевой библиотеки» Суворина — «Гамлет», с примечаниями, перевод Полевого.

Белинский о Гамлете.

Тургенев. «Гамлет и Дон-Кихот».

Гервинус о Гамлете.

Брандес о Гамлете.

Ярославцев о Гамлете; также Тимофеев.

Гнедич о постановке «Гамлета» («Русский вестник», 1882, апрель).

Школьный Шекспир (1876) — «Гамлет».

Переводы «Гамлета»: К. Р., Соколовский, Кронеберг, Полевой, Вронченко, Кетчер.

Пока король, Гертруда, Полоний, Розенкранц и Гильденстерн допытываются, догадываются, хитрят, — им все-таки остается непонятной (как и после, впрочем) тайна Гамлетовой души. Пускай они глубокомысленно обсуждают Гамлетовы поступки, — они живут пошлой и жалкой жизнью. Офелия... жалко ее смешивать с ними, но и она — порождение среды двора; и в ней Полониева

кровь. Итак, они живут, ибо не дан им от бога тот гений мысли, который присущ одному только Гамлету.

Хитрая западня готова. Картина III акта 1-го явления жалка до чрезвычайности, одна красота Офелии скрашивает всю молочность и пошлость двух старых дураков, спрятавшихся и выжидающих.

Бог знает, есть ли в какой другой драме большая резкость и безжалостность перехода, чем здесь, когда входит Гамлет с первыми словами

Никто из действующих лиц, кроме главного, не может, я думаю, подозревать, до какой степени бесполезны уловки и вся игра в прятки, так «ловко» подстроенная. Будь на пути Гамлета кричащая толпа, он бы ничего не увидел и ничего не услышал. И самый его шаг и тон первых слов показывает это. Шаг неровный. Остановки произвольные.

Гамлет думал без конца. Все вопросы в основании своего разрешения содержат тайну, тем более такие, какие всегда волновали Гамлета. И вот сила мысли довела его до стены; можно только разбиться об нее или остаться

в прежнем положении — быть или не быть. И что всего важнее, что стена давно уже стоит перед Гамлетом. Вопрос «быть или не быть» не нов для него. Он «знает» его «до основания».

Итак, Гамлет вошел странно, остановился тоже странно вдруг, и вдруг в 1000-й раз задал себе вопрос: «Быть или не быть?» И сейчас же констатировал: «Вот в чем вопрос» и т. д., ибо почувствовал внезапную надежду на свою силу, на свою возможность решить его.

Шуточные программы журналов

«Новый путь» 1905

Разрешенная программа журнала

Дать возможность выругаться всем живым течениям современной литературы, начиная от декадентства и кончая декадентством.

Предполагаемое содержание

К Лосский. Проблемы идеалистического строя современной поземельной ренты.

Д. Мережковский. «Чорт с вами!» (стих.).

Александр Блок. «Приходи путем знакомым...» (из Valer. Brussow).

Андрей Белый. Оранжевая пиршественность (статья).

В. Розанов. Нечто о давно и лишь однажды женившихся.

В. Р. Курсистка в замужестве. Картинка идеального устройства супружеского согласия, которую я (заметьте! это выслушайте!) наблюдал.

З. Гиппиус. «Я разлучился с вами лишь второю одиночностью, но мы будем трое, так предсказал господь...» (стих.).

А. Шмидт. Несколько слов о моей канонизации.

Вячеслав Иванов. Прекротравия. Лекции, читанные в «Ecole des assassins» в Палермо.

Валерий Брюсов. «Я задам вам на орехи...» (песня).

К. Бальмонт. «Люблю и горю и пылаю...» (стих.).

В. Карташов. Еще о подлостях г-на Скворцова.

Из частной переписки. Любовные письма иеромонаха Прокрустия к М. А. Лохвицкой.

Внутреннее обозрение. Дело о покушении мещанина Клопова на жизнь крестьянки Со-

ЛОВО. В. Р.

Объявления.

Ф. Сологуб. Самоубийство 14-ти мальчиков
(рассказ).

«Mir Iskousstva»

Claude Sacredieu. Trois iitudes de Ротзоп.
Chromolitographie en stuc.

Olivier-coiffeur. La chevelure de m-me
Voronzoff.

M. Runar. Charles Menuet, comme auteur,
voleur a vapeur et visiteur.

Andru Biely. Genie de Bloc. Etude
philosophique et iisthetique.

S. Diagileff. Quelque m(J)ts, adressiis a m-r
Bielouchin, a propos de Tart du XVIII sinclе.

M. Lochwitzky. «Parmis mes amoureux». 1-
re partie du roman infidit, inachevii et Bele dans
un pokle par mon mari jaloux.

K. Balmont. Je vous adore ce soir, Marie,
Mais demain j'aimerais lecurie.
(comp. en vers).

Hors texte:

Portrait d'une dame brune. Par L. Bakst.

Editeur-controleur S. Diagileff

«Весы» 1905

2-й год издания № 9

Журнал политики, литературы и жизни
В «Весах» примут участие: А. Б., Ал. Бл., Александр Блок Клоб, Колб, Оклб, Локб, Лбок и мн. др.

«Весы» дадут ряд интересных монографий по вопросам о новооткрытом ведаическом су-
пине, судьбе языка полабских славян, аграр-
ных процессах в средние века, о некоторых
албуминатных перебродоидах, кристаллиза-
ции и врачебной профилактике и т. п.

«Весы» откликаются, как явствует из вы-
шеприведенного, на все запросы современно-
сти.

На «Весах» лежит обязанность знакомить
русскую публику с новыми книгами Фран-
ции, Чифу и Новой Каледонии.

Особое внимание будет уделено произведе-
ниям давно известного всем австралийского
художника Черри Прифти.

«Весы» будут украшены заставками и кон-
цовками из «Livre d'estomac du prince de
Phalalfte» — VI века,

«Весы» будут выходить в размере S печат-
ного листа 1 раз в пять месяцев — на лучшем

медопополаме. Цена в год — 5 рублей, для любителей — ограниченное число экземпляров — Namousseline des dames.

Редактор В. Иванов

«Вестник Европы»

Содержание 495-й книги

А. Пыпин. К характеристике литературных мнений в праарийском периоде.

А. Игнатъев. Стихотворения: 1. «По ниве прохожу я узкою межой...», 2. «Мирскому злу я не доверюсь...».

К. Арсеньев. Наше земство. Обмен мнений в заседании 26 февраля 1504 года в городе Красноярске.

М. Стасюлееич. Леонтий Папалла как источник германской истории XI–XIV веков.

З. В<енгероеа>. Новая французская литература (Victor Hugo. Odes et Ballades).

М. Крохин. Palpitta di vecchio — в новой композиции Pirodi Fuzetta.

Литературное обозрение:

1. Декадентские изломы (Александр Блок. Стихи (?) о Прекрасной Даме).

2. Земский ежегодник. Саратов, 1704.

3. Пушкин — обличитель бюрократии.

Этюд Евг. Сапунова. Казань, 1740.

4. Новая ветвь рода Свиных. При Императорском Обществе Истории и Древностей. М., 1444 г.

Новая книга. Гомер. Одиссея. Поэма в 24 песнях. Троя, 54 года.

Объявления. Епархиальные ведомости Архангелогородской управы.

«Журнал для всех»

Обложка работы Фомина
Содержание

Стихи: К. Пусспайнена, В. Брюсова, Мешуровой, К. Бальмонта и Кринкина.

«Под тюремным сводом». Рассказ Арефьева. *«Сап у лошадей».* Статья д-ра Игнатьева. *Овсяннико-Куликовский.* Вырождение (по Макс Нордау).

К. Маковский. Дядины произведения (в тексте воспроизведены «Боярский свадебный пир» Маковского и «Инфузории» Одиллона Радона).

Война с Японией.

Дни под Кьяо-фу.

Кодак

Заменяет живопись.

Истребляет вредных насекомых.
Снабжен приспособлением для уборки се-
на.

— !!! Брюки «Метрополь»!!!—

«Будильник»

Новый №! Смешно!!

Дачный муж на Черной речке

Он. Почему вы не вышли сегодня гу-
лять?

Она. Я простудилась...

Он.!!!

Из не-дельной чепухи

Гласный Думы. Позвольте выразить...

Городской голова. Замолчите!

Гласный Думы. Если бы я был на вашем
месте, я бы позволил вам сказать...

Городской голова. У меня голова не на ме-
сте...

«Юмористик»

Барыня. Иван, вычисти брюки барина.

Иван. Ишь какие! Пусть сам чистит!

«Русское богатство» 1905

В журнале будут между прочим помещены:
Рассказ известной писательницы Сера-
фимовой «Злопо лучник».

Статья К. К. Михайловского — «Писатель-неудачник» (Н. Я. Крошин).

Исследование проф. Тищенко — «Применение газокалильных элементов к устройству студенческого общежития имени пострадавшей курсистки Менделеевой, вышедшей замуж за консерватора».

С. Перепелицын. Не пора ли освободить крестьян?

Вл. Короленко. Тяжести крепостного права.

Макар Сочный. Деспотизм: московских царей.

А. Веселаго. Приюты, облагодетельствованные А. А. Кублицкой-Пиоттух.

М. Бекетова. Г. Г. Бокль как просветитель английского *Народа* (составлено по биографии Колумба и Андерсена того же автора).

Л. Блок. Баратынский — народный плакатель.

И мн. др.

<1905>

Примечания

1

«Ну, что, милый...» (франц.).

[^^^]

Яков Верный (франц.).

[^^^]

Упомянутая Блоком повесть его тетки Е. А. Бекетовой-Красновой была опубликована в журнале «Отечественные записки» (1881. № 4).

[^^^]

4

Версия о «враче царя Алексея Михайловича», которую Блок поддерживают в рассказе о своих предках-лютеранах, основывается на семейном предании Блоков, не имеющем пока документального подтверждения

[^^^]

Красноречие (франц.).

[^^^]

Музыке (франц.).

[^^^]

Бад-Наухайм — курорт в Германии.

[^^^]

Черта в рукописи.

[^^^]

9

Загадочно-говорящий Сфинкс (*греч.*)

[^^^]

Аристократов (*греч.*)

[^^^]

Бесстрастие — сострадание (*греч.*)

[^^^]

Золотой середины (лат.)

[^^^]

Страшно сказать! (*лат.*)

[^^^]

Всё выше! (*лат.*)

[^^^]

Эта строка приписана позже.

[^^^]

Жизнь — страдание — черная глыба — земля.
В кругу — заключено все (*греч.*).

[^^^]

Свет из мрака (*лат.*)

[^^^]

Разумное основание (*франц.*)

[^^^]

Земля (*греч.*)

[^^^]

Плоть — символ воскресшего духа (новая
плоть).

[^^^]

Там же — лиру перезвонят колокола.

[^^^]

«Земля» без фаллизма желательна не более, чем животное без половых органов. В обоих случаях будет аномалия. Лучше прямо взглянуть в глаза фаллизму, чем закрывать глаза на извращение.

[^^^]

Страдания (*греч.*)

[^^^]

Прямые скобки в рукописи.

[^^^]

Инициалы: «Л.Д.» (Менделеева) густо зачеркнуты

[^^^]

Тело не может действовать там, где его нет
(лат.)

[^^^]

У Блока описка: summa.

[^^^]

Многоточие в рукописи.

[^^^]

В Москве я видел его же. (Позднейшее примечание Блока)

[^^^]

Это все та же тема о несчастливце и счастливице (двойники) (счастливец несостоятелен). 4 июня 1911 г. Шахматове. (Позднейшая помета Блока)

[^^^]

Кого бог хочет погубить — прежде всего ли-
шает разума (*лат.*)

[^^^]

К этому слову в рукописи относится следующая позднейшая помета Блока: <! да нет!>

[^^^]

Петербургский университет (*лат.*)

[^^^]

Ольги Любимовой. (Позднейшая помета Бло-
ка)

[^^^]

Пропуски в рукописи.

[^^^]

Переделано из «13».

[^^^]

Заключенное в прямые скобки в рукописи зачеркнуто. Новые заглавия и порядковые номера приписаны позже.

[^^^]

МОЛЕНИЕ

*Пока были родители, я всегда мог
обратиться к ним
Во всех делах, в тяжелых болез-
нях.*

*Где вы теперь, мой отец и ред-
костная мать?
Тебя прошу, господь мой Отец, и
Тебя, Мать.*

*Вечной враждой мучают меня
три противоположности:
Легкое сердце, тяжелый разум и
нетерпеливое тело, —*

*О боже, да будет мой разум со-
гласен с тобою,
Да будут согласны во мне дух и
тело.*

(Лат.).

[^^^]

Редакция русских классиков, Французский институт в Петербурге, Психоневрологический (университет).

[^^^]

В первом заседании Религиозно-философского общества будет говорить речь о национализме. (НЯ — «Мережковские», П. С. Соловьева, А. Столыпин, Меньшиков, Розанов — много бы написал, да мерзко, дряннь, забудется).

[^^^]

Святой катастрофе (*франц.*)

[^^^]

Долгого дыхания (*франц.*)

[^^^]

Господа профессора (*франц.*)

[^^^]

Вечером, 5-го, пока я был у мамы (а Люба у своей), приходили Женя, Пяст, В. Веригина...

[^^^]

Я. Зелинский не читал, Вяч. Иванова не было.

[^^^]

Воспоминания (*греч.*)

[^^^]

Хорошо сказано (*итал.*)

[^^^]

Квадратные скобки в рукописи

[^^^]

Мое. (А. Блок)

[^^^]

Я. Это и я понял — *так* честно понять.

[^^^]

Так. Мережковские говорят тоже, что Клюев не понимает меня. «Разве вы любите одну красоту!» — воскликнул Мережковский.

[^^^]

«В тесном кругу» (франц.)

[^^^]

«Вечная слава» (*лат.*)

[^^^]

Так в рукописи: Коръвин.

[^^^]

«Первым любовником» (франц.)

[^^^]

Владелицы замка (*франц.*)

[^^^]

Напротив, проводил, слава богу, господь ее
храни.

[^^^]

Разумеется, не состоится; а мы все гуляли в Петергофе — хорошо. Мы с Пястом приехали по железной дороге, а Женя на велосипеде из Царского.

[^^^]

*По морям промчался Аттис на
летучем, легком челне,
Поспешил проворным бегом пря-
мо в глушь фригийских лесов...*

Перевод А. Пиотровского (лат.)

[^^^]

Судьбу, долю (*греч.*)

[^^^]

61

К этому месту — помета:!!! О!!!

[^^^]

Сосновая роща (*итал.*)

[^^^]

«С точки зрения вечности» (*лат.*)

[^^^]

Придется предпринять что-нибудь по поводу наглежащего *акмеизма* и *адамизма*.

[^^^]

Тайное учение (нем.)

[^^^]

Приходится еще выноску... Почему же я признаю некоторых дам, критиков и пр.? — Потому что мораль мира бездонна и непохожа на ту, которую так называют. Мир движется музыкой, страстью, пристрастием, силой. Я волен выбрать, кого хочу, оттуда — такова моя верховная воля и сила.

[^^^]

Народа, массы (*лат.*)

[^^^]

«Жанна. Молитесь, пожалуйста» *(франц.)*

[^^^]

Управляющего (*итал.*)

[^^^]

28-го утром пришел Женичка и сказал, что Бертран — несчастный, над которым все время висит копьё Вотана, — *не должен и не мог* именно убить. Он смыл оскорбление только тем, что получил рану, — но *факта убийства* не было. Подумаю. — Еще рассказывал, что говорит Аносова и как она ездит мимо меня на извощике.

[^^^]

Ад (*итал.*)

[^^^]

Будь на страже, Академия, да не потерпит разум в чем-либо ущерба (*лат.*)

[^^^]

Фонаря (*франц.*)

[^^^]

Пришел сосед по квартире Шульман, принесший мне избирательные списки в центральную городскую думу, — оказался родственником.

[^^^]

Не тронь моих чертежей (*лат.*)

[^^^]

Большой стиль *(франц.)*

[^^^]

Все прекрасное — трудно (*греч.*)

[^^^]

Галльское остроумие (*франц.*)

[^^^]

Полет, порыв (*франц.*)

[^^^]

Saveant — Следите, консулы, чтобы республика не потерпела ущерба (*лат.*)

[^^^]

Моя жена (*франц.*)

[^^^]

Полет, порыв (*франц.*)

[^^^]

Пруд (*нем.*)

[^^^]

Туалетным уксусом (*франц.*)

[^^^]

Вагнер.

[^^^]

Начиная отсюда указаны даты только нового
стиля (с отдельными исключениями)

[^^^]

Скоро оказалось, что Федот умер.

[^^^]

Изящной литературы (*франц.*)

[^^^]

Веселой науке (*итал.*)

[^^^]

Великая битва времени (нем.)

[^^^]

К Сэлли (англ.)

[^^^]

Старая добрая Англия (*англ.*)

[^^^]

Один (нем.)

[^^^]

Добрые чувства (*франц.*)

[^^^]

Отвращение к жизни (*лат.*)

[^^^]

Только то задушевно и верно, что здесь — в глубине; фальшиво и трусливо все, что радуется там-наверху! (нем.)

[^^^]

Разумеются, очевидно, Белый и особенно Клюев и Есенин.

[^^^]

Нарастая (*итал.*)

[^^^]

Драма (греч.)

[^^^]